



ЭВАНГЕЛИУМ

ПЕРВОТВОРНЫЙ ТОМ, ИЛИ  
ПОТЕРЯННЫЙ ЦАРЬ











# **ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ**

**ТОМАС ПЕЙН**

Преступникъ своимъ мученикомъ былъ мучимъ  
близъ къ оному и мучимому въ томъ же мучителѣ  
мучимому и въ мучителѣ, въ томъ же мучителѣ  
мучимому и въ мучителѣ, въ томъ же мучителѣ  
мучимому и въ мучителѣ, въ томъ же мучителѣ



**ДМИТРИЙ УРНОВ**

# **НЕИСТОВЫЙ ТОМ, ИЛИ ПОТЕРЯННЫЙ ПРАХ**

**Повесть  
о Томасе Пейне**

**МОСКВА**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**1989**

Дмитрий Уриов, писатель и ученый, известен читателю, биографиями Шекспира, Дефо, Льюиса Карролла, а также повестями «Железный посыл» и «Приз Бородинского боя». В новой повести «Неистовый Том, или Потерянный прах» раскрывается драма выдающегося деятеля двух крупнейших революций XVIII столетия. Томас Пейн, мыслитель и публицист, был участником Войны за независимость

в Северной Америке и Великой французской революции. Шедший в первых рядах борцов, он оказался не к месту и не ко времени как во Франции, так и в США, когда на смену революционному энтузиазму пришло делячество тех, кто желал пользоваться плодами героической борьбы.

Повесть рассчитана на широкий круг читателей.

У  $\frac{0503030000-219}{079(02)-89}$  185-89

ISBN 5-250-00429-6

© ПОЛИТИЗДАТ, 1989 г.

## ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

*И Шекспир и Толстой допускали  
существенные отклонения от фактов.*

Замечание историка

— Уж не собираетесь ли вы оправдывать свое невежество? — спросит читатель, стараясь сразу уловить основную мысль этого предисловия.

Нет, с классиками мы не можем сравниться даже в невежестве. Речь пойдет лишь о том, что отклонения от фактов в исторических пьесах и повествованиях бывают разные.

Персонажи «Войны и мира» думают и говорят не так, как думали и говорили, в 1812 году, а как думали и говорили люди 1860-х годов, толстовские современники, но чтобы понять характер народа и как он проявляется в борьбе с внешним врагом, мы читаем роман Толстого. А на вопрос о том, что такое борьба за власть, за королевский престол, мы находим ответ у Шекспира, хотя Ричард III был не таким, каким он изображен в шекспировской пьесе. Отклонений от фактов, допущенные Толстым и Шекспиром, не искажают раскрытой ими проблемы.

Таковы законы и нормы, которые учреждены классиками, а каждый из нас, если уж он взялся о чем-нибудь рассказывать, должен эти законы соблюдать по мере своих сил.

Скажем, нарушения во времени — анахронизмы. Они практически неизбежны, потому что в отличие от современников ушедшей эпохи мы знаем не только их время — нам известно еще и дальнейшее. Нужно ли скрывать это знание? Например, когда Пейна посетил генерал Бонапарт, никто еще не догадывался, что всего через несколько лет этого генерала будут величать императором Наполеоном. Как же быть в описании этой встречи? Пользоваться именем «Наполеон» или не пользоваться? Конечно, если имя «Наполеон» вложить в уста Пейна, то получится нелепость, но делать вид, будто и мы не знаем, что перед нами будущий император, тоже, вероятно, не нужно.

Соотношение фактов и легенд. Знал ли Пейн о своем русском современнике Радищеве, а Радищев — о Пейне? Скорее всего, нет — таково на сегодня мнение большинства историков. Но слухи об их хотя бы заочном знакомстве были. Разумеется, если слух принять за факт, положив его, как краеугольный камень, в основание всей концепции, постройка получится очень шаткой, почти прозрачной. Однако вполне допустимо упомянуть этот слух или легенду, соблюдая меру их достоверности.

И все-таки самое трудное — вжиться в атмосферу отдаленной эпохи. Отдаленной вдвойне — во времени и пространстве. Может ли москвич перенестись в Америку позапрошлого века?

Существовала бы повесть американского автора на ту же тему, тогда эту книгу не следовало бы и писать, а просто взять и перевести американскую повесть. Но такой повести нет. Есть роман Говарда Фаста «Гражданин Том Пейн», однако в нем меньше всего внимания уделено тому периоду, который для нас особенно интересен: поздние годы Пейна.

Если выразить одним словом, что на закате дней испытал на себе Пейн, то надо сказать: неблагодарность. Общество, которое он помогал создавать, его отвергло.

«Непризнанный основатель» — так назывался доклад, недавно прочитанный в Организации Объединенных Наций на семинаре, посвященном Пейну. Да, он был среди основоположников США. Даже сама формула — Соединенные Штаты, — возможно, принадлежит ему. И этого человека американцы не допустили до выборов! Почему?

Не стану забегать вперед и пересказывать то, ради чего повесть написана. Скажу только одно: судьба поучительная.

Пейн пострадал от тех, кто забыл об условиях и цене собственного преуспевания.

— Уж не думаете ли вы, что Пейн был во всем прав?

О нет, как это можно думать? Можно сказать одно: он пережил трагедию человека, неспособного изменить однажды принятым принципам. В пору революционной борьбы политика представлялась Пейну вдохновенной не чем иным, как интересами всеобщими, высшими, а послереволюционная политика диктовалась, с его точки зрения, соображениями выгоды.

Наибольшую обиду Пейну нанес Джордж Вашингтон и получил от него просто обвинительный приговор. Мы этот приговор подписывать не собираемся, но следует понять его мотивы, при том, что Вашингтон — политический деятель, разумеется, более крупный, чем Пейн.

Сошлюсь на Джеймса Фенимора Купера. По возрасту он в Войне за Независимость не мог участвовать (и еще неизвестно, на чьей бы стороне он участвовал), но с живыми свидетелями освободительной борьбы встречался и услышанное от них включил в свои романы, в частности в «Шкиона». Напомню один из последних эпизодов этой книги: Вашингтон прощается с верным разведчиком. «Отныне между нами не должно быть ничего общего!» — говорит он человеку, который рисковал жизнью, исполняя его поручения. Так вот Пейна, прошагавшего в ногу с американской армией до победы — в качестве армей-

ского агитатора, главнокомандующий этой армией и первый президент новой страны даже такого прощания не удостоил...

По рождению Пейн был англичанином, поэтому некоторые материалы о нем нужно было получить из английских библиотек, в этом мне помог оксфордский профессор Симмонс. Вручая мне редкие книги, он усмехнулся и сказал: «Не много же вы найдете сегодня людей, сочувствующих Пейну».

И я решил писать повесть хотя бы ради того, чтобы проверить, оправдается ли это предостережение...

Автор



*Быть участником двух революций —  
достойная участь.*

Томас Пейн

*Ты кости Пейна, Виль Коббет,  
Решил поставить на виду.  
Ты здесь составишь с ним дуэт,  
А он с тобой — в аду.*

Байрон

## НЕДАЛЕКО ОТ НЬЮ-ЙОРКА

ПРОЛОГ

(1819 год)

Могила была пуста. Кусок расколотого надгробия валялся в стороне. На нем еще можно было прочесть:

*..ас...*

*...го смысла*

*..09 года*

Остальное вместе с гробом исчезло.

Ветер гнал листья и пыль, сильными порывами налетал на деревья, а деревья словно шептались в тревоге: «Что же это? Что же это?»

Могила была пуста.

Шериф и староста, сектант из трясунов, а также местный сторож расхаживали возле развороченной земляной раны, и все трое, хотя каждый по-своему, думали об одном и том же: что сия пропажа знаменует?..

Шел сорок третий год существования Соединенных Штатов, первого в мире демократического государства.

Американцы решили жить без сословных предрассудков, чтобы все ценились и получали исключительно по своим личным заслугам. «Каждый имеет неотъемлемое право на счастье» — так было записано в Декларации Независимости. А Независимость — от кровососа, изверга,

вепря, тирана, Ирода, грешника нераскаянного, иными словами, от британского короля.

Независимость объявили 4 июля 1776 года, и потом боролись за нее десять лет. Бостонцы начали, закрыв свой порт для британских судов и побросав за борт уже пришедшие английские товары (в том числе чай, почему это и называли бостонским чаепитием), Филадельфия ударила в колокол Свободы и собрала тринадцать колоний (будущих штатов) на Конгресс, в Нью-Йорке генерал народной армии Вашингтон принял присягу и дал клятву биться до победы: нужно было сбросить ярмо зависимости от «старой родины», порвать путы, все еще тянувшиеся через океан, отказаться от всякой британской власти, забыть о британских законах, не исполнять королевских указов, не платить никаких налогов в королевскую казну, короче говоря, превратиться из нескольких провинций в единую и, главное, самостоятельную державу.

Сказать можно и словами из Писания: «Возвести о Свободе по всей земле и всем жителям ее». Так это и было выбито на колоколе. Ибо не только человеческим, но и божьим, угодным Всевышнему считали американцы дело свое, и кочевала идея Свободы из края в край, пока не была провозглашена Декларация, принята Конституция, а также Билль о правах.

Поистине по всей земле разнесся свободоносный океанский благовест. Люди из многих стран участвовали в деле американцев. Одни пруссаки были на стороне английского короля. Русская императрица и та отказалась помогать англичанам. Французский король поддержал повстанцев (не думая, конечно, о том, что его собственный народ вскоре последует американскому примеру). А кто отличился среди полководцев революционной армии? Маркиз Лафайет. Еще кто? Пан Костюшко.

«Никогда прежде солнце не сияло над делом более

достойным» — так, призывая к Независимости, писал вдохновитель великой революционной борьбы, а был он, как ни странно, англичанином: так и подписался — Англичанин, однако выразил волю каждого американца. Называлось его сочинение — «Здравый смысл».

«И не ради какого-нибудь одного города, не ради округа, не ради королевства совершается наша борьба, но в интересах целого континента, то есть по меньшей мере одной восьмой части всего земного шара», — писал этот автор, пожелавший остаться анонимным. Его так и стали называть Здравым Смыслом: вся Америка повторяла это имя как девиз Американской Революции (мы как-то не привыкли называть Войну за Независимость революцией, но, конечно, это самая настоящая революция).

Потому и встревожились представители местной власти (селения Нью-Рошель под Нью-Йорком), потому и стояли они, недоумевая, зябким осенним утром над могилой, которая вдруг стала простой ямой.

У каждого из них были свои понятия об исчезнувшем покойнике: кто думал о нем лучше, кто — хуже, кому и в голову не приходило, что бы такое о нем подумать, кто знал его больше, кто — меньше, кто и вовсе почти ничего не знал о нем, но все же надпись надгробная, пусть изувеченная, не составляла загадки для всех троих.

Достаточно, к примеру, там, где *go*, прибавить полтора слова, и как раз получится — автор «Здорового смысла». А некое *as* осталось от Томаса, он же Пейн.

«Надо же, куда-то подевался! — рассуждал про себя сторож. — Ведь, почитай, годов десять пролежал...»

И правда, если недостающие слова и цифры подставить, то получится: умер в 1809 году. Значился на пропавшем куске и возраст: семьдесят четыре года, хотя говорили, будто исполнилось ему года на два поменьше.

Ошибка не велика. А виданное ли это дело, чтобы такие покойники пропадали!



«Насколько я могу судить, — некогда в разгар революционных событий писал Вашингтон, — «Здравый смысл» производит сильнейшие перемены в сознании многих людей».

Напомним и подчеркнем: все это происходило не в наше время, когда даже возникновение новых государств является делом если не повседневным, то, во всяком случае, привычным. Тогда мир менялся медленно. Войны шли непрерывно, но воевали армии, они приходили и уходили, а жизнь продолжалась, как положено, извечно и неизменно.

«Противно Разуму, — утверждал в своем сочинении Пейн, — а также вселенскому порядку вещей и всем примерам из прошлых веков, если еще думать, будто наш континент может по-прежнему оставаться в подчинении у какой-либо внешней силы».

Континент американский был, конечно, велик, хотя никто еще не знал толком его размеров. Пейн называл «континентом» фактически северо-восточное побережье Америки, а на противоположном берегу, на западном, из поселенцев восточного берега никто не бывал. Говорили, будто там земли захватили испанцы, кроме того, русские. Во всяком случае, никаких Соединенных Штатов Америки еще не было — существовали американские владения Англии. Вот и попробуйте себе представить, как прозвучало пророчество Здравого Смысла: «Придет время, и слова «Соединенные Штаты Америки» будут восприниматься точно так же, как Британская империя».

Америка служила для Англии не только кладезем богатств, но и как бы мусорной ямой. Это было золотое дно, и это были выселки. Праведники и преступники — две основные категории, из которых складывалось американское население. Кто приезжал по своей воле, в поисках

духовной свободы, а кого привозили в кандалах. За океан отправляли всякий сброд, а оттуда получали налоги звонкой монетой и вывозили чудесный товар — табак. Большую выгоду приносил рабский труд, причем были и черные, и белые невольники. Выходило дешево и пристойно: рабство не мозолило никому глаза в Старом Свете и не позорило Англию во мнении европейских соседей.

Чистую публику, первый сорт, в колониях составляли королевские чиновники и офицеры королевских войск. Попадались и отпрыски аристократических семейств, решившие поискать удачи за океаном (это описал Теккерей в романе «Виргинцы»). Мощнейшей силой являлся, конечно, так называемый средний класс, деловые люди, предприниматели — от ремесленника и лавочника до фабриканта и банкира. Но если ремесленники и лавочники в Америке водились в изобилии, то фабрикантов и банкиров, своих собственных, независимых от английских, тогда как раз не было. Даже корабли американцам строить запрещалось, и не чеканили они своей монеты. Преуспеть выше известного уровня им было никак нельзя, на всем американском населении лежал как бы пресс — гнет зависимости от метрополии.

В своей зажигательной книге Пейн целую главу посвятил возможностям Америки, прежде всего возможности, не нуждаясь ни в чем, существовать самостоятельно и, например, такой флот построить, который и английскому ни в чем не уступит. А вел Пейн неукоснительно к одному: «Владычество Англии над нашим континентом — это такая форма правления, которой все равно должен рано или поздно прийти конец».

«Один из видимо приемлемых доводов в пользу наследственной монархии, — писал Пейн, — заключается в том, будто преемственность власти охраняет нацию от гражданских войн. И, конечно, буде это именно так, довод был бы весомый. Между тем это наоткровеннейшая ложь,

навязанная человечеству. История Англии служит тому подтверждением. Тридцать королей и два гражданских правителя царствовали в этом разобщенном королевстве со времен норманнского завоевания, и за этот срок, включая Революцию, произошло не меньше восьми гражданских войн и девятнадцати восстаний».

Давность — это еще не довод, провозглашал Пейн, и если существует что-то с незапамятных времен, то вовсе не значит, будто так оно и должно быть. Следуя абсурдной логике наследственности на том же основании, на каком нынешний английский король претендует на управление Америкой, Англия должна бы находиться в подчинении у Франции, ведь Вильгельм Завоеватель, первый английский король, был французом. А уж что нынешний король не был англичанином — был немцем, о том и напоминать не требовалось (поэтому прусский король ему (как родственнику) и помогал в борьбе с американцами).

И что это за король? В Бостоне королевские войска в упор расстреливали людей, решившихся заявить о своих правах и о своем недовольстве королевской политикой. Так в памяти людской и осталась бостонская резня (об этом рассказано в романе Джеймса Фенимора Купера «Лайонел Линкольн, или Осада Бостона»). И все это терпеть? «Навсегда, — писал Пейн, — я отвергаю жестокосердого, погрязшего в грехе фараона, способного величать себя отцом народа, но в то же самое время бездушно внимающего известиям о смертоубийстве и с народной кровью на совести преспокойно почивающего».

Кое-кто в Америке все же надеялся на примирение с королем, на то, что требования американцев будут им удовлетворены. «Проверьте мысль о примирении на оселке той же природы, — советовал Пейн, — и скажите, способны ли вы еще почитать ту власть и подчиняться той власти, что принесла к вам в дом меч и смерть? А если не способны, то зачем же себя обманывать и мед-

лить, готовя только беды для потомков. Узы с Британией, которую ни любить, ни чтить мы уже не можем, в дальнейшем окажутся вынужденными, противными естеству, они будут держаться исключительно соображениями удобства и вскоре окажутся чреватые еще худшими несчастьями. Но если кто-либо скажет, что готов претерпеть все надругательства, тогда я спрошу: а разрушен ли дом ваш? Погибло ли на глазах у вас достояние ваше? Лишились ли жена и дети ваши крова над головой и куска хлеба? Сгинул ли кто из родных ваших от рук насильников? А коли ничего этого не испытали вы, то и судьей тех, кто принял муку, быть не можете. А уж если довелось вам что-то испытать, и все-таки вы готовы руку протянуть убийцам, тогда недостойны вы имени отца, мужа, друга или возлюбленного, и каково бы ни было ваше положение и звание, у вас, значит, сердце труса и душа — прихлебателя».

Только Независимость, говорил Пейн, может явиться условием и залогом благополучия американского народа. А Независимость он расшифровал так: «Местная форма правления». Снова и снова он повторял: «Кровь павших и глас природы вопиет: пришло время нам отделиться!»

«Здравый смысл» являлся еще небывалым призывом к народу; уповая на властителя небесного, но не считаясь с властелином земным, взять свою судьбу в собственные руки и решать ее на основе очевидных фактов, ясных доводов и — общественного разума.

И отклик на сочинение Пейна изменялся множеством разошедшихся экземпляров. Сам Пейн, отказавшись от гонорара, насчитал свыше полутора тысяч проданных книг. Такого внимания печатный знак не привлекал к себе никогда и нигде со времен изобретения типографского станка. Были тогда же опубликованы и возражения Пейну, но попытки его оспорить только лишь



подчеркивали неопровержимость доводов Здравого Смысла, как выразился Вашингтон.

В то время и Вашингтон еще не знал, кто такой этот Англичанин. Постепенно в публику проникало имя автора революционного сочинения. Стало известно, что им был некий Пейн, печатавшийся в одной филадельфийской газете.

И вот лежал он под камнем могильным... Лежал, кажется, еще вчера...

\* \* \*

\*

«Здравый смысл», «Здравый смысл», «Здравый смысл»! А почитать бы теперь, вникнуть. Кто не понаслышке знал ту книжицу, кто и правда, своими собственными глазами в нее глядел, те сказывали, что сделавшись она вовсе не ко времени — устарела.

«Чувства, мной выраженные, распространены еще недостаточно» — так писал Пейн, призывая к борьбе и подражая чувства революционные. То-то и оно! Было еще, а наступило уже.

История Соединенных Штатов Америки перевалила на пятый десяток лет. Сколько выборных правительств уже побывало у власти! Конечно, не тридцать королей, но все же: первого президента — Вашингтона, дважды избранного, сменил Адамс, вместо Адамса, как он ни пытался еще на один терм (срок) остаться, пришел Джефферсон, побыл он президентом два срока, и за ним последовал Мэдисон, ныне в президентском кресле находится Монро. Боевая быль передавалась по меньшей мере через три поколения — от деда к внуку и пообтерлась кое-где, местами окраску сменила, натуральный цвет на ней слинял. Да, надо признать, времена пошли не те...

Тяжела в оны годы была борьба, тяжела. Жертвы неискупимые принесены были ради общего блага. Кто же забудет мучеников? Но если индейки, откармливае-

мые к празднику, мало напоминали тех диких птах, что являлись добычей первых праведников-пилигримов, то и вся жизнь в Новом Свете другой против прежнего стала: раньше все как-то о борьбе говорили, а теперь — о довольстве. Вот иной угощается, жаркое с хмельным трескает, а сам и мысли не имеет, за что и почему такое счастье ему привалило, и сидит он за столом, как люди, а не гниет заживо на какой-нибудь галере и не болтается на виселице.

Иные говорили, что по святым, поминальным, праздничным дням не плоть свою ублажать надо бы, не лопать до отвала, не петь, не потеть в танцах бесноватых, а больше о душе думать, о душе, на проповеди налегать и в размышлениях проводить те дни, в помыслах возвышенных о прежних временах и о путях Провидения.

В ответ им ссылались, впрочем, на тех же предков — и на отцов-основателей, и на героев-повстанцев. Неужто они, основатели, когда Всевышний не позволил им стигнуть, а дал хлеб и кров на новой земле, неужели они, вдохновители, нас грешных прародители, не пели и не плясали от радости? И только ли одни проповеди согревали сердца тех, кто в лютую стужу (во имя Господа) сражался под Принстоном и форсировал ледяной Дела-вар?

А проповедь, что ж, разве она помешает, ежели не слишком длинна? Ведь на голодный желудок, слушая хорошие слова, их с трудом понимаешь и ждешь не дождешься, когда же, наконец, «Амины!» будет, а уж при сытом-то брюхе и подавно в толк не возьмешь, о чем речь. От речей, благодатных да чрезмерно длинных, в сон сильно клонит.

Есть времена духа, и есть времена брюха.

Поросла быльем память революции, поросла...

Скажем, эта одинокая, вдруг оскверненная могила в Нью-Рошели: когда-то Пейн всколыхнул всю страну,

словно революционный пророк, а помер, и ему для вечно-го покоя места достойного не нашлось — похоронили его прямо среди поля, будто бродягу, преступника или самоубийцу.

У сторожа перед глазами, как сейчас, стояла грустная, видная собой женщина: вдова не вдова — просила за покойника. Чтобы похоронить его, значит, по-людски, на кладбище. Сторож не спорил, ему что? «Нет,— сказал тогда староста, тот самый, что теперь расхаживал у разрытой могилы,— усопший не может рассчитывать на место среди членов нашей общины». А почему? Какие между ними были счёты?

«Дьявол! Его должен был взять сам дьявол!» — ныне размышлял староста. Он тоже, конечно, очень хорошо все помнил. «Насколько мне известно,— в свое время сказал он просительнице,— мистер Пейн так и не обратился ко внутреннему свету?» Госпожа Бонвиль (таково было имя этой дамы) отвела глаза в сторону. «Вот именно!» — подумал староста, а вслух сказал: «Не могу исполнить вашей просьбы».

Пейн это предвидел. Миновала та пора, когда все сердца и двери были ему открыты, а потому перед смертью он просил: «Не пустят на кладбище, тогда похороните на моей земле...» Земля его была давно сдана в аренду и переходила из рук в руки, но с очередным арендатором все же сговорились положить бывшего хозяина недалеко от проезжей дороги.

Привезли из Нью-Йорка гроб. Красного дерева. «Не покупилась», — подумал тогда сторож про госпожу Бонвиль, которую сопровождали двое совсем еще молодых ребят, некий джентльмен и пара черномазых, копавших могилу. Чудачка! Что за похороны? Ни молитвы, ни проповеди. Встала эта дама у края могилы, примерно где теперь топтался шериф, поставила одного из мальчишек напротив и говорит: «Все тебя запомнят, Томас Пейн!

И Америка тебя не забудет, и Франция станет помнить». Как же, а-запомнят, держи карман шире! А черные принялись могилу закапывать. Потом, собравшись со своими немногочисленными спутниками в обратную дорогу, все та же мадам просила сторожа за могилкой присматривать и холмик поправить, как земля осядет. Вперед заплатила и, надо признать, тоже не пожадничала. Сторож деньги взял, благо никого из местных вокруг не было: как попрятались! Что ж, дело есть дело, уж коли заплачено. Когда лишних глаз не было, он землю подровнял, камень могильный поплотнее приконал: той же самой лопатой, что и сейчас была у него в руках. Да-а, кто-то этого покойника и правда не забыл!

Ветер занес в могилу несколько листьев. Кружась, они падали все ниже и ниже, а потом вдруг, словно испугавшись пустой могилы, с новым порывом ветра взметнулись вверх. Трое поежились от того же ветра. Почему должны они зябнуть и дрогнуть ради какого-то пронавшего покойника? Он и американцем не был — старожилы знали это прекрасно. А уж что никто не навещал его могилы, здесь любой мог подтвердить. И лишь все те же понятия о неизбежном, предусмотренном жизненном укладе заставляли их беспокоиться. Иначе что люди скажут? Кто здесь орудовал? Чья рука? Непорядок! Местная власть, хочешь не хочешь, должна была показать себя.

Троих разбирало и простое любопытство. Пищи для обычной из человеческих слабостей в этих краях было весьма недостаточно. Разве что, в самом деле, ветер или дождь меняли обстановку, а так — день проходил за днем, совершенно неотличимые друг от друга...

Пока революционная энергия и борьба перекатывалась из края в край, жизнь загоралась в самых отдаленных уголках, вдруг обретавших значение наряду с Филадельфией и Бостоном, которые изначально спорили

между собой за первенство. Такая участь выпадала на долю Конкорда и Лексингтона, Принстона и Трентона, Брэндивайна, Бордентауна или, скажем, Аннаполиса, который одно время даже столицей побыл, потому что из оккупированной англичанами Филадельфии туда перенеслось американское правительство. Однако в мирные времена иерархия установилась совсем другая: за настоящей жизнью надо было куда-то ехать, искать и добывать эту жизнь в кипучей толчее, а кругом по большей части, куда ни посмотри, — быт, быт, быт неспешный и даже неслышный.

Революция могла бы и не заглядывать в Нью-Рошель, но через поселение проходил Большой почтовый тракт, тянувшийся по морскому берегу от самого Бостона аж до Виргинии, и армии обеих враждующих сторон проследовали по этой дороге в обе стороны, сначала сего страх и ужас среди тех, кто сочувствовал Независимости, а затем среди тех, кто Независимости сопротивлялся.

Нью-Рошель, как видно по названию, была основана в честь старой, французской Рошели, видевшей сражения за веру, осаду со стороны кардинала Ришелье: бежали из Франции за океан духовные братья легендарного короля Гуго, гугеноты, и нашли здесь пристанище. Летопись Нью-Рошели напоминала прошлое чуть ли не всякого из американских поселений: когда-то индейская земля была куплена голландцами и перекуплена французами и, наконец, англичанами. Если исконное население не хотело уступить свою землю добром — за бесценок, его прогоняли силой: последнего индейца здесь видели не меньше ста пятидесяти лет тому назад. После того как голландцы тоже ушли, в этих местах наибольшим влиянием довольно долго пользовались французы, однако пришел и их черед отступить, ибо в революцию многие из них имели неосторожность поддерживать английского короля.

Кто из вас помнит «Шпиона», тот, вероятно, не за-

был и впечатление некоторой путаницы. Купер именно того и добивался: чтобы читатели почувствовали сложность междоусобной, в сущности, войны.

Купер жил прямо здесь, в этих местах, когда писал роман, и здесь же выбрал место действия для своего повествования — на ничейной земле. Территория была ничейной, или нейтральной, потому, что пойдя и разберись, кто за кого сражается: граница проходила буквально по огородам и усадьбам и, конечно, через людские сердца. Сын самого Франклина пошел против отца! Пограничная полоса петляла, разбивая родственные узы. Друг с другом сражались люди, говорившие на одном языке, и почти каждый мог указать на карте Англии точку, где когда-то жили его предки.

В Нью-Рошели Купер поселился что-нибудь год спустя после кончины Пейна, а за «Шпиона» он взялся примерно через год после того, как Пейнов прах пропал. Жил он тогда уже в другом селении, но по-прежнему неподалеку от Нью-Рошели (в куперовском доме теперь небольшая гостиница и бензоколонка). Более того, рукопись «Шпиона» в Нью-Йорк, к издателю, везли по той же самой дороге, возле которой толкуются сейчас персонажи нашего повествования. Они о том, разумеется, не подозревают. Во-первых, «Шпион» еще только пишется, а во-вторых, вы плохо знаете американцев, если думаете, что такой человек, как сторож, вообще что-либо читал и что на такую ответственную должность, как церковный староста или шериф, могли быть выбраны люди, читавшие всякие небылицы, не освященные Господом.

Во имя того же Господа хотели они понять, что произошло. Вид разрытой могилы производил впечатление взрыва, какого здесь не слыхивали с незапамятной поры.

Сторож, вспоминая грустную даму и ее спутников, думал: кто же это озоровал?

Староста, словно сводя прежние счета с покойником,

ревновал к его памяти: кому забытый мертвец мог понадобиться?

А шерифу, который был в этих краях человеком новым, приезжим, и вспоминать было нечего. Вглядываясь в комья земли и в следы колес, которые от могилы через поле по дороге вели в сторону Нью-Йорка, он просто терялся в догадках.

— Зубы при нем золотые были, что ли... — высказал он вслух свои мысли.

Нет, этого вроде не было, откликнулся сторож. Одет покойник был чисто, пристойно, а уж ничего больше доложить нельзя.

Тут тихо, но твердо и сурово староста сказал:

— Он был безбожник и совратитель умов человеческих.

Шериф взглянул с вопросом в глазах на старосту: «Как это может объяснить исчезновение гроба и половины могильного камня в придачу?» А вслух блюститель порядка предложил свою версию:

— Краденого он, часом, не скупал?

Тут уже староста вытаращил глаза, глядя на шерифа и как бы вопрошая его: понимает ли он, о ком говорит?

Стоя на краю оскверненной могилы, трое осматривались по сторонам, будто знакомую им до мелочей местность они, под впечатлением от неясной драмы, видели впервые. На склоне холма через дорогу стоял домик, наполовину скрытый деревьями. Деревья качались, и окна домика как бы выглядывали время от времени из-за шумящей, мечущейся листвы.

— Надо соседей расспросить, — решительно сказал шериф.

Сторож вскинул лопату на плечо, и они пошли по рытинам, а затем через дорогу и в гору — к домику. Он казался совершенно затихшим и даже нежилым. Есть там кто? Готовые ко всему, местные власти стали всматриваться в темные окна.

— Эй, хозяин! — позвал шериф.

— Мистер Бедон! — крикнул староста.

Ответа не последовало. Двигаясь в ряд, трое подошли к двери и постучали. Ветер прошелестел по крыше, и только.

— Ты видел их, этих Бедонов? — спросил староста у сторожа.

— Вчера вроде были, — отозвался человек с лопатой на плече.

Шериф попробовал толкнуть дверь, с гулким скрипом она отворилась. Уже собираясь сделать еще один шаг, трое замерли.

Прямо за дверью, бледна как смерть, стояла хозяйка дома.

Затихла скрипучая дверь. Ничто не нарушало напряженную тишину. Только вдруг стал слышен стук, дробный и отчетливый.

Стучали зубы у госпожи Бедон. Трое переглянулись. — Чарити! — окликнул по имени хозяйку дома шериф.

Двое других ему вторили:

— Что с тобой, Чарити?

— Что же ты, Чарити?

Не двигаясь с места, староста наклонился вперед и настойчиво произнес:

— А муж где твой, Чарити?

Вместо ответа Чарити Бедон вскинула обе руки и отступила назад.

Шериф переступил порог первым. Он окинул взглядом гостиную и, не оборачиваясь к своим спутникам, махнул им рукой так, будто за ним следовал отряд, которому предстояло штурмовать позицию. Сторож оставил лопату у порога и тоже вошел. Вошел и староста.

Гостиная, она же прихожая в доме Бедонов, настолько напоминала такую же комнату в любом из домов по всей округе, что, вероятно, сам хозяин мог бы обознаться и



подумать: к себе ли домой он попал или же зашел к соседу? Все, что должно стоять в каждом доме, стояло на тех же местах, будто здесь вообще никто и не жил, а только изображал, как следует жить скромным, праведным людям: ни пылинки и — ничего лишнего.

Лучи тусклого осеннего света освещали небольшой столик у окна. На столике — молитвенник. В глубине комнаты кирпичный камин. Деревянные кресла. И единственное яркое пятно — начищенные каминные щипцы. «А вот и щипцы у нас есть!» — сигналил медный блеск.

Убедившись, что все, как надо, староста пожелал установить лишь один очевидный пропуск:

— Где же муж твой, Чарити?

Его спутники поспешили втолковать женщине тот же вопрос:

— Муж где, Чарити?

— Миссис Бедон, где мистер Бедон?

Тут хозяйка еще раз всплеснула руками, и слезы выступили у нее на глазах.

— Уехал! — выкрикнула Чарити Бедон.

Староста подступил к ней ближе:

— Куда же он уехал, Чарити?

— В Бостон! — эхом отозвалась женщина. — Уехал вчера вечером в Бостон.

И она даже указала рукой туда, в угол комнаты, в направлении, где был город Бостон.

Трое переглянулись. А Чарити Бедон простонала:

— О, мне было так страшно! Невыносимо страшно...

И она закрыла лицо руками. Староста нагнулся, желая заглянуть ей в лицо, и спросил:

— Чего же ты испугалась, Чарити?

Вместо ответа женщина обеими руками указала теперь на окно. Конечно, на окно!

Повинуясь этому движению, все трое бросились к окну. Однако увидели они спуск с холма на дорогу,

за дорогой — поле, раскиданная земля, яма и кусок надгробия. Даже отсюда хорошие глаза могли бы различить на обломанном камне: «...ас ...го смысла ...09 года...»

Шериф подошел к хозяйке и тихо, словно никто больше не должен был его слышать, произнес:

— Как это было, Чарити?

Качнувшись всем телом из стороны в сторону, Чарити Бедон хотела выразить: «Нет! Нет!» Ужас мешал ей говорить.

Староста схватил женщину за кисти обеих рук, отнял их от лица и, смотря ей прямо в глаза, сказал:

— Мы с тобой, Чарити! Во имя Господа, говори, Чарити!

Чарити Бедон, право, не решалась сказать, что же такое это было. Собравшись с силами, она могла лишь поведать, как сегодня, часа два тому назад, у подножия холма, за дорогой...

— Подробнее, подробнее! — требовал шериф.

— Всю правду! — настаивал староста.

...Рано утром, до света, поднялась она, значит, с постели — корову подоить. Было прохладно и сумрачно. Где-то тявкнула собака. Чарити взглянула в ту сторону. Так, повернула голову, и все. Муж уехал, поэтому она все время невольно вздрагивала и осматривалась.

Требуя правды и подробностей, представители власти проявили, однако, некоторое нетерпение. Собака тявкнула, хозяйка вздрогнула — дальше что? Однако в ответ на требовательный вопрос Чарити вновь вздрогнула, пожилаясь и в свою очередь спросила:

— Может, нам не повредит капелька виски?

А-а-а!.. Все трое были в точности того же мнения, хотя еще раз мельком переглянулись. За угощение, конечно, спасибо, а все же, видать, не зря люди говорят! Был такой слушок: муж за дверь — жена за рюмку, и по-тихо-неч-ку, по-ле-гоне-чку... Да-а, видать, не зря...

от людей не скроешь. Ну, да нам что? И общее единодушие насчет сделанного предложения было выражено.

Хозяйка вышла из комнаты, а потом вернулась с темной бутылкой и со стаканами на подносе. Вскоре раздался голоса:

— Довольно, довольно!

— Благодарю!

— В самый раз!

Итак, тявкнула собака. Теперь та же деталь воспринималась слушателями совсем иначе, этот лай выглядел подробностью уместной и многозначительной. Тем более что, обернувшись на собачий лай, Чарити Бедон увидел на дороге повозку, запряженную, по ее словам, парой мулов. Мулов? Именно мулов? Большие уши были хорошо видны в серой, редящей мгле. Поскрипывание колес и легкое тарыхтенье повозки Чарити услышала еще в постели, проснувшись. Она даже подумала, не вернулся ли с дороги муж. Но это не мог быть он: повозка приближалась совсем с другой стороны, от Нью-Йорка. Как же ей сразу не пришло в голову? Чарити и опечалилась немного, и успокоилась. Стало быть, мистер Бедон следует своим путем. До Бостона! Будет дома через месяц... И Чарити, вероятно, опять заснула ненадолго, потому что ей не пришло в голову еще раз спросить себя, куда же они ехали, ведь шум колес все приближался и приближался, а потом прекратился. Да, видеть, она забылась коротким и глубоким предутренним сном.

Чарити отхлебнула из рюмки. Теперь ей даже хотелось поговорить.

— К делу, Чарити, к делу! — ободрил ее староста.

Почему же повозка не проехала мимо? Так подумала госпожа Бедон, когда, уже поднявшись с постели и выйдя из дома, разглядывала эти длинные уши. Может быть, произошла какая-нибудь поломка? Что за люди? И похо-

лодела кровь в жилах у Чарити Бедон. Если бы не ведро в руках, она бы грохнулась на землю прямо где стояла. Право, грохнулась бы...

Чарити сделала еще глоток. Потом взглянула на каждого из троих.

— Мистер Пейн, — высказала она то, что ей, видно, уже давно хотелось высказать, — был неплохим соседом. Но кого нельзя похоронить, как христианина, не найдет себе покоя и за гробом.

— Что ты увидела, Чарити? — воскликнул староста, которому все было ясно с самого начала.

— Нет, я хочу сказать, — упрямо повторила госпожа Бедон, — если бы то было возмездие!

— Что же это было, наконец? — в крайнем нетерпении спросил староста.

— Да зубы золотые, зубы! — прошептал шериф.

Чарити, растягивая слова, выговорила:

— Ук-ра-ли его...

Трое переглянулись. И после короткой паузы:

— Не будем теряться в догадках, — потребовал шериф, несколько обеспокоенный неподтвержденностью своей версии. — Рассказывай все, как есть!

По словам госпожи Бедон, их было тоже трое. Один высокий, здоровенный. Чарити расслышала ясно, как он сказал: «Пусть теперь хватятся, продажные души!» Это он своротил с могилы камень, подкопав его киркой. А двое других ковырялись в земле.

— Ты могла бы теперь их узнать? — спросил шериф.

Если бы не повозка, все это можно было принять за сон. За помрачение рассудка. Или же подумать, будто те трое — сама нечистая сила. Но мулы как мулы — стояли, встряхивая своими длинными ушами. А великан, горластый, так внятно выговорил: «Продажные души!» А потом еще сказал: «Мелочный народец!»

— Кого же он имел в виду? — поставил вопрос староста.

Чарити безмолвно покачала головой. Что видела, то видела, а уж больше ничего сказать она не может. Двое залезли в могилу. «Осторожней!» — слышалось, как распоряжается тот, здоровенный. Слышно было также, как снизу ему сказали, что доски почти не сгнили.

— Ишь ты! — вставил сторож. — В таком гробу лежать да лежать.

— У них, — тут Чарити Бедон закрыла глаза от ужаса, а затем вновь широко их открыла, ибо картина, вставшая перед ее мысленным взором, была, видно, еще ужаснее, — у них был ящик...

И больше не могла продолжать.

— Так, Чарити, — настаивал староста, — так... говори же!

— Говори, Чарити! — гремел шериф. — Часы? Кольца? Зу...

Ни язык, ни губы женщину не слушались. Горло перехватывали спазмы.

С трудом выговорила:

— Они...

Шериф, староста и сторож разом подались вперед.

Чарити поднесла руку к горлу, как бы желая сжать его, чтобы вытолкнуть невероятные слова:

— ...кости...

Трое от нее отпрянули. А Чарити, хлебнув еще раз для храбрости, наконец произнесла:

— ...в я-ящик из гро-гроба пе-ре-кладывали.

Теперь у троих глаза, кажется, готовы были выскочить из орбит. Превозмогая себя, Чарити продолжала: один из могилы подавал, а другой, здоровенный, принимал, прятал в ящик и еще приговаривал: «Нога... вторая... рука... Давай-давай!» А... а че-череп верзила взял обеими руками, поднял повыше и, повернув глазами к себе, сказал: «Мы пришли за тобой, Пейн!»

Если бы тишину, которая установилась в комнате,

нарушил хотя бы ничтожный скрип, то, верно, на кладбище, где не нашлось места Пейну, пришлось бы копать еще четыре могилы. Похоже, ни староста, ни шериф, ни сторож и не хотели дальнейшего рассказа. Но Чарити, не в силах одна справиться с виденным ею, вновь заговорила.

Поставили ящик на повозку. Стали тащить камень. С места сдвинули, а не поднять! Здоровенный подбадривал, поощрял своих сообщников всевозможными ругательствами, приговаривая: «Во имя всеобщей справедливости!» Ругался он до того скверно, что Чарити Бедон, конечно, заткнула бы уши, если бы ее не сковал страх.

— Да простит всевышний мою слабость, — грустно добавила она, а потом спросила: — Еще по одной?

В ответ раздалось:

— Не повредит!

— В самый раз...

— Дело верное.

Когда неведомые люди поняли, что могильного камня им все равно не поднять, верзила принялся камень раскалывать, все так же ужасно ругаясь при каждом ударе кирки. После неслыханно сильных ударов и еще более сильных выражений камень, как видно, треснул, но, верно, не там, где было нужно, — сквернословить верзила стал с исключительной яростью.

— Трещина в камне была, — пояснил сторож, — трещина.

Тот кусок, который оказался поменьше, они и подняли на повозку. Еще раз помянув «всеобщую справедливость», верзила взялся за вожжи, и мулы, на которых обратилась теперь вся сила его убеждений, двинулись в обратный путь — к Нью-Йорку. А уж как она сама добралась до дома, Чарити Бедон, откровенно сказать, и не помнит.

Женщина умолкла и, вероятно, еще раз воскресила в памяти все, что, не веря глазам своим, видела ранним

утром: в тумане, будто во сне, копошились над одинокой могилой таинственные фигуры. Представилось ей все это опять до того ярко, что оцепенение нашло на нее, и рука с рюмкой замерла, а глаза неподвижно устались в одну точку.

Не забывая подкреплять себя живительной влагой, трое принялись обсуждать услышанное.

— На мулах они далеко не уедут, — сказал шериф.

Это означало, что нечего в спешке, прямо сейчас, оставлять теплый кров и бросаться сломя голову по размытой осенней дороге. Ранним утром земля будет покрепче, посуше, а теперь солнце уже пригрело, и, того гляди, увязнешь. Кроме того, имея в виду соотношение сил и особенно этого верзилу-ругателя, погоню нужно обдумать как можно обстоятельнее, не сходя с места.

Сторож запустил в маленький ящичек, предложенный госпожой Бедон, два пальца и, отправив по должной порции табачной пыли в одну и другую ноздрю, стал дожидаться результата. Через некоторое время, громко чихнув, он добавил себе в оправдание:

— Покойник это дело любил.

С живейшей заинтересованностью шериф пожелал узнать все подробности об украденном покойнике. Помня наизусть могильную надпись, он, однако, понятия не имел о том, кто же такой Пейн. Что-то это все, выбитое на камне, означало, но — что? Поэтому, вдруг узнав, что означенный Пейн (кем бы он ни был) имел обыкновение нюхать табак, шериф крайне этим заинтересовался, словно подобное пристрастие могло-таки многое объяснить в похищении праха.

— Да, большой охотник был понюхать табачку, — авторитетно повторил сторож и, считая, что столь веское свидетельство должно быть оценено по заслугам, еще раз запустил пальцы в табакерку. — Его так и звали: «Эй, ты, Нос в табакел!»

— Нос? — переспросил шериф.

— Точно! У него же нос — во какой был! — тут сторож поставил перед своим собственным носом ладонь на таком расстоянии, в которое протиснулась бы голова. — В каждую поздю, почитай, по полторы табанерки входило.

Шериф готов был слушать сколько угодно. Он только бросил выразительный взгляд на источник живительной влаги, дабы беседа не остывала. Хозяйка не упустила из виду его взгляд. А сторож, уназывая на тот же источник, поддержал:

— Он и это дело оч-чень любил.

Тут староста выпалил:

— Пейи был пропойца!

«Ну зачем же так говорить?» — разом выразили лица всех прочих. Сторож покачал головой.

— Это как считать... От компании хорошей не отказывался, а держать себя уметь.

В признание справедливости такого вердикта трое — сторож, шериф и хозяйка — пригубили еще по глотку. А староста лишь недовольно пожевал губами.

— Мне с ним частенько приходилось сживать, — продолжал с известным торжеством сторож. — Жил он у нас тут совсем один. И все у окна сидел. Скучал. Зайдеишь к нему, глядишь, стаканчик-другой... третий пропустишь, и уж начнет он рассказывать, прямо чудеса, хочешь верь — хочешь нет.

Шериф подался вперед и приблизил почти вплотную к рассказнику свое лицо, на котором красноречиво выразился вопрос: «Какие же чудеса?»

Каждый знал: за иные чудеса под суд и на виселицу угодить было недолго. Одного старика камнями задавили: он все не сознавался, что колдун. А не сознавался из корысти. Камни ему на грудь кладут и спрашивают: «Сознаешься?» Молчит. Ведь имущество после его смерти у наследников изымут, если бы он сознался. Еще камней



наваливают. Молчит. Так и задавили его, а перед самым концом он, говорят, крикнул: «Клади больше!» Вот старый пес! А тех девятнадцать девок из Салема (штат Массачусетс), когда в них ведьмачество обнаружилось, всех до единой повесили. Кто-то говорил: сожгли! Нет, сожгли собаку, в которую тоже бес вселился, а их повесили. Потом, лет через двадцать, им, надо признать, оправдание вышло: зря их подозревали, но с нечистым ухом надо держать остро. Кто же спорит? А послушать про ведьм и колдунов все же любопытно. Просто интересно, какие же чудеса за покойником замечались.

Сторож не спешил. В память раба божьего Пейна, согласно слабостям его, и табачку еще понюхал, и из рюмочки пригубил, а уж затем стал докладывать, и все так, между прочим, будто дело самое обыкновенное:

— С президентами дружил...

Жадный блеск любопытства во взоре шерифа не погас, но переменял окраску с дополнительным оттенком недоумения: «Да как же так?»

А сторож добавил:

— Законы выдумывал...

— Порочный честолюбец! — вставил, вдруг вспыхнув, староста.

— По судейской части промышлял? — спросил шериф, желая все же ввести дело в пределы доступных ему понятий.

— И салат он тоже изобрел, — сказал сторож, оставив без внимания воаглас старосты и вопрос шерифа, а в то же время сообщая нечто, стоящее выше чьих-либо мнений.

— Как — салат? Какой салат? — почти закричали его собеседники.

— А на закуску, — ответил сторож. — Все вместе смешано: и лучок, и яйца, и мясо.

Теперь во всех взорах честной компании, за единственным (и понятным) исключением, светился восторг перед изобретательностью украденного покойника.

— Вот он Здравый Смысл! Это Здравый Смысл! — приговаривал шериф. — Самый настоящий!

И действительно, если идеи Пейна вошли во всеобщий обиход настолько повсеместно и прочно, что, кажется, они всегда существовали, так и Пейнов салат сделался принадлежностью мирового меню. Добавим подробности: салат назывался сальмагунди, изготовлен был в первый раз в лондонской таверне «Под соломенной крышей», когда Пейн с друзьями, в том числе со знаменитым естествоиспытателем Джозефом Пристли, провозглашал тост «За всемирную Революцию!» (впервые в истории).

— А заправлял он чем свой салат? — поинтересовалась хозяйка.

— Маслицем, когда было, — отвечал сторож и продолжал развешивать цепь своих воспоминаний о таинственном покойнике, который оказался таким беспокойным. — Да-а... много, говорил он мне, я всего хорошего придумал.

Всеобщее образование, общественное воспитание детей, пособия по старости — все, все предлагал Пейн. Какие такие пособия? Что за образование? К-как это за чужой счет растить детей?

Сторож ответил лишь таинственно-многозначительным выражением лица, словно суть дела должна оставаться тайной между ним и мистером Пейном.

— Часом, на каторге ему бывать не приходилось? — желая добиться ясности, спросил шериф.

А сторож вместо разъяснений добавлял все новые и новые проекты мистера Пейна, один невероятнее другого:

— И... и чтоб зверей взять под свою защиту.

— Зверей?! — воскликнули двое — шериф и хозяйка.

А третий, староста, прошипел:

— У французов выучился!

Впрочем, яд пропал даром, поскольку, кроме старосты, никто понятия не имел о том, как в Париже после падения Бастилии народ двинулся к зоопарку — освобождать зверей.

— Чтоб, значит, всякую скотину безгласную зря не... — пробовал объясниться на свой лад сторож.

— Ты лучше скажи, — вмешался староста, перейдя в атаку, — какие он речи вел о женщинах?

А шериф тут же подхватил:

— Двоеженец?!

Сторож не мог сразу решиться на ответ. О, ему было известно, что сказать. Но как такое выговоришь?

— Говори, говори, коли взялся! — гремел староста с видом разоблачителя.

Шериф с хозяйкой впились в сторожа глазами. Уж тут сторож, пожевав губами, наконец произнес:

— Вровень... на один, значит, лад с нами... того... чтобы, значит, перед законом были, что мужчина, а ч-что ж-женщина... все одно.

И сторож вздохнул, как после трудной работы. А староста триумфально глядел теперь на всю компанию, и во взгляде у него было: «А что я говорил?», будто, рассказывая, он все время выговаривал вслух то, что было у него на уме: «Пейн — пособник дьявола!»

Свидетельство сторожа, вызванное усилиями старосты, произвело подавляющее действие на прочих собеседников. Поистине лишь враг рода людского и уж по крайней мере безумец мог выдвинуть подобный проект. Ведь в Писании как говорится? Вспомни! Мужчину Бог не только сотворил первым — наделил душой. А женщину? Ни слова! И есть она, женщина, была и будет источником всякой нечисти. Лучше бы не иметь с ней вовсе никакого дела, однако приходится терпеть ее возле себя как неизбежное зло. Но терпя, неся этот крест, самим Господом на плечи наши возложенный, уж ни секунды, ни ночью ни днем забывать нельзя, что такое являет собой женщина: сонмы демонов по сравнению с ней ничто. Вид ее — соращение первое, язык — второе, а уж коли имел неосторожность (или глупость) коснуться ее, тогда пиши пропало. Разве

не зло она, если такой адской силой наделена? При этом ума у нее ровным счетом никакого нет, ни в одно дело серьезное вникнуть она толком не способна, а между тем стремится существо высшее, Господом Богом по своему подобию сотворенное, мужчине, себе подчинить: слову его каждому перечит, поперек всякого его желания на пути встает и обязательно до того бедного доводит, чтобы согрешил. А уж согрешивши, он сам повинную голову несет, а она, искусительница, ту голову, как ей угодно, сечет. Их, это змеиное отродье, если о правах говорить, не только что к выборам нельзя допускать, их держать бы с утра до вечера связанными, взаперти или по меньшей мере с заткнутым ртом. Иначе вся власть точно у них окажется. Погибель тогда настанет для всего рода человеческого. Что только есть на свете достойного облика людского, то все пойдет прахом, извратится и погибнет, если женщине хоть с наперсток чуть больше власти дать. Как иначе думать? Что возразить, когда это правда полная и неизбежная?

Даже в глазах Чарити Бедон нельзя было заметить хоть малейшее сочувствие тому, что они слышали: уравнивать бабу с мужиком! Годков пятнадцать — двадцать тому назад Чарити, быть может, и взглянула бы на это иначе, но теперь, когда жизнь уже давно живет в мужином ярие, сух и гневен был ее взор. А шериф... шериф... даже вроде готов был расстаться с уютом радушия дома и наконец броситься в погоню за похитителями Пейнова праха, но не ради того, чтобы вернуть прах земле, а чтобы... чтобы развезти его по ветру!

Напаив на след богатой добычи, староста не отступал.

— Выкладывай, что говорил он о черных! — староста даже улыбнулся, предвкушая победу.

— Беглых невольников перепродавал? — последовал вопрос шерифа.

Да нет, мы, понятно, не на Юге, чуть ли не оборвал его староста. Там изверги рода человеческого, у которых

раб все равно что скотина, только двуногая. Мы истинные христиане, однако разница между господином и слугой нам хорошо известна. Так что же, что вешал о рабах давно ушедший и все еще не нашедший покоя?

Сторож и не рад был, что вызвал на свет божий тень из прошлого. Ему самому, видно, неприятно было повторять рассуждения Пейна о рабстве.

— Нет, нет, — не выпускал его из ловушки староста, — отвечай, да еще расскажешь, что предлагал он сделать с нашим неотъемлемым правом на владение нашими слугами.

Сторож еще раз тяжело вздохнул:

— Отменить...

Теперь и староста с торжеством оглядел окружающих.

На некоторое время опять установилась тишина. Уже совершенно ничем не нарушаемая. Мировая тишина, можно сказать. Тишина в доме. Тишина во всей округе. Вещи стояли на своих местах. Люди сидели в креслах не шевелясь, имея под рукой первейшие средства ублажить себя. Чего же еще? И если бы вдруг не подвыл ветер, напоминая об оскверненной могиле...

— И что он... предпринял? — хмуро спросил шериф, чувствуя, что ресурсы его собственной догадливости иссякли и пора подыматься в погоню. — Как же отозвались на его проекты?

Сторож развел руками:

— Не послушались! Так он говорил. Не послушались...

Хотя кто именно и где Пейна не послушался, сторож предпочел опять оставить в тайне.

— Сам промотался и рад был чужое отбирать, — вынес свой приговор староста.

— Игру вел большую? — встрепнулся шериф.

Но его опять не удостоили ответом.

— А один раз говорит он мне, — уходил все дальше в воспоминания сторож, — веришь ли, говорит, своей рукой я всю страну обозначил!

То была истинная загадка.

— Как это? — удивился шериф.

— А так вот, своей рукой,— повторил сторож, тут уж откровенно давая понять, что сам не вполне понимает, как это, собственно, получилось.

Все же, не желая умалять авторитетности своих сообщений, сторож даже показал, изобразив по мере сил, как странный сосед вытянул вперед правую руку и как сказал: «Пишу *Соединенные Штаты*, и стали мы все, значит, соединенные!»

К сведению читателей, Пейн, заключая «Здравый смысл», писал так: «Да не будет среди нас ни одного, кого пришлось бы называть иначе, кроме как достойный гражданин, искренний и верный друг, доблестный сторонник Прав человеческих и Независимых и свободных Штатов», и никого, кто бы раньше Пейна употребил то же самое выражение, отыскать не удалось.

Но в самом деле, трудно представить себе название страны кем-то выдуманным (в особенности соседом).

— За что же в таком случае,— язвительно вставил староста,— его лишили гражданства в наших Штатах?

— А уж этого сказать не могу,— сразу ответил сторож, словно съезжившись.

— Он здесь-то,— спросил шериф,— как очутился? Откуда взялся?

Сторож покосился на старосту и сказал:

— Из Англии...

— Висельник? — допрашивал шериф.— Сослан был или сам приехал?

Сторож пожал плечами:

— Кто ж его знает... Может, от суда бежал, а может, от жены.

Разное о нем толковали, продолжал сторож. Всех слушать, так и не поймешь, что за человек был такой. И опять покосился на старосту.

— Когда он прибыл? — продолжал допрос шериф.

— Еще до войны, — сказал сторож.

— С кем же он был в нашу революцию? — и шериф уставился на сторожа.

Староста хотел что-то сказать, но сторож, вроде защищая не только украденного покойника, но и себя самого, быстро и решительно ответил:

— С президентом!

И староста на это ничего не возразил. Зато шериф был озадачен: почему же его, в самом деле, лишили гражданства? Не путает ли сторож? Нет-нет, уж это как есть: воевал рука об руку с генералом, а потом президентом, Вашингтоном. Из одного котла хлебали. Правда, не выслужился Пейн, чинов никаких не получил. Но земли ему дали. Именно здесь, в этих краях. Потом подался он опять по ту сторону, за океан. Нет, вроде к французам... Растолковать, что к чему. Или же опять к своим, к англичанам?

— А зачем?

— Кто ж его знает!

Однако, не сознавая того, сторож оказался прав: время было революционное. Лондонский городской люд сделал попытку снести Ньюгейтскую тюрьму даже раньше, чем французы пошли на штурм Бастилии. У англичан ведь были свои революционные традиции: они свергли короля раньше всех, еще в семнадцатом веке, и если американцы в 1776-м, а французы в 1789-м говорили о законности революционного переворота, они ссылались на 1649-й — на англичан. И поэты, будь они французами или американцами, когда пели о своей революции, воспевали 1649 год и воскрешали железного Кромвеля. И революционный словарь, включая такие понятия, как «чистка», идет из Англии. И радикалы, и уравниатели (левеллеры), и даже диссиденты, точнее, диссентеры, то есть раскольники, впервые появились среди англичан,

у них была и реставрация. Как говорит историк, не сроднившись с кромвелевской республикой, англичане вернулись к прежним порядкам, к монархии. Конечно, даже новый король понимал, что надо дать новым хозяевам жизни жить по-старому, как лордам. Однако и реставрацией дело не ограничилось: еще один переворот совершился, названный Славной революцией, в смысле — все славно наконец устроилось, нашли подходящего короля, и вроде бы всем стало хорошо. Да, всем тем, кто уже успел воспользоваться преимуществами переустройств. А внизу осталось недовольство от неосуществленных посулов и от несбывшихся надежд. Снова и снова это недовольство заявляло о себе, а с конца восемнадцатого столетия, когда в Англии началась революция «тихая», индустриальная, пушки не стреляли, но грохотали станки и паровые машины, люди стали придатками машин, и кто не стал, кто был освобожден от работы силой пара, тех выбрасывали на улицу. И вдруг Лондон сделался огненным морем: семь дней армия не могла справиться с восставшими. Бунтарей, как водится, называли «сбродом», но статистика даже сквозь толщу столетий сигналил о другом: поднялись те, кто добывал трудовой хлеб. Рабочие общества возникли по всей стране, их вдохновляли Пристли, Горн Тук — друзья Пейна. Почему же тогда в Англии не произошло второй революции? Английские историки как бы побаиваются на это отвечать. Слишком реальной являлась подобная возможность. Если все же доискиваться ответа, тогда надо будет прийти к выводу, что самыми сплоченными и сильными в ту пору оказались собственники — среда, завоевавшая свои позиции еще в первую революцию, и такие люди, конечно, были бы не прочь завоевать еще больше, но они же боялись и потерять что-нибудь из полученных привилегий. Эта мощнейшая прослойка действовала, как «толкач», порываясь вперед и тут



же пятах. Пейн это все видел собственными глазами...

— Долго пропадал?

— Годов пятнадцать.

Ну, побыл где-то там, вернулся, а тут не хотят его принимать.

— Сильно переживал, — продолжал сторож. — Огорчался. Сам мне жаловался, грозился. Напишу, говорит, в столицу, и опять все станет по-моему! Уж не скажу, писал не писал, а только все сидел у окна и никакого ответа ему, видать, не было.

— Сидел себе, и все? — иронически усмехнулся шериф.

— Да, — просто ответил сторож, — так все больше... грустил. А бывало и мастерил кой-чего. Он ведь из махаников: не нам чета! Так о себе и говорил. Я, говорит, маханик!

— М-механик, — с видимым презрением поправил его староста, взглядом давая понять, что не признает какого-либо превосходства мастеровых над лицами своего собственного положения.

— И умер здесь? — спросил шериф, выражение лица которого говорило о еще более развитом чувстве превосходства над кем бы то ни было, включая и механиков, и старост, и сторожей.

— Нет, в Нью-Йорке, — удостоверил сторож. — Плох стал, и отвезли его в Нью-Йорк. Землю и дом в аренду сдали. Дом-то его — вон стоит!

Сторож мотнул головой, примерно в ту же сторону, куда указывала хозяйка, говоря, что муж ее уехал в Бостон. Там, по дороге на Солнечную Долину (В. Ирвинг сделал ее «Сонной»), ютился среди старых яблонь крохотный домишко с непомерно большой крышей.

— Это мы знаем, — сказал шериф, хотя на самом деле ему до сих пор и не приходило в голову, что похожий на гнома домик и одинокая могила как-то связаны между собой.

— Тут ведь дом другой был, большо-ой! — говорил свое сторож. — И дом, и землю — все взяли, вишь, у того, который был за английского короля и, значит, против нашего президента. Ну а мистер Пейн с президентом был Тим-Том, как мы промеж себя. Сам он мне это говорил. Вот и дали ему землю и дом... Дом-то дали, только он в нем, считай, почти не жил. Уехал...

— К французам?

— Говорили, вроде и к англичанам.

— Когда мы с ними воевали?!

Сторож только плечами пожал и добавил:

— А может, и к французам. А дом-то, пока его не было, возьми да сгни. Сам ли дом сгорел, или же огоньку подпустили — кто знает! И конюшни погорели, все дотла. Осталась только эта сторожка. А хозяйство было большое, богатое! Он сам говорил: все это за мою службу, значит, мне предоставили...

Староста скривил губы. А шериф поинтересовался:

— Какую же службу?

— Уж этого не скажу, — сторож вздохнул. — Говорил он одно: все-все я обдумал и полная победа была за нами.

— Постыдная гордыня! — в очередной раз взорвался староста.

— Вот, как сейчас с вами, — не возражая, продолжил сторож, — сидели мы с ним, и он это говорил.

— Кому же могли понадобиться его кости? — поразился шериф, обозначив при этом еще одним выразительным взглядом, что, конечно, требуется некоторое дальнейшее подкрепление общего духа, дабы вникнуть, как следует, в непростую задачу.

Сторож повременил, пока хозяйка распорядится, а потом с новой охотой взялся рассказывать:

— Родных у него не было, это точно. Жили при нем два парнишки. Сыновья той самой, значит, мадам.

Прозвище ей было Марго. Жена она ему была или не жена — судили по-всякому.

От старости последовало:

— Гнусный развратник!

Шериф:

— При бабе жил?

Сторож предпочитал излагать факты:

— Она себя свободно от него держала и здесь почти что не жила. У него один работник был, Дерек...

— Полоумный? — оживился шериф, поскольку всех наличных местных жителей он должен был знать.

— Он самый. И он же у него за повара был. А ей, вишь, не по вкусу. Ведь из Парижа ее привезли. Она по-нашему и говорить-то плохо могла.

— Теперь-то она где?

Сторож только руками развел:

— С ребятишками она его оставила и в Нью-Йорк уехала. Потом его самого туда же забрали. А уж после я ее только на похоронах и повстречал. Тогда она, значит, одного из ребятишек у могилы поставила и говорит: «Никто, милый мой, тебя не забудет!»

— Милый?

— Ну, милый не милый, а говорит: «Век тебя все будут помнить!», и конец.

Связь вещей вызвала у сторожа новые воспоминания. Он еще раз обратился к табакерке, через некоторое время шумно чихнул и покрутил головой.

— Одного парнишку, который поменьше, звали, как его самого, — Том. Чудно! А па него совсем не смахивал. Не-ет!

— Не похож был?

— Ни в коем случае, — определенно отвечал сторож. — У мистера Пейна нос был — во! — ладонь вновь обозначила расстояние, достаточное для размеров головы, и даже, пожалуй, теперь еще побольше.

— Что же стало с этими молодыми людьми? — даже с некоторой официальностью спросил шериф.

В ответ сторож опять лишь пожал плечами.

— Слышал, будто один, который постарше, Бен, служит...

И сторож указал в сторону камина.

— В Вашингтоне? — уточнил шериф.

Сторож еще раз пожал плечами. Между тем он, надо отметить, не ошибался, сообщая когда-то слышанное: хотя не на Юге, а на Севере, не в Вашингтоне, а в Вест Пойнте, вверх по Гудзону миль на шестьдесят, находился генерал, да, генерал Бенджамин Бонвиль, имя которого останется не только в истории, но даже на карте Соединенных Штатов, когда-то названных так его... кем? О, это еще, конечно, предстоит выяснить.

Между тем сторож, вдохновляемый все новыми понюшками табаку и стаканчиком, пополняемым из темной бутылки, еще кое-что захотел припомнить:

— Да-а... мистер Пейн... По нем тут у нас стрельнули...

— Стреляли? — поразился шериф, проявляя видимое беспокойство, раз вокруг необычайного покойника и порохом может пахнуть. — По каким мотивам?

— А из ружья, — отвечал сторож, чихая.

— Кто же стрелял?

— Все Дерек-дурачок, кто же еще?

— Ограбить хотел?

Крис Дерек, как его звали, был у Пейна и за повара, и за садовника. А также стал его арендатором. Землю ему Пейн сдал, значит, в пользование.

— А ведь он дурной, — говорил сторож. — В хозяйстве-то разве смыслит?

Земля пустовала, дохода — ни цента. Хозяин предупреждал, что будет вынужден искать другого издольщика.

— Ему мистер Пейн говорит, — повествовал сторож, — ты, говорит, приходи ко мне, когда хошь: чего по дому сделаешь, я тебе за это заплачу. А с землей, говорит, ты никак не справишься. На землю надо нового человека искать. А ты ко мне приходи, говорит. Приходи! Он и пришел...

Сидел Пейн по своему обыкновению у окна. Грохнул выстрел. Пуля, пробив стекло, прошла у него, ей-богу, всего в два пальца над головой, ударившись в стену.

— Дырку в стекле и сейчас можешь посмотреть, — добавил сторож. — А мистер Пейн выскочил из дома и кричит: «Дерек! Дерек!» Ведь известно, кто стрелянул: кому же еще?

— Поймали? — деловито спросил шериф.

— А чего ловить? Всем известно! Дерек перед тем крепко пьянствовал и похвалялся: «Посчитаюсь с ним!» Ну и посчитался. Шериф, который прежде вашей милости у нас был, хотел тогда его связать да судить, а мистер Пейн опять же упросил. Не надо, говорит, у него понятия нет, что творил.

Сторож покачал головой по поводу собственного сообщения.

— Разве с таким народом по-человечески можно себя держать? Разве кто что понимает?

На этот раз воспоминания обратили сторожа против Пейна, которого до той поры он считал нужным защищать.

— Ка-аждому пра-ава предоставить! Всем делить поровну, — разгорячился сторож. — Это его же собственные слова. Так что же, меня, к примеру, с дурачком равнять? Вот он ему и предоставил! Землю загубил да еще пулей чуть было не угостил. Пойди вой, дырку хоть сейчас посмотри!

Чарити Бедон вдруг вздохнула и тоже припомнила:

— А мы у него яблоки таскали.

— Что же это вы, дорогая? — шутливо воскликнул шериф.

— Подучали нас, — ответила Чарити, — чтобы мы, стало быть, к нему — за яблоками... Да дело прошлое...

Но язык у хозяйки развязался, она улыбнулась, будто желая сообщить нечто особенно приятное для старосты.

— Кто нас тогда учил: «Посшибайте-ка у него яблоки»?

Староста замахал руками. Чарити засмеялась:

— Камней набрали и давай кидать. Яблоки так и посыпались! А мы ползком — и подбирать. Поймал он нас, — сообщила покрасневшая Чарити.

— Высыпал?

— Нет, — расплылась в улыбке Чарити. — Зачем же, говорит, вы такие зеленые яблоки берете? Идемте, я вам покажу, где красные и сладкие.

— И попробовали сладких яблочек? — все расспрашивал шериф, которого каждый вопрос отдалял от необходимости скакать куда-то в сырую погоду за похитителями Пейнова праха, которые ведь, если угостят, то уж не яблочками.

— Яблони отсюда видать, — сказала Чарити и поднялась с кресла.

Подходя к окну, она все еще широко улыбалась, и вдруг эта вызванная детскими воспоминаниями улыбка исказилась, и все то же выражение ужаса сковало ее лицо. Она вытянула руку, указывая — туда! Туда!

Трое тут же вскочили.

У разрытой могилы стоял человек.

Оседланная лошадь поодаль.

Незнакомец.

Длинный плащ. Высокие сапоги. Есть при нем оружие или нет, уж этого угадать было нельзя.

Трое разом опрокинули рюмки, шериф спросил хозяйку:

— Где ружье?

Безмолвное движение руки послужило ему ответом.

Старый мушкет, с какими ходили еще ополченцы времен Войны за Независимость, висел на стене неподалеку от камина. Может, с тех пор его и в руки никто не брал. Да и сам шериф, откровенно сказать, с огнестрельным оружием не каждый день упражнялся.

Староста вдруг сказал:

— Нельзя с оружием! Если вы возьмете мушкет, я вам не помощник.

Ох, эти квакеры («трясуны»)! Тихони! Так подумал шериф.

— Сами управимся!

Шериф со сторожем, торопясь, вышли.

Чарити закрыла лицо руками.

Староста смотрел на дорогу.

Фигура у разрытой могилы почти не двигалась. Незнакомец осматривал раскиданную землю и обломанный могильный камень.

Двое спустились с холма.

Незнакомец обернулся на топот ног.

Шериф наставил на него мушкет...

Как только шериф и сторож очутились с незнакомцем лицом к лицу, они услышали от него неведомое им слово:

— Chert!

Однако он не бросился в сторону и не сделал попытки извлечь какое-нибудь оборонительное оружие, а только развел руками, повторив все то же:

— Chert po-oberi!

— Откуда пришел? — выкрикнул шериф. — Чего надо?

Незнакомец попробовал улыбнуться и с очень сильным акцентом произнес:

— Я искать... могил... гражданин Пайнов...

— Ты кто такой? — допрашивал шериф.

— Рашен, — последовал ответ.

Кто? Сразу и не поймешь.

— Рашен, — повторил пришелец.

Русский?! Шаг назад сделал шериф, и даже мушкет опустил. О русских ему слышать приходилось, но в существование их он слабо верил, хотя и поговаривали, будто их по всей Америке тысяч десять наберется. Во время оно, говорят, *мактуша царика* не продала королю британскому своих солдат, а все же кто через плен, кто тайком попали за океан, вот и довелось одного своими глазами увидеть. Так, с виду ничего особенного. Нос и нос, толстоватый, курносый, можно сказать, и волосы как волосы, русые, с рыжиной. От американца, пожалуй, и не отличишь. Однако, во-первых, кто знает, что это за народ, какого нрава и какой веры, а кроме того, тут ведь такие дела пошли, что и своим глазам надо верить с осторожностью.

— Русский, говоришь? — сказал шериф. — А что же тебе за дело до... Чью, говоришь, могилу ищешь?

— Пайнова, — отвечал пришелец.

Шериф посмотрел на сторожа, а сторож — на шерифа.

— Нельзя понять, — сказал шериф, выразив не только их общее, но вроде бы всеобщее мировое мнение.

— Ты толком... толком объясни, кого тебе... надо, — посоветовал сторож.

— Па... Па... — начал старательно выговаривать странный пришелец, и на лице его выразилось некоторое раздражение, он стал тыкать пальцем то в сторону разбитого надгробья, то в сторону развороченной могилы.



— Ах, Пейн! — произнес шериф. — Том Пейн! Так бы и сказали сразу. Когда с людьми говорят человеческим языком, то они обычно понимают.

И, произнеся эти слова, шериф с достоинством огляделся вокруг, словно ожидая столь же всеобщего одобрения.

— Да, Том Пейн... Этот человек жил здесь... Среди нас.

После этих слов шериф хотел было пройтись взад и вперед, обдумывая свою мысль, но не смог сделать более двух-трех шагов, потому что земля была слишком неровной. И он снова взглянул на пришельца.

— Так что тебе за дело до...

Вопрошая, шериф перевел глаза на раскиданную землю и сам запнулся. Яма зияла пустотой. Сказать — «до могилы»? Какая это теперь могила! До покойника? Где покойник! И шериф, вновь всматриваясь в незнакомца, переспросил:

— А что тебе за дело до э... э... э... Пейна?

Незнакомец широко улыбнулся. Улыбка казалась одновременно удивленной и радостной. А ответ его был таков:

— Весь мир знает граждан Пайнов!

«Совратитель душ... пропойца... развратник... честолюбец», — одно за другим пробежали в сознании шерифа только что им слышанные слова. Он подумал и прощальной выстрел, и про яблочки. Он глянул невольно в опустевшую могилу. Как бы желая получить ответ на все сразу, опять спросил:

— Тебе-то до него что за дело?

Пришелец, разведя руками, воскликнул:

— Светоч человечества!

Шериф со сторожем в недоумении переглянулись и...

## ДВЕ ЖИЗНИ ПЕЙНА

### БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ

Не тревожься, уважаемый читатель! История нашего соотечественника, оказавшегося невольным свидетелем Пейновой эксгумации (извлечения праха), будет, конечно, рассказана до конца. При этом просим учесть: перед читателем два, связанных одним героем, повествования — в первом действует Томас Пейн и его выдающиеся современники, во втором Пейн и его эпоха — предмет воспоминаний. Одно повествование относится ко времени американской Войны за Независимость и Великой французской революции, другое разворачивается лет на двадцать позднее.

Сторож был прав: в Америку Пейн приехал из Англии, родом же он происходил из города Тетфорда в графстве Норфолк. Музея там нет, есть мемориальная библиотека и памятник, поставленный уже в нашем веке, но как бы по заказу Наполеона, а тот при встрече с Пейном будто бы так и сказал: «Вашу статую следует извлекать из чистого золота». Насколько Наполеон был искренен, настолько же, я думаю, и памятник золотой... Но в самом деле блесит. В том же памятнике есть еще нечто знаменательное. Пейн держит в руках «Век Разума», за который в самой Англии он был осужден, а во Франции — прославлен. Держит он книгу вверх ногами. Что этим хотели сказать? Вероятно, что книга оказалась соотечественниками Пейна так понята, словно они читали ее наоборот.

И почти прав был сторож, когда называл неудачную женитьбу как возможную причину эмиграции Пейна. Конечно, то была лишь одна из причин, побудившая уже тридцатисемилетнего человека, корсетных дел мастера по профессии, а по служебному положению акцизного чиновника, оставить свою страну и отправиться на поиски

новой жизни куда-то за океан. Но были и другие причины. А ехал он с рекомендательным письмом Франклина.

Не ошибался сторож и в том, что Пейн был одно время близок с Вашингтоном. «Здравый смысл» прославил его в Америке, и с началом революционной войны он стал постоянным публицистом при армии.

Сторож, разумеется, не знал и даже сам Пейн не мог сообщить ему всех причин, по которым он, автор «Здравого смысла» и «Кризисов» (так назывались его боевые листки), после победы американской революции оказался во Франции.

Очутившись опять в Старом Свете, Пейн словно бы выбирал между Францией и родной Англией. Но родина его отвергла, а революционная Франция в конце концов оказалась злой мачехой: в эпоху террора Пейн попал в заключение и уцелел совершенно случайно.

И снова Пейн поехал в Америку, где, как справедливо выразился сторож, его уже не признали, а десять лет спустя после смерти Томаса Пейна осенним утром 1819 года его одинокую могилу в Нью-Рошели под Нью-Йорком нашли развороченной и пустой.

Мог ли на том самом месте и в то самое время оказаться наш соотечественник? Почему бы и нет, ведь не зря же русскими населены «Письма американского фермера» (это относящееся к той же эпохе сочинение Сент-Джона де Кревекера, вы можете найти его в первом томе нашей «Библиотеки литературы США»).

Два наших повествования есть и два путешествия, совершаемые по одному и тому же пути, но в противоположных направлениях. Путь лежит через Атлантику, в одном случае — из Европы в Америку, в другом — из Америки в Европу, точнее, в Англию. В первом случае это сам Пейн возвращается в Соединенные Штаты, о втором мы еще скажем.

А сейчас наш рассказ пойдет о последних годах пребывания Пейна во Франции...

**ВИЗИТ НАПОЛЕОНА,  
ИЛИ  
ЖЕЛЕЗНЫЙ МОСТ  
эпизод из прошлого**

У порога стоял Бонапарт.

Маргарита де Бонвиль узнала его, как только отворила дверь. Уже года три имя прежде неизвестного офицера было у всех на устах. Он вышвырнул из Тулона англичан, защитил от роялистов Париж, в Альпах сломил австрийцев, и все говорили: «Если двинет к нам полки Соуварофф, то у нас есть Наполеон». А кто уймет окончательно злейшего супостата Французской Республики, изверга, вепря, тирана — британского короля? Общий глас тем более был: «Бонапарт, военная сила Революции».

Ах, как поднял он знамя на Аркольском мосту и увлек за собой солдат! О, как перед Конвентом р-разогнал мятежников, пытавшихся вернуть прежние порядки!

Маргарита де Бонвиль любила великих людей. Она умела их распознавать и почитать. И вот перед нею легендарный генерал. В точности такой, как говорит о нем весь Париж. Худощавый, молодой, с прядью волос, спадавшей на большой бледно-желтоватый лоб, в потертом, похожем на пальто, сером сюртуке. И глаза, глаза! — Могу я видеть гражданина Пейна, сударыня?

И голос, голос, которому подчинился и Тулон, и Конвент!

Волны, какие-то волны, казалось, несли Маргариту в необъятном пространстве. Ведь это же вечность! Сама вечность берет ее к себе на крыло.

— О да, генерал, — отвечала хозяйка дома, к порогу которого ради ее квартиранта пришел стратег республиканской армии.

Посетителей у них бывало много. Особенно теперь, когда остановилась гильотина и Томас Пейн, девять месяцев и девять дней дожидавшийся своей очереди «чихнуть» в мешок, который перед казнью надевали осужденным на голову, вышел из тюрьмы невредим. Постарел, поседел, обострилась язва, но все же — невредим.

Посетителей заглядывало порядочно, их приходилось просеивать, как выражалась сама хозяйка, хотя Пейн ворчал на это, провозглашая, что его двери по-прежнему, как в расцвет Революции, должны быть открыты для всех.

Для всех?!

Маргарита де Бонвиль была искренней сторонницей Равенства (иначе разве она взяла бы квартирантом автора «Прав Человека?»), но... В прежние времена Пейн жил один, и у него, кроме рукописей, которые могли интересовать только Комитет общественного спасения, взять было нечего. Затем, должны же быть границы и различия. Ведь если пускать к себе каждого фанатика, то о человечестве думать будет некогда. Нелишне быть осторожным даже с теми, кто объявляет себя сыном или дочерью Свободы: во что полная доступность обошлась несчастному Марату?

Однако сейчас, конечно, не могло быть ни малейших колебаний. Даже среди именитых визитеров, виданных мадам де Бонвиль у того же порога, гость был совершенно особый.

— Прощу вас, генерал, — вымолвила Маргарита.

Колебаний у нее не было, но было смятение. Постоялец жил у них по-домашнему, словно член семьи. Муж Маргариты Никола, являясь верным пейнистом (как тогда говорили) и владея типографией, рад был разнести по свету каждое слово своего божества, если бы не запрещали, но уж это не от семейства Бонвилей зависело: у себя в доме они предоставили постояльцу полную свободу. За-

душевными друзьями неутомимого борца, никогда не имевшего своих детей, сделались их подраставшие ребята, а новорожденного так и называли — Том-Пейн. Из трех комнат одну полностью предоставили гостю, и он натащил туда книг, бумаг и еще каких-то диковинных железок. А нюхательный табак, рассыпанный где попало, и сам весь в табаке?! Засаленный халат! Воздух, который не позволяли освежить целую неделю, и, сверх всего, не дай бог, и первая, и вторая, и... третья рюмка уже опустошена. До чего могут мелочи испортить историческую минуту!

В том, что это была историческая минута, не могло быть ни малейших сомнений. Пороховой дым побед еще, вероятно, не выветрился из серого сюртука; обожженный альпийским солнцем, овеваемый растущей славой генерал докладывал Директории о своем итальянском триумфе каких-нибудь день-два назад, и вот он здесь, у порога! Кого же он хотел увидеть? Недавнего узника, о котором вовсе избегали вспоминать и говорить.

Все это, как вихрь, пронеслось в голове Маргариты де Бонвиль, пока она, не спуская глаз с Наполеона Бонапарта, соображала, в каком же виде сейчас предстанет перед ним Томас Пейн.

Ах, великие люди! Дети, если за ними не присматривать. И поистине, как с детьми, с ними подчас невозможно сладить. Знает ли сейчас Пейн, еще недавно ожидавший со дня на день своей последней минуты, что для него, быть может, начинается новый отсчет времени?

Нет, понятно, теперь вообще уже не то: «бритва общественного пользования», как называли гильотину, замедлила свой ход, вновь зазвенели деньги, вытеснив ничего не стоившие бумажки, даже пробовали опять звонить в колокола, сменились читательские вкусы, и если в канун Революции настольной книгой служила «Исповедь»

Руссо, то ныне общим увлечением стали чересчур рискованные признания маркиза де Сада. Появились продукты и чистая публика, и даже слишком много чистой публики...

Суворова-то иные, похоже, вовсе не опасались, а, напротив, ожидали, чтобы пришел да з-задушил гидру пррроклтую, чудище многоглавое — чернь, но сплеховал Старичок, не угодил своему императору (где уж чужого спасать?), а вскорости и помер. Кто бы порядок навел?

Порядок, порядок... Все, без исключения, хотели порядка. А с чего начинать?

Сколько прежних и новых, откуда ни возмись явившихся претендентов осаждают шаткое правительство в поисках прибыльных должностей и влиятельных чинов! А сколько статуй, картин и прочих сокровищ вернул прежним их владельцам Национальный институт, некогда сменивший Королевскую академию и изъясший эти ценности на пользу народного образования!

Кое-кто в самом деле поговаривал, что и короля надо бы вернуть. Того, который обезглавлен на площади Революции (бывшей Людовика), уж, положим, не вернешь. Так не подыскать ли нового? О том, что конфискованные состояния или имущества отдать обратно, кричали, не стесняясь, на всех углах, и, кто знает, может быть, докричались бы до желаемого результата, если бы не перекрикивали их другие голоса, вроде того приказчика, который сокрушался, будто у него отобрали магазин, хотя никто не помнил, чтобы у него был магазин: всегда его видели служащим на побегушках, потом слышали, что он, кажется, донес на хозяина, и хозяина свезли на Гревскую площадь (где «чихали» в мешок преступники попроще), а этот выползень теперь требует: «Верните мою священную собственность!» До чего же коротка человеческая память!

«Громче всех кричит сейчас тот, кто совсем не пострадал», — говорил Пейн в своем очередном памфлете, и эти его слова удалось напечатать, но множество других его статей, излагавших наилучшую политику (о, какую политику!), нечего было и думать нести в типографию.

Да, люди заглядывали в дом Бонвилей, но зачем? Поглазеть на чудом уцелевшую революционную реликвию. Пепел седины, осыпавший за время заключения голову Пейна, был, конечно, почетен, однако выглядел ордером на отставку.

Правда, поначалу, едва Пейн вышел на волю, поэт Шенье, брат казненного, приветствовал его в стихах, сам Барер, глава уже упраздненного Комитета общественного спасения, единственный из его членов (чудом) оставшийся в живых, извинился перед Пейном: инициатор террора, «поэт гильотины», как его называли, он подписывал ордер на Пейнов арест, а ныне признал, что никаких преступлений за Пейном не числилось, и в порядке символического вознаграждения ветерана опять пригласили в Конвент. Но что это был за Конвент, если десятки прежних депутатов, созаседателей Пейна, попали под «бритву общего пользования», или, иначе говоря, ушли на свидание с Сансоном («Сей человек, в течение сорока лет кровавой жизни своей присутствовавший при последних содроганиях стольких жертв, и славных и неизвестных, и священных и ненавистных» — так о парижском митральере, палаче, писал Пушкин).

Пейн утверждал, что тоже встречался с Сансоном. Но — ха-ха! — в другом смысле, оттенки которого трудно переоценить. «Я знал Сансона», — говорил Пейн.

Кого только он не знал и с кем только не встречался! Знал королевский двор и Парламент, Конгресс и Конвент... А теперь и Конвента вроде нет. Все какие-то



другие советы, и другие комитеты, и другие собрания. А Пейн?

Французское министерство иностранных дел запрашивало о нем американского посланника, американский посланник запрашивало французское министерство, и выходило, что Пейн — ничей, хотя и почетный гражданин двух стран, Соединенных Штатов и Французской Республики, но никому не нужен, и только англичане, лишив Пейна официального гражданства, все же готовы были заполучить его в любое время, ведь британское правительство заочно приговорило автора «Прав человека» к смертной казни много раньше того, как это собрался сделать парижский Комитет.

Пусть же посмотрят теперь, кому Пейн оказался нужен в первую очередь! Разве генерал-герой, перед которым одна за другой склонялись армии, явился бы сюда из мелкого любопытства?

Пусть посмотрят... Но человек в сером сюртуке, сумевший железной рукой сокрушить внутренних и внешних врагов Республики, он, пришедший сюда как бы против общего потока, что он увидит сейчас? Повернется и уйдет, как другие, при виде обсыпанного табакom пьяненького говоруна? А ведь это, если отбросить досадные случайности, встреча великой воли с великой мыслью.

Чувствуя обращенными на себя взоры вечности, Маргарита де Бонвиль собралась с духом. Слишком многое, великое и малое, зависело от такого свидания — и сам Пейн, и ее семья: муж, отлучившийся, как всегда, в типографию, на которую наложили новый запрет, двое сыновей, которым нужно определять судьбу, и младенец.

— Входите, генерал, — повторила она. — Позвольте лишь предупредить господина... гражданина Пейна.

Убежденная республиканка, она все же ошибалась в этих новых словах, как до сих пор не могла привык-

нуть к революционному календарю. Вот пришел великий человек повидать другого великого человека, но сразу и не сообразишь, чтобы запомнить, когда же это происходит. Год, положим, пятый, считая от основания Республики. Месяц вроде... н-нивоз, пора морозов и снегов, а день и не спрашивай: ведь неделя упразднена.

Вместе с мужем и Пейном Маргарита разделяла важнейшие идеи всеобщего обновления, но в чем-то оставалась консервативной и никак не могла себя перебороть. Хотя бы насчет приставки *де*, которую — ей намекали — давно бы надо отбросить. Как же, отбрось, когда кругом появились людишки не то что с *де*, а с целыми титулами, неизвестно откуда взятыми: забудь хоть какой-то знак сословного достоинства — и затрут, совсем затрут.

— Прошу вас,— еще раз произнесла хозяйка, обращаясь к необычному посетителю.

Бонапарт переступил порог. А Маргарита поспешила в глубину дома, не зная, право, что ее там ожидает. Если беспорядок у Пейна невыносимый, можно их обоих, постояльца и гостя, провести на свою половину, можно быстро смахнуть табак и тут же сменить халат (который потом, даст бог, удастся наконец постирать, непременно постирать). Все, в конце концов, можно на скорую руку устроить, но если он уже успел...

О, великие люди! Им подвластен так жизни: появившись в комнате, которую занимал знаменитый квартирант, хозяйка поражена была ничуть не меньше, чем когда минуту назад отворила дверь своего дома и очутилась лицом к лицу с прославленным посетителем. Никакого табака, ничего не разбросано и... не видно рюмки с бутылкой.

В чистом кафтане на фоне окна стоял высокий старик. Седина серебрилась в его каштановых волосах.

— А... к вам,— проговорила Маргарита в растерянности,— пришел генерал Бонапарт.

Изморженное, морщинистое (бритое!) лицо старика ничуть не изменилось, будто встреча была давно назначена.

Пейн сказал:

— Прошу.

Тут еще один тягостный вопрос возник перед госпожой де Бонвиль. Наполеон пришел к Пейну один, без свиты, пришел, как видно, говорить с глазу на глаз, душа с душой. Так что же, представить двух великих друг другу и удалиться? А вечность? Вечность, если она проходит так близко от тебя!

Маргарита старалась не пропустить каждое из мгновений, пока не придется ей уйти.

— Приветствую автора «Прав Человека»! — таковы были слова Наполеона, когда он вошел в комнату...



«Права Человека», свое второе знаменитейшее произведение, Пейн написал, отвечая Берку. Пейн знал Эдмунда Берка, ирландца по национальности, юриста по образованию, философа по натуре, по положению — члена британского Парламента и публициста, причем платного, по роду занятий. Платного в прямом смысле: определенные политические воззрения Берк выражал по заданию и за деньги определенной политической группировки.

Берк был одним из тех умных консерваторов, которые умеют доказать, что зло есть благо, поскольку сами они находятся вне опасности от этого зла и даже, напротив, имеют от него известную выгоду. Так, Берк доказывал, что не нужны одинаковые для всех права,

ибо неравенство, сословность, привилегии помогают сохранять общественное равновесие, без которого воцарится хаос, а хуже хаоса ничего быть не может, не говоря уже о том, что все — от Бога.

Пейна искренне изумили «Размышления» Берка. Давно ли они с ним сочувственно и согласно обсуждали планы самых решительных преобразований? Это было в ту пору всеобщего революционного подъема, когда просвещенное человечество выступало, кажется, заодно в протесте против пережитков всякой феодальной косности. Откровенно говоря, Пейн надеялся, что уж если не он сам (он находился тогда во Франции), то Берк возглавит революцию в Англии. Вместо этого его прежний собеседник и вроде бы единомышленник (разве Берк не поддерживал идею отделения американских колоний?) вдруг оказался глашатаем контрреволюции.

В сущности, Берк защищал свое право на пенсию, на ту пенсию, которую он получал как член Парламента и журналист. Этого ему как раз хватало, а некие реформы выбили бы из-под него, как говорится, стул, и он, при всем своем уме, не смог бы представить, чем тогда жить. Поэтому Берк живописал ужасы Французской революции, противопоставляя ей революцию Английскую, которая (при некоторых эксцессах) все-таки благоразумно завершилась компромиссом между старыми и новыми порядками, и все, кто был того достоин, осталось, что называется, при своем интересе.

Отвечая Берку, Пейн показал, как тот фальсифицирует текущие события во Франции, а также те столетней давности события в Англии, из которых вовсе не следовало, будто англичане и в самом деле не хотели оставаться без короля и вроде по доброй воле единодушно отказались от республики. Но главное, Пейн развернул свою основную мысль, высказанную им еще в «Здравом смысле»: не народ для правительства, а прави-

тельство для народа, поэтому люди имеют право на установление таких порядков, каковые, с точки зрения обыкновенных людей, представляются справедливыми и достойными.

Если «Размышления» Берка сводились к предостережению: не дай бог, если в Англии повторится то, что там уже происходило однажды в семнадцатом веке, или же произойдет то, что творится сейчас во Франции, то Пейновы «Права Человека» утверждали необходимость и неизбежность революции и демократии. Соответственно, во Франции книгу превознесли, а в Англии осудили. Осудили буквально — судом присяжных, четыре часа говорил адвокат, но вердикт был — «Виновен!» А поскольку Пейн находился тогда во Франции, на скамье подсудимых оказался издатель, даже два издателя. Пейн подвергся символичной, заочной казни: по городам сжигали его чучела. Конечно, если бы автор «Прав Человека» оказался тогда в Англии, то ему бы угрожал не огонь, ему угрожала бы виселица. К счастью, ему встретился Блейк...

Да, Уильям Блейк, великий, но еще не признанный поэт и выдающийся художник, опередивший свое время, — Пейн его знал. Свои опережающе-провидческие способности поэт-художник, судя по всему, проявил и при встрече с Пейном, потому что Пейн тут же бросился в свое обиталище, к другу, собрал пожитки и пустился прочь из Лондона по Дуврской дороге. Чуть ли не через полчаса после того, как он покинул гостеприимный кров (будущего своего биографа), в ту же самую дверь постучались судебные приставы: «Где Томас Пейн?» А Дуврская дорога, на которой привыкли мы видеть точно так же торопящимися диккенсовских персонажей, ведет, само собой, в Дувр, к тем белым скалам, с одной из которых пытался броситься вниз головой несчастный слепец король Лир, — иначе говоря,

в порт, к морю. С первым же попутным судном Пейн, быстро пройдя таможенные формальности, отбыл во Францию. И чуть ли не через полчаса дуврская таможня получила от властей предписание не пропускать ни под каким видом, ежели он объявится, некоего Томаса Пейна. Тогда в отместку за то, что он ушел от погони, суда и виселицы, Пейна заочно осудили, «сожгли», а также лишили его, почетного гражданина Америки, гражданства английского.

\* \*  
\*

...Итак, Наполеон приветствовал автора «Прав Человека».

— Salut et fraternité! — последовал (с акцентом) ответ Пейна. — Привет и братство!

— Вашу книгу, — тут же сказал Наполеон доверительно, — я храню у себя под подушкой.

— Pardon? — как бы не расслышав, наклонил седую голову Пейн. — Простите?

И Наполеон в свою очередь взглянул на собеседника в некотором недоумении.

О, счастье! Обыкновенным смертным тоже выпадает порой своя удача: без переводчика двое великих не могли общаться друг с другом.

— Генерал говорит, что высоко ценит «Права Человека», — быстро произнесла Маргарита, впрочем, забыв, как по-английски cousin — подушка.

В родном языке своего постояльца она не была сильна. Как большинство ее соотечественников, Маргарита являлась патриоткой: Париж — столица мира, а французский — язык человечества. Что же учить чужие языки, если от светских мод до литературного стиля все диктует Париж, Париж... Ветер революции повеял из

Америки? Да, за океаном в чем-то опередили французов, но и они возвестили на весь свет свою истину: Liberté! Egalité! Fraternité! (Свобода! Равенство! Братство!)

Так уж, ради домашнего обихода, госпожа де Бонвиль подхватила у своего постояльца одну за другой фразы и научилась болтать по-английски, однако этого более чем достаточно, и теперь ее присутствие при историческом разговоре будет просто необходимо, благо победитель англичан не знает английского \*, а почетный гражданин Французской Республики почти не говорит по-французски.

Удивительно, однако, за все годы — не привык, не выучился. Скольких хлопот ему это незнание стоило! И его личная судьба, и ход самой истории подчас зависели от французских выражений, которых Пейн не мог выговорить. Первая же толпа, едва он приехал в Париж, потащила его на фонарь, приняв за аристократа, врага Республики, потому что он еще не успел надеть трехцветной кокарды. Пейн стал выкрикивать что-то по-английски, тогда патриоты решили, что это шпион, и потащили его еще решительнее. Проходивший, к счастью, знакомый Тома Пейна вступился и разъяснил собравшимся, что это вовсе не враг, а почетный гражданин, за избрание которого в национальный Конвент боролись четыре округа сразу. Тогда толчки и подзатыльники сменились объятиями, и те же руки подхватили пленника, с торжеством подняв его вверх: «Vive la France! Vive la Liberté! Vive Citoyen Пуайян!»

И в Конвенте сколько раз яростно кричал Марат: «Перевод неправилен!» Ибо Пейн в дебатах обычно безмолвствовал, а мнение его зачитывали в переводе

---

\* Впоследствии, много лет спустя, лишь невольный досуг на острове Святой Елены побудил Наполеона учить этот язык.

другие. Марат тоже, как и Пейн, пришелец, родом из Швейцарии, некоторое время жил в Англии, и они могли бы объясниться, но разве в шуме Конвента разберешь...

Впрочем, незнание языка, как всякое неведение, Пейну и помогало. При его *арестовании*, например, как он выразился, соорудив самодельное слово, которого нет ни в одном словаре. Пришедшие тогда за ним хотели начать, как положено, с обыска, однако ничего не могли толковать почетному гражданину, и пока искали толмача, Пейн успел позаботиться о своих рукописях, поэтому «Век Разума» увидел свет.

За ним пришли люди, видать, очень уж простодушные, ибо с появлением переводчика, когда общая беседа оживилась, Пейн предложил им всем пообедать, и предложение было принято. Они отправились в соседний трактир, а уж после обеда и вовсе не нашли у него ничего предосудительного. Пейн им сам же поведал, что у него имеются бумаги, припрятанные у друга. Пошли к другу, что было не близко и, стало быть, требовало в пути отдыха и подкрепления. Все вместе, стража и узник, обошли тогда пол-Парижа: стража следовала указаниям арестованного, а Пейн все искал Барлоу, своего друга Барлоу, американца, поэта и коммерсанта (замерзшего потом с наполеоновскими войсками при отступлении их из России).

Пейн доверял другу полностью. Ему-то и вручил он заветную рукопись, после чего вздохнул с облегчением, сказав своим стражникам, что теперь, пожалуй, пора отправляться в тюрьму. Начальник конвоя, заметно утомившийся, был того же мнения, однако у них еще оставалась невыполненной другая задача — забрать и Клоотса, Глашатая Человечества. «В Конвент были избраны только двое иностранцев, Анахарсис Клоотс и я, — впоследствии писал Пейн, — нас избрали одновременно,



арестовали по одному и тому же ордеру и препроводили в тюрьму в один и тот же вечер». Эта цепь соответствий оказалась нарушена лишь в конечном звене. «Клоотса отправили на гильотину, а я все же уцелел», — добавлял Пейн. К этому, впрочем, надо добавить и расхождение во взглядах. Клоотс, называвший себя Глашатаем Человечества и личным врагом Господа Бога, был еще радикальнее, революционнее Здравого Смысла, Пейна. На пути в одну и ту же тюрьму они непрерывно спорили, расходясь по вопросу о методах революционной борьбы, которые Глашатай Человечества и враг Господа находил недостаточно решительными.

Клоотс, кажется, и ареста собственного не заметил. Когда в дверь его постучали, он, отворив дверь, тут же обратил внимание на идейного оппонента и нетерпеливо ждал, когда же окончатся все формальности, обыск и прочее, чтобы, уже находясь под стражей и как бы вне всяких помех, вступить в политическую полемику. Кто-то из стражников самым благодушным тоном, как следствие хорошего обеда, мурлыкал себе под нос «Марсельезу», и когда он тянул припев «К ору-у-жию, друзья»... получалось неплохое соответствие с дебатами на тему о том, праведна ли кровь врагов.

Клоотс был родом из Австрии, он являлся одним из тех энтузиастов, которые, подобно зарубежным волонтерам американской революционной армии, сражались теперь за Французскую революцию. А кто такой, в конце концов, сам Бонапарт, как не иностранец, попавший на службу Французской революции? Или Пейн?

— Граждане, мы у цели! — возгласил начальник конвоя, прерывая принципиальный спор друзей, и на пороге Люксембургского дворца, обращенного в темницу, арестованные расстались с начальником совсем душевно.

И Маргарите де Бонвиль оказалась обеспечена историческая роль. Пусть не сумела она перевести «подуш-

ку», и поэтому фраза, произнесенная уж конечно на века, оказалась сглажена, зато в качестве заочного утешения Маргарите можно сообщить: если бы спросили Жозефину де Богарне, спутницу жизни Наполеона, то она бы очень удивилась: под подушкой великого полководца, мужчины слабого, ей не приходилось находить ничего, кроме ш... Как бы там ни было, разговор продолжался.

Обращаясь к Томасу Пейну, Наполеон Бонапарт произнес:

— Мне нужна ваша поддержка.

Чувствуя вес этих слов, Маргарита на этот раз не пропустила ни одного из них. А сама уже видела мысленно своего постоянного во главе новых комитетов, и новых советов, и новых собраний; она видела мужа, своего Никола, выпускающим все новые газеты, которых уж никто не смеет задерживать, и слова Пейна беспрепятственно разносятся из края в край; видела своих мальчиков, встающих один за другим в ряды новой гвардии (старшему Бенджамену скоро надо будет думать об этом); она видела и себя, как бы со стороны и в будущем, приветствующей окончательное торжество Свободы. А пока, передав от слова и до слова сказанное Бонапартом, она вопросительно взглянула на Пейна.

В глазах старика возникло выражение восторга и тревоги, вроде пламени, готового и разгореться и угаснуть. Ведь все уже он видел! Почет и преследование, причем от одних и тех же людей.

Когда началась Французская революция, то ему (кому же еще?) вручили ключи от уничтоженной до основания Бастилии — для передачи самому Вашингтону, и его же, как только Революция пошла на убыль и обратилась против самой себя, упрятали в темницу, наскоро переделанную из Люксембургского дворца (поскольку Бастилии уже не было).

И подобные речи приходилось ему слышать. Ряд правительств обращались к нему с тем же, за советом и помощью, а ныне ни одно не спешит его признавать.

«Слова Пейна бьют сильнее пушек!» — Вашингтон провозгласил, когда у него на всех фронтах было плохо. Так что же, укрепившись во главе страны, не произнес он хотя бы слово, чтобы вызволить старого соратника из заточения? В Лондоне союза с Пейном искали лидеры оппозиции, но когда эти оппозиционеры стали членами правительства, они тут же издали указ о его «подстрекательстве».

Вот еще один, овеянный славой и облеченный властью. Щупловатый, низкорослый, невзрачный и, конечно, молодой... «Рай для молодых», как в «Оде Французской революции» писал Вордсворт, тогда еще не изверившийся в прогрессе. А перед этим бледным заморышем отступили и англичане, и австрийцы, и эта новая сила в свою очередь явилась к нему за поддержкой — ради чего?

Пейн выпрямился и ответил:

— Я остаюсь солдатом Мировой Революции, генерал...

*Мировая Революция* произнес он с особенной отчетливостью, взвешивая слова, собственные слова. Это он некогда произнес их впервые так же, как раньше других выговорил *Век Разума* или *Соединенные Штаты*... «За Мировую Революцию!» — сказал он, поднимая бокал, третий за тот вечер, когда собрались они «Под соломенной крышей» — в лондонской таверне, в очередную годовщину Английской революции, спустя пятнадцать лет после свершения революции Американской и через два года после начала революции Французской. Слов Пейна никто не записывал, но, поскольку это происходило между появлением первой и второй части «Прав Человека», мы найдем во второй части эпохального трактата выражение тех же чувств. Вот они:

«Я убежден, что монархии и аристократия не продержатся больше семи лет во всех просвещенных странах Европы... Судя по тому, как быстро совершается прогресс в Америке, разумно заключить, что если правительства Азии, Африки и Европы вступили бы на тот же путь и не подвергались бы ранее разложению, то их страны находились бы сейчас на гораздо более высокой ступени развития... Раз уж революции начались (а начинать труднее, чем продолжать), то естественно ожидать, что революции так и будут шириться. Немыслимые и все растущие расходы старых правительств, бесчисленные войны, которые они ведут и провоцируют, преграды, которые они воздвигают на пути всеобщей цивилизации и торговли, гнет и попрание прав, которые они устанавливают в своих странах, истощили терпение и исчерпали ресурсы мира. В такой ситуации, все усугубляющейся, следует ожидать революций. О них говорит весь мир, они, можно считать, встали на повестку дня... Для Англии, как и для всех стран Европы, революции в Америке и во Франции создали благоприятнейшую обстановку. Первая из упомянутых революций ознаменовала торжество Свободы в Новом Свете, вторая — в Старом. Если и другие народы последуют за Францией, тогда деспотизм и несправие едва ли посмеют поднять голову. Пользуясь избитым выражением, можно сказать: металл накален по всей Европе. Униженные немцы и порабощенные испанцы, русские и поляки начинают мыслить. Наш век так и будет называться Веком Разума, а нынешнее поколение получит в будущем имя Людей нового мира».

Был при этом Пристли, великий химик и поборник прав, был выдающийся физик и глашатай вольномыслия доктор Прайс, был Годвин, писатель, мыслитель, автор «Политической Справедливости», был Горн Тук, публицист, вожак рабочих. «Ура!» — бокалами, кулаками и

каблуками простучали собравшиеся, сотрясая вековые дубовые балки под потолком и даже, кажется, соломенную крышу, которой было не меньше как лет триста. Пейн еще тогда сделал для всех свой любимый салат: мясо, яйца, зелень и лук, понятно, с маслом. Сальмагунди! Даже хозяину таверны понравилось: попросил их заглядывать почаще. Потом, правда, времена переменялись, и тот же хозяин, слышавший про законы о подстрекателях, сказал им, чтобы больше не приходили...

— Солдат Революции, — сделав паузу в разговоре с Наполеоном, продолжил Пейн, — я верю, что всюду взовется знамя Свободы и Справедливости. А кто предан тому же делу, тот найдет во мне друга.

Маргарита попросила еще раз повторить все то же самое, иногда останавливаясь, иначе ей трудно сообщить все в точности собеседнику. Пейн повторял — мадам де Бонвиль переводила. Пейн вставлял и новые слова в свою речь, но смысл оставался неизменным:

— Революция... Свобода... Америка... Франция... Англия... даже Россия... Весь мир... Счастье Человечества!

Ведь итальянцы во имя своей Свободы поддержали Наполеона, когда он пришел в их страну. Почему не повторить то же самое, например, в Ирландии? «Мы движем дело Свободы дальше!» — Пейн думал обратиться к новому полководцу. Но пусть воин выскажется первым.

Фигурка в сером сюртуке не двигалась. А как только слова Пейна отзвучали, Наполеон улыбнулся своей особой улыбкой, освещающей его обычно хмурое лицо и никогда не переходившей в смех. Улыбался, не смеясь. Наполеоновская улыбка могла выражать все сразу — иронию и одобрение. Люди же, видевшие Бонапарта впервые, скорее всего, думали, будто он их от души приветствует.

— Меня интересуют, — произнес наконец Наполеон, — ваши изобретения.

Такими словами в сердце Пейна должна была оказаться затронутой сокровенная струна. Хотя брошюру «Здравый смысл» американцы выучили наизусть, а французы избрали автора «Прав Человека» почетным гражданином и название книги «Век Разума» сделалось символом эпохи, все же технические проекты Пейна до сих пор оставались лишь в чертежах и мечтах (помимо бездымной свечи, которую он изобрел, живя еще в Филадельфии). Между тем Пейн, потомок ремесленника, считал себя прежде всего механиком. Законченного образования у него не было, зато самоучкой он многое постиг и освоил. Даже Фултон, которого единодушно называли техническим гением, видел в Пейне чуть ли не соперника.

Пейн готов был показать гостю свои модели: все это ютилось и громоздилось прямо здесь, в комнате, придавая его жилищу вид какого-то скобяного склада. Но разве не следует прежде обсудить ход Революции?

— Я неравнодушен к науке, — проговорил Наполеон, оправдывая свой неожиданный интерес: как и Пейн, он тоже увлекался астрономией и математикой, ему довелось слушать лекции Лапласа...

— Ах, Лаплас, — тут же отозвался Пейн, — он рассматривал мой проект моста.

...Кое-что из написанного генералом Бонапартом читал сам Рейналь.

— Да, Рейналь, — вновь воскликнул Пейн при имени еще одного прославленного французского ученого, — лично не встречался, но в печати обменивался мнениями... Спорил!

— Вот видите, — заметил генерал, имея в виду общую почву.

Ну что же, Пейн достал железную конструкцию, о которую Маргарита, подметая комнату, обычно обрывала юбки.

Мост. Одна дуга, без опор. Новизну его инженерной идеи удостоверял Франклин, многообъемлющий ум, разгадавший, среди прочего, природу грома и молнии. Но у американцев (после Войны за Независимость) не было средств осуществить подобное сооружение, поэтому заокеанский мудрец рекомендовал изобретение Пейна Академии в Париже, а Французская академия наук признала значительность замысла, и мост чуть было не начали строить, но — пала Бастилия, и тут стало не до строительства.

Пейн обратился к своим соотечественникам, англичанам, а они, фарисеи, познакомившись с его проектом, сделали вид, будто все это им самим давно известно. Незадачливый изобретатель выпустил «Права Человека», и начались преследования. Если бы не полубезумный гений-поэт Блейк, шепнувший ему вовремя «Беги!», то Пейн, объявленный в Англии преступным бунтовщиком, не добрался бы до Парижа.

За те же «Права Человека» французы сделали его почетным гражданином и собирались поставить ему при жизни памятник в ряду других светочей Свободы. Были выбраны: Руссо, Шиллер и, кажется, еще некто Радищев. Но плыть дальше, в Америку, чтобы доставить туда, как эстафету, ключи от Бастилии, оказалось невозможно. Путь был просто отрезан: английские пираты при попустительстве собственных властей перехватывали в открытом море любые корабли, под каким угодно флагом. А за поимку Пейна предлагалась крупная сумма, и морские стервятники не упустили бы удачи.

— Они и сейчас бесчинствуют, как им угодно, — сверкнул глазами Бонапарт, и тут он высказался: — Мы должны раздавить могущество Англии! Вы мне поможете?

— Грустно думать, — отозвался Пейн, — что придется вступать в борьбу со своей родиной.

Еще более грустной была, конечно, мысль о том, чего Пейн не решался высказать. Не потому, что боялся говорить о чем-либо вслух. Страха перед словами он не испытывал. Ему трудно было уяснить собственную мысль. Чем чаще вспоминал он родную землю, тем все дальше и дальше уходила она от него, как сказочный край. Всякий соотечественник, которого ему случалось повстречать во Франции или за океаном, оказывался чужим для него и только раздражал: не то, совсем не то ожидал он увидеть, услышать, почувствовать при встрече с чем-либо родным, своим, неотъемлемым. И ему с некоторых пор вдруг стало казаться, будто он один сохраняет представление о родине, какой она должна быть. Странная мысль! Однако та же мысль еще больше укрепилась в его сознании после того, как он вышел из Люксембурга, и ему показалось, будто и французы... французы не те, что они потеряли представление о самих себе, а вот у него сохранилось понятие об истинных французах. Что же касается американцев, то они усвоили, как бы усыновили его и, в сущности, отторгли. А если люди переменялись непоправимо, настолько, что у него с ними нет единой меры для важнейших вещей, тогда о чем еще хлопотать? Ради чего продолжать борьбу?

Чтобы отогнать эту мысль, Пейн повторил:

— Грустно без своего клочка земли, даже если чувствуешь себя гражданином мира.

— Я тоже изгнанник,— поддержал его чувства Наполеон, имея в виду, что ему некогда пришлось покинуть свой родной остров Корсику.

— Знаете,— улыбнулся Пейн,— коня иногда своего вспоминаю... Бутона... Как-то пасется он там, на лужайках Нью-Джерси?

В ответ на это признание генерал, не особенно любивший лошадей (неважно ездивший верхом), не улыбнулся



и, давая понять, что тема ностальгии исчерпана, продолжил:  
— Вы изобрели изумительный мост, а что вы скажете о канонерских лодках?

Однако слова об изгнании затронули душу Пейна столь глубоко, что его мысли невольно отклонились от предмета, который сам по себе был для него интересен. О канонерских лодках они давно говорили с Фултоном, и Пейн даже вычислил, сколько потребуется небольших судов (с пушками), чтобы внезапным нападением ошеломить его консервативных соотечественников. Но сейчас, с таким собеседником, как не поделиться прежде всего обуревавшими его политическими чувствами.

Едва, спасаясь от преследований, он пересек пролив, граждане Кале, опередив другие округа, выдвинули его в Конвент. Пусть толпа чуть было не растерзала его, но это, в конце концов, лишь недоразумение, которое даже приятно вспомнить. Ведь те же простодушные патриоты его и вознесли, лишь только узнали, что он — за Республику. А Пейн был готов служить новой республике, счастлив был отдать весь свой опыт, добытый на другом континенте. Если в Англии его идеи и знания пока не нужны, он использует их во Франции, следуя примеру Америки и уже сбросившей его деспотизма. Так из-под полосато-звездного знамени \* Пейн перешел под знамя трехцветное, погрузившись в законодательную работу и вспоминая (для справок) те споры, что прежде шли в Филадельфии под звон колокола Свободы.

Носивший одно время при себе в небольшом сундучке правительственные бумаги и знавший на зубок, как

---

\* Звезды и полосы на американском государственном флаге появились позднее, а во времена Войны за Независимость на знамени были кресты, но такова уж природа распространенных представлений: определенным образом сложились и устоялись, их трудно менять. Кто способен представить себе Ричарда III не только не горбатым, но и не совершавшим тех злодеяний, которые ему приписала молва и следом за ней Шекспир?

секретарь, все постановления американского Конгресса, Пейн старался уберечь французский Конвент от уже известных ошибок. Разве можно, например, противопоставлять революционный центр всей стране? Было это! Уже было — в Америке. И слава богу, там они вовремя спохватились и организовали федерацию.

Пейну было за пятьдесят, а судьбу Франции брали в свои руки те, кому не исполнилось тридцати. Опыт и возраст не только давали ему право, но даже обязывали его наставлять молодежь, вступающую на грандиозную общественную арену. Удивительно молодеет мир! Им с Вашингтоном и то было больше, когда они запели «Янки Дудль».

Место Пейна в Конвенте оказалось среди жирондистов, умеренных. Не потому, что он сам был умеренным, — к тому его обязывали связи, которые помог ему установить все тот же мудрец Франклин.

В старом манеже, который еще раньше являлся, кажется, монастырем, собирался революционный Конвент. *Гора, Равнина*, превратившаяся со временем в *Болото*, а посредине, по имени округа, *Жиронда* — таковы были группировки, названные согласно их местоположению в зале заседаний. Раньше, еще в Национальном собрании, где когда-то раздались первые призывы к решительным реформам и где гремел *лев революции* Мирабо, устроено было иначе: шло разделение на *правых* и *левых*, смотря по какую руку от председателя кто сидел (и с тех пор это разграничение сохранилось в политическом словаре). А в Конвенте разделились сверху вниз: *монтаньяры* (горцы), жирондисты и те, кто составлял морсо (*Болото*).

Как описывают Конвент, в нем и помимо политических дебатов было оживленно: собиралась толпа любопытных, появлялись дамы, ходили торговцы-разносчики... Тут произошла новая встреча Пейна с маркизом Лафайетом, а познакомились они еще за океаном, в Аме-

рике: маркиз получил тогда первые уроки вооруженной борьбы и звание генерала. Лафайету в те времена не исполнилось и двадцати, а Пейну было уже под сорок, но оба они являлись солдатами Свободы, знамя которой взвилось над Американским континентом. Потом Лафайет стал в ряды борцов во Франции, у себя на родине. Это он потребовал от короля созыва Народного собрания, он возглавил поход парижан на Версаль, он не позволил королевской семье сбежать из Франции, ему Пейн посвятил «Права Человека», а Лафайет вручил Пейну ключи от Бастилии.

С Лафайетом они пели «Марсельезу»... Положим, Пейн не пел, поскольку, не зная французского, не мог выучить слов, но он вторил, энергично отбивая такт каблуком, а главное, он знал автора. Еще бы! Хорошо знал Руже де Лилия, военного инженера. Знал он его, правда, не как инженера, а как интимного друга Мери Вильямс, соотечественницы Пейна и будущей жены Годвина, создателя «Политической Справедливости».

С ключами от Бастилии, а также с проектом железного моста Пейн поехал в Англию, надеясь и мост воздвигнуть, и утвердить республиканские идеалы, но...

— Но у ваших соотечественников память оказалась коротка? — этим вопросом Бонапарт намекал на Английскую революцию, совершившуюся еще в семнадцатом веке.

Пейн уже привык, что в его присутствии речь неизбежно заходила о Революции семнадцатого века. Его, англичанина, считали как бы ответственным за ту Революцию. Кому-то хотелось услышать, что англичане поступили правильно, отрубив голову Карлу I, а кто-то желал подтвердить, что они поступили еще правильнее, когда вытащили из могилы этого новоявленного тирана Кромвеля и пусть с запозданием, но в отместку за короля все-таки повесили.

Путаница в головах наблюдалась несусветная. Что

называлось «революцией»? Мог хоть кто-нибудь толком объяснить, в чем заключалась «чистка», хотя это слово уцелело с тех времен и все его повторяли? Даже столетие справили, но... чего? Того, что являлось, по Пейну, уже контрреволюцией, сговором новых хозяев со старыми: погубили подлинную Революцию, предали революционные идеалы, произвели передел власти и празднуют свое торжество, а сообразительные лицемеры, вроде Берка, им поддакивают. Смешно и горько слушать!

— Я читал Берка, — подтвердил Наполеон.

— А я знал его, — сказал Пейн.

Они встретились еще в ту пору, когда все превозносили штурм Бастилии, и Эдмунд Берк в числе прочих. Да-да, заядлый британский консерватор приветствовал Французскую революцию, объявляя ее продолжением «дела англичан». Кажется, кто только не приветствовал Французскую революцию, включая тех, кто потом с особой злостью проклинал ее.

Не говорите, что причиной проклятий было разочарование в идеалах и в крайностях террора. Причина, как всегда, заключалась в одном: в чьих-то интересах, оставшихся неудовлетворенными. И в самом деле, будто англичанам было больно от того, что французы казнят французов. Да в Альбионе только бы руки потирали от удовольствия при виде подобного зрелища за Ла-Маншем! Выдаваемая за сострадание к жертвам революционного террора, то была со стороны англичан на самом деле смесь страха с обидой, страха за себя, обиды на соседа: зачем французы не облегчили им бремя военных расходов и еще в придачу чуть было не экспортировали новую гражданскую войну, которую Англия уже, спасибо, испытала в семнадцатом веке? И затряслось, словно лист осиновый, и взялись пугать (своих соотечественников) двумя революциями сразу, прошлой и нынешней, английской и французской.

Какую идею проводил разочарованный (перепуганный) Берк? Что он писал в своих «Размышлениях о Французской революции»? «Размышления»! Чистейшие измышления. Вроде грабежа среди бела дня, творимого на глазах у всех. Как только бумага выдерживает?! Вроде бы с опорой на историю, Берк писал: «Согласно древним установлениям страны англичане признали над собой власть короля...» Что за чушь? Англичане свергли короля согласно древним установлениям. Они поступили, наконец, в соответствии с Великой Хартией Вольностей, но у них Республика погибла, а королевская власть оказалась восстановлена. Почему так получилось? Не у Берка же спрашивать, если он старается (за хорошую плату) \* забыть известное.

А давно ли одно лишь презрение вызывала французская монархья чета? Мелкие люди, а уж королева — это злоба, злоба и еще раз злоба, помноженная на подлость, — кто стал бы с этим спорить, когда они были на троне? И вот уже, словно никто ничего не помнит, тот же Берк, красноречивый (платный!) публицист, выжимает слезу по «несчастной королеве». Ах, несчастная! Какие дерзости и даже грубости ей приходилось выслушивать от солдат, которые, как видно, понятия не имели о том, что такое рыцарское отношение к даме. О, времена падения идеалов! Ну как не пожалеть страдальцу? Что ж, ей, быть может, удалось бы ускользнуть из рук революционного правосудия, если бы они с мужем получше знали свою страну да поменьше старались с собой увести. А то сбились, бедные, с дороги, просто заблудились, и лошади утомились, потому что уж чересчур много бывшие властелины Франции набрали добра:

---

\* Тогда плата, полученная Берком от английского правительства за свой антиреволюционный трактат, была делом слухов. Теперь это установлено.

вот и остановил их маркиз Лафайет. Жаль страдальцев. Увы, гражданин Капет! Ах, вдова Капет, она же мадам Дефицит...

И раз навсегда, отвечая всем сразу, Пейн разнес в «Правах Человека» этого продажного подпевалу Берка так, что тот, говорят, загрустил.

«Господин Берк не понимает или же не хочет понимать причин Французской революции, оплакивая участь короля», — писал Пейн. Как будто дело в короле! Ведь есть люди и есть принципы. Любой из Людовиков, будь один из них сердцем пожестче, а другой помягче, неизменно олицетворял все тот же деспотизм. Господину Берку следовало бы посидеть в Бастилии по меньшей мере при двух последних королях (ни один из которых даже и не знал бы о его существовании), тогда бы он на себе проверил и для себя решил, стоит ли свергать королевскую власть или же еще повременить. Король мог быть добр, король мог быть суров, король мог называться пятнадцатым, мог называться шестнадцатым, но власть у него была бы все та же, одна, основанная на бесправии перед лицом правительственного произвола. «Во Франции существовали тысячи тиранов, подлежащих низвержению», — писал Пейн. — Под сенью наследственной самодержавной монархии произрастало всякое притеснительство и так укоренилось, что было уже неотделимо от нее. Король, парламент и церковь соперничали друг с другом в самовластье, кроме того, на местах действовало самодурство помещичье, а самоуправство чиновничье являлось вездесущим». Можно ли было со всем этим покончить, а короля пощадить?

Господин Берк пишет: «Прежде я готов был приветствовать правительство Франции». — «Это ли голос Разума?» — со своей стороны спрашивал Пейн. Стало быть, все равно, что за правительство, лишь бы — власть. Безразличны принципы, на которых она держится: торгуют ли людьми, как рабами, пытаются ли их на дыбе,

все не суть важно, главное — управляют. На двухстах пятидесяти страницах «Размышлений» едва нашлось место хотя бы раз упомянуть штурм Бастилии: не хочется этого упоминать! Автор, напротив, грустит, очень грустит по поводу пресеченного произвола, он расписывает, до чего крепки лондонские тюрьмы, прославляет Ньюгейт, гордясь этой клоакой, где преступников не исправляют, а сводят с ума, и ни слова о жертвах, тех безвестных мучениках, что влечат свое жалкое существование без тени надежды на будущее.

С фактами и цифрами в руках Пейн тут же показал, каковы привилегии привилегированных (например, во что стране обходилось правительство) и каково бремя, лежащее на бесправных (скажем, какие приходилось платить налоги); он разъяснил, в чем суть вопроса о человеческих правах, если иметь в виду единство рода людского и тот факт, что люди от рождения равноправны, однако общество мало-помалу отрывает человека от его исконной природы, разобщает его с самим собой, постепенно лишая его прав: «Чтобы иметь ясное представление о том, что такое правительство и каковым оно должно быть, нам следует проследить его возникновение, и когда мы это исполним, мы поймем, что правительства либо создаются людьми, либо навязываются людям: различие, какового господин Берк проводить не намерен».

«На основе революций в Америке и во Франции, — писал Пейн, — а также признаков перемен, заметных в других странах, становится очевидным, что мировое мнение относительно правительственных систем меняется и революции нельзя предугадать с помощью политических выкладок. Ход времени и обстоятельства, которым люди приписывают решающую роль при больших переменах, слишком механистичны, чтобы определить силу духа и скорость размышлений, порождающих революции. Все прежние правительства пережили своего рода

потрясение, когда возникали революции, которые в свое время представлялись еще более невероятными, еще более достойными изумления, чем та всеобщая революция, что идет по Европе теперь». Однако Пейн продолжал: «Когда мы оказываемся свидетелями жалкого положения человека при монархическом и наследственном правлении, вытаскиваемого силком из собственного дома одной властью, гонимого — другой, замученного налогами хуже, чем врагами, мы понимаем, что данная система плоха и что переворот в принципах правления и устройстве власти необходим».

«Что до устрашающих картин, в которых неистовствует воображение господина Берка, стремящегося поразить своих читателей, — тут Пейн имел в виду «ужасы террора», — то все это хорошо для сцены, для театрального представления, где факты подчинены внешнему эффекту и призваны, в силу людской отщепенности, вызвать слезы». Что, в самом деле, оплакивать гибель рыцарства, если речь идет не о реальном рыцарстве? «Слава Европы ушла безвозвратно!», «Бескорыстная красота жизни исчезла!» — восклицает Берк, но извольте представить себе, что все это означает? Как это понимать? Ведь все это поистине одни слова, которыми можно как угодно пользоваться до тех пор, пока это занятие остается практически безобидным, безвредным, проще говоря, безрезультатным. Если уж аристократию при ее падении сопоставлять с рыцарством, то надо следом за Шекспиром воскликнуть: «Отелло отслужил!» Но господину Берку следовало бы помнить, что пишет он историю, а не пьесу, что читатели ждут от него истины, а не словесных извержений. Со своей стороны Пейн утверждал: «Несмотря на жуткую живопись Берка, если революцию во Франции в самом деле сравнивать с переворотами в других странах, то покажется удивительным, насколько малых жертв она потребовала»...



Так писал Пейн за два года семь месяцев и восемнадцать дней до своего заключения.

И никто ничего не мог ему возразить толком, лишь затаили злобу. Вид сделали, будто нестрашно. «Книга дорогая, — острил насчет «Прав Человека» Питт, глава английского правительства, — и все равно не переубедит тех, кому она по карману».

Но Пейн за печать не берет ни гроша! Отказавшись от выручки, Пейн позволил лондонскому издателю удешевить книгу, и начали читать «Права Человека» те, кому, по мнению премьер-министра, читать вовсе не полагалось. Пейн обратился к улице, он писал так, что понятно было всякому, и он издавал «Права» по такой цене, что они оказались доступны многим. Тогда немногие, «избранные», забеспокоились.

Кому что позволено — краеугольный британский принцип. Джентльмены могут посмеиваться хоть над Господом Богом, но толпа должна в него свято веровать, и не смеет просвещать улицу на этот счет! «Смутьян!»

Пришлось вернуться во Францию.

— Несколько безрассудную, не правда ли? — заметил Наполеон.

Но как началось безрассудство? Откуда же оно взялось? Лавуазье, одобвивший проект Пейна, был казнен. За что? Великий химик просил разрешения хотя бы завершить свои опыты. Трагический чудак! Объявив, будто он отравляет атмосферу и в Париже стало нечем дышать, за эти самые опыты его и обезглавили. Туда же, на свидание с Сансоном, на Тарпейскую скалу, как в духе древних называли эшафот, отправились и красавица Манон (она же госпожа Ролан), и ее друзья — словом, все те просвещенные либералы, с которыми Пейн занимал — срединное — место в Конвенте. Народный трибун Дантон тоже «чихнул» в мешок. Мыслитель Кондорсе, который вместе с Пейном составлял Конституцию

(и какую Конституцию!), не дожидаясь расправы над собой, принял яд. Ружье де Лиль чуть было не погиб под собственную песню. Лафайет оказался в изгнании. А он сам — Пейн коснулся своих волос — поседел в Люксембургской тюрьме...

— Малые жертвы... малые жертвы... — повторял Пейн, словно цитируя самого себя и будучи не в силах понять, как же он мог это писать меньше чем за три года до того, как число жертв превзошло все известные прецеденты.

— И я побывал под арестом, — вставил Наполеон, как бы утешая своего собеседника.

Тут Пейн мрачно улыбнулся. У него голова, пусть седая, все же осталась на плечах, зато самого Робеспьера, который уже был готов отдать приказ о казни Пейна, постиг ужасный конец.

— Да, — подтвердил молодой генерал, — если бы Неподкупный еще некоторое время оставался у власти, я тоже, скорее всего, не пришел бы на нашу с вами встречу.

— Что же это? — спросил Пейн.

Заложив руки за спину, генерал молча подошел к окну и некоторое время стоял спиной к своему собеседнику. Его пальцы слегка пошевеливались.

Свет падал из окна, делая силуэтами две фигуры, высокую и коротенькую.

Если смотреть со стороны, то можно было думать, будто Дон-Кихот и Санчо Панса обсуждают последствия очередного неудавшегося рыцарского подвига, какую-нибудь схватку с пастухами.

Вдруг — резкий поворот! Глядя Пейну в глаза, Наполеон сказал:

— А ведь мы... отошли от нашей темы.

Пейн с изумлением смотрел на своего собеседника. Какой... темы? Наполеон, слегка улыбнувшись, проговорил:

Typus, in epistola, in prima, qui  
 le huncque huncque huncque huncque  
 huncque huncque huncque huncque  
 huncque huncque huncque huncque  
 huncque huncque huncque huncque





— Так что же вы думаете о канонерских лодках? «Их потребуется более тысячи», — хотел было произнести Пейн, однако ответил уклончиво:

— Надо бы посоветоваться с Фултоном...

Он ответил уклончиво лишь потому, что не получил ответа на свой вопрос.

— Фултoн? — переспросил Бонапарт, переиначивая имя прославленного инженера на французский лад.

— Да, — отвечал Пейн, — тоже американец...

— Так вы американец? — воскликнул генерал. — Только что вы рассуждали, как англичанин, истинный англичанин!

Пейн замялся, но не смутился. На подобный вопрос отвечал он тысячу раз. И знал по опыту, что слишком тщательно выяснявшие этот вопрос стремились на самом деле лишь запутать его. Если он англичанин, то, значит, представитель недружественной державы: в Люксембургскую тюрьму его! А если американец, место ему все равно там же, в Люксембурге, хотя Америка и считается союзной державой. Союзничество-то ее проявляется слабовато: хлеб прислали, а где селитра для пороха? И так — девять месяцев и девять дней, называя себя хоть англичанином, хоть американцем... Что же тут отвечать?

Тогда заговорил двадцативосьмилетний генерал:

— А не кажется ли вам, что плоды вашей... нашей с вами борьбы не идут впровод?

— Кому? — настороженно спросил Пейн.

— Большинству, — отвечал Наполеон.

Он указал на окно:

— Что нужно этим людям? Чего они хотят?

Пейн не успел произнести хотя бы слово, как генерал вроде бы возразил на его возможный ответ:

— Когда после Тулона меня встречал народ, я подумал, что точно так же меня провожали бы на эша-

фот. Все это стихия, вроде прилива и отлива, не более.

— Зачем же тогда вы держите при себе мою книгу? — поразился Пейн.

В самом деле, такие речи о народе ему приходилось слышать, начиная с дебатов в Филадельфии: «Стадо, куда его ни погони!» И уже там раздавались голоса: «Вчерашним висельникам и сегодняшним рабам одинаковые с нами права?!» Сам Вашингтон выразился так: «Как же это люди, не умеющие даже на стуле сидеть, будут голосовать наравне со мной?»

Бонапарт мерил комнату шагами.

— Вы говорите о правах, — остановился он. — Я не против прав, если ими умеют пользоваться.

«У меня же все про это написано», — хотел было возразить Пейн, но его собеседник произнес:

— А ведь мы действительно уклонились от темы, — и указал на модель моста.

В эту минуту, как и всю его жизнь, Пейн выдерживал внутреннюю борьбу в душе между ученым и политическим деятелем. Ах, мост! Поговорили бы, в самом деле, с Фултоном. Тот вроде парохода, который сам же проектирует и, с упорством пыхтя, двигается к цели. Пейну тоже не раз говорили: изобретать так изобретать, сражаться — сражаться. Нет, неистовый Том из другой породы. Разве Франклин не умел одновременно усмирять молнии и просветлять умы? А Пристли, познавший законы материи и чуть было не погибший за свои гражданские убеждения? А Прайор или Прайс — разве делали они различие между интересами науки и благом человечества? Вот с кого Пейн берет пример!

Судьба мира зависит от сознания, способного охватить все. Наука и Свобода — одно без другого не идеал. Техника есть средство общественного прогресса. Мост — путь для связи людей, для единения народов. А сделанный из металла мост — дорога в будущее, ибо на

смену деревянным и даже каменным устоям идут железные конструкции.

Генерала действительно интересует мост и вооруженные лодки? Он намерен воевать с Англией? Не следует ли прежде прояснить цели, во имя которых...

— Идео-ло-гия? — прервал Пейна Наполеон и почти рассмеялся, однако не дал своему собеседнику в ответ вспыхнуть: — Мы служим одному делу.

— Лодок потребуется более тысячи, а как их оборудовать, знает Фултон, — не сдавался Пейн.

Наполеон на это слегка качнул головой в знак того, что совет принят.

И действительно, можно отметить на будущее, совет Пейна был им учтен, хотя и по-своему.

Вскоре по личному указанию Наполеона Роберт Фултон был занят устройством... красочной панорамы.

Почему панорамы, а не какого-нибудь боевого парохода?

Ах, Пейн плохо понимал людей. Ведь, спрашивается, зачем явился к нему Бонапарт? В душе, конечно, не прочитаешь всего до конца, но ясно: не любя моря и страшась схваток с британским флотом, он не хотел нападать на Англию и пришел проверить на Пейне степень популярности или, напротив, непопулярности самой идеи такого нападения. А инженер Фултон, поскольку он был еще и живописцем, получил заказ на панораму (как оказалось, пророческую, называлась она «Сожжение Москвы», и было это в 1800 году) вместо указания строить подлодку, хотя прилагал все силы к тому, чтобы спустить на воду, точнее, под воду свой «Наутилус», способный плыть в глубине.

Все это произошло позднее, незадолго до кончины Пейна на других, американских берегах, но и вспоминая, как ему клялся в почтении и даже в приверженности удивительный посетитель, Пейн горько посмеи-

вался — над собой. В сущности, он не разглядел игры, положим, грандиозной, всемирной, и все-таки игры в поведении своего гостя.

Мировая сцена требует актеров. Она не признает простодушия. Сцена должна льстить публике — закон театра, суть успеха. Иначе все разойдутся и смотреть представления не станут. Обязательно должна быть лесть, тончайшая, которую даже и требовательный зритель принял бы за полную правду. А что люди любят больше всего? Снисхождение к собственным недостаткам. И когда на всеобщее обозрение является некий человек, который так ярко способен показать свои слабости в сочетании с силой, он делается кумиром.

А пока Пейн чинно выслушал своего собеседника, когда, поблагодарив кивком головы за совет, тот сказал ему: — Ваш мост крайне важен.

И он поверил этому голосу, этой важности, этой заинтересованности. Поверил или же все-таки хотел поверить? Опять же, в душе не прочитаешь. Впоследствии Пейна упрекали в тщеславии, в том, что любил он сам важничать, говоря «Я знал...», ссылаясь на свои встречи со знаменитостями (как будто он не был достаточно знаменит). Но к собственным убеждениям он относился серьезно.

Итак, мост.

Пауки подали ему первую идею. Да, пауки. Однажды всмотрелся он в паутину, висевшую над тропой...

Пейн жил тогда на окраине Парижа. В особняке мадам де Помпадур. «В покоях королевской фаворитки», — подтвердил он, заметив очередную улыбку своего гостя. Занимал три комнаты. Радикальная мысль базировалась в опустевшем гнезде реакции. Таковы парадоксы истории.

— Вы целиком состоите из истории, — даже с оттенком искренней зависти заметил Наполеон.



До Конвента, где Пейн в то время заседал постоянно, было далековато, зато тут уединенно. Он выходил в сад и произносил те речи, которые не мог произнести публично. «О, Франция,— говорил Пейн,— зачем сокрушаешь ты дух Революции, столь славно начатой? Зачем губишь тех, кто вел борьбу? Говоря словами многострадального Иова, я один пока уцелел среди моих единомышленников...»

Наедине с самим собой Пейн громил тех, кто извращал идею Свободы. Он призывал к Разуму. Требовал Справедливости.

Изредка его навещали друзья. Пользуясь уединенностью этих мест, они обсуждали текущие дела и перспективы на будущее.

Неожиданно Пейна посетил... Сансон. При этом имени брови генерала Бонапарта высоко вскинулись. Но Пейн пояснил: оказалось, они соседи. Главный парижский митральер вместе со своей семьей жил неподалеку. А пришел он к Пейну — в мундире национальной гвардии — разузнать о каких-то англичанах, вдруг объявившихся в Париже. И сам он говорил на отличном английском языке, что, понятно, редкость среди французов (Пушкин ошибся в своем предположении, что палач был безграмотен). Прощаясь, сказал: «В случае надобности, обращайтесь прямо ко мне». Когда он ушел, Пейн некоторое время молча стоял в саду, размышляя: «Какая же может быть надобность?»

В саду росли яблоки, груши, артишоки и цветы. Паутина висела над тропой... Как она держится? Желая отдохнуть от мыслей о политике, Пейн представил себе железную паутину. Две параллельные паутины, перекинутые через реку, и никаких промежуточных опор!

Маргарита де Бонвиль не могла перевести «опор», как не могла передать других технических слов, которыми ее постоялец пояснял свои конструкции, показы-

вая при этом пальцем на важнейшие детали. Маргарита могла лишь следом за ним показывать на те же бруски и винтики, добавляя: «Вот... вот...»

Наполеон внимательно следил за тем и за другим пальцем, кивая головой.

Пейн рассказывал: очутившись в Новом Свете, он понял, что первый же ледоход на американских реках (замерзшие реки видеть ему прежде не приходилось) снесет любые укрепления. А без мощных, соединяющих провинции и города, путей это не страна, но лишь набор поселений. Вот где инженерия и политика связываются в единый узел. Наполеон на это заметил:

— Иными словами, вы хотели лишить ссыльных каторжников и беглых сектантов того самоуправления, которого они добивались?

«Не будем отвлекаться», — хотел сказать Пейн, но темперамент политического борца взял в нем верх. Он возразил:

— Без единства не могло быть Свободы!

— А вы уверены, — последовал вопрос, — что хотели они именно Свободы?

— Нет, — тут уж не удержался Пейн, — я все-таки не понимаю, чем могла вас привлечь моя книга?

— Разве я против Свободы? — слегка пожал плечами полководец и сделал жест рукой в сторону окна, улицы: — Вот вам последствия недоразумений из-за разговоров о Свободе...

— Но в Соединенных Штатах ничего подобного не произошло! — горячо воскликнул Пейн.

— А там Свобода? — последовал еще один вопрос, однако с добавлением: — Простите, но мы опять отклонились от нашей с вами темы. Прошу вас, продолжайте: вот это цепляется за это?

Почти нарушая границы приличия, Пейн стал в упор рассматривать своего собеседника в сером полупальто.

Маргарита тем временем тараторила, нагоняя в паузе пропущенные ею слова. «Вот... вот... Это идет отсюда и... туда», — звучало как отдаленный аккомпанемент его мыслям. А он все смотрел и смотрел...

Трудно перечислить всех выдающихся деятелей, каких повидал он на своем веку. И долговязый, замкнутый Вашингтон, и похожий на обезьянку, бешеный Марат... Впрочем, приходилось видеть уж таких «бешеных», рядом с которыми даже Друг народа выглядел всего лишь умеренным. Разве что коммуниста Бабефа Пейну так и не удалось повстречать, но скольких он видел! Будто неотступный сон, они всегда были с ним. Словно коллекция мадам Тюссо, этой умелицы, которая снимала посмертные маски с казненных, а потом делала их восковые подобию, как живые, его память хранила множество лиц и фигур, выдвигавшихся одна за другой из полутьмы воспоминаний при малейшем усилии сознания. Выдающиеся современники толпились в его памяти, желая поскорее выйти вперед и сказать ему свое слово, еще раз сказать слово сочувствия или проклятия. Некоторые, впрочем, молчали, подобно Вашингтону, потому ли, что забыли его или же потому, что им уже нечего было больше сказать. А он, встречая нового человека, тут же заглядывал в свою мемориальную коллекцию: может быть, подобное лицо ему уже попадалось? В двух революциях на двух континентах, в трех странах видел он бунтарей и консерваторов, столпов порядка и лидеров оппозиции, страстотерпцев-мучеников и подлеших отступников. Кто же сейчас перед ним?

Не успел Пейн дожидаться ответа у себя самого, как последовал очередной вопрос собеседника:

— А где бы вы хотели воздвигнуть ваш мост?

Пейн еще оставался в своей мемориальной галерее: храбрецы и трусы всех рангов — от невероятных высот до полнейшего падения...

— Вы спрашиваете,— сказал он, слегка наклонившись в сторону серого сюртука,— где поставить мой мост?

Река Делавар! Над нею, в устье, где раскинулась Филадельфия, духовная колыбель Америки (что бы ни говорили бостонцы), виделась ему несгибаемая арка моста. Он так и задумал: тринадцать дугообразных секций, по числу штатов. Однако над рекой Делавар еще до войны (до Революции) уже успели поставить мост. Тогда обратил он взоры к западу, на реку Скайлкил, которая огибает Филадельфию, первую столицу Штатов, с другой стороны. Но пока обсуждали проект, делали модель и ходили всем городом смотреть ее, выстроенную почти в натуральную величину и установленную в саду Франклина, на строительство моста через Скайлкил получили подряд некоторые ловкачи.

Вообще в Америке начиналось что-то странное: кто совершал Революцию, отстаивал Независимость, тот должен был посторониться и пропустить вперед умеющих завоеванным пользоваться. «Писака, пачкавший бумагу призывами порвать связь с нашей старой родиной» — так люди дела, местные нувориши, даже не выдавшие Европы, называли Пейна. И к ним внимательно прислушивались.

Ну ладно, не будем отклоняться от темы. Перехватили подряд и похитили идею секций — пусть! Пейн решил сделать мост единой дугой (символ союза) и устремился на север. Почему не перебросить мост через реку Гарлем? «Это для того (ха-ха!), чтобы ему удобнее было добираться до своей фермы под Нью-Йорком» — такие тогда начались разговоры. Дешевые души! Они судили по себе, нажившись еще во время войны на солдатских сапогах.

Вот чего Пейн, откровенно говоря, никогда не мог понять: борцам за Независимость платили! Разница за-

ключалась лишь в сумме, и если тыловые воротилы загребали миллионы, то бойцы требовали месячного жалованья, и когда денег им вовремя не было, они стремились уйти домой. Неужели одной мысли о будущем благе им было мало? А уж в мирное время, естественно, все вели счет только на деньги, задаваясь одним вопросом: «А мне?» А он хотел объединить весь континент. И континента мало — мир! Если уже незачем строить мост через Делавар, он готов строить мост через Скайлкил, нельзя через Скайлкил, пусть через Гарлем, не через Гарлем — через Гудзон. Ему виделось три моста, совершенно одинаковых, обозначающих единство человеческой связи: мост через Гудзон, мост через Темзу, мост через Сену...

— Хотелось бы, — ответил Пейн под внимательным взглядом своего собеседника, — воздвигнуть мост Дружбы через Ла-Манш.

— Грандиозно, — не спуская с Пейна глаз, тихо сказал Наполеон.

И будто вовлекая его в заговор, еще тише добавил:

— Значит, война?

Пейн не сразу схватил его мысль, он повторил:

— Мост Дружбы...

— Разумеется! — воскликнул Наполеон. — Однако мы же не станем дружить с нынешней Англией.

— Революционная война? — тогда спросил Пейн.

Наполеон усмехнулся:

— Не все ли равно, как называется война?

Его глаза говорили о том, что подобного вопроса он ждал, но хотел, чтобы Пейн сам на тот же вопрос и ответил. Разве мало извлечено уроков из всего, что произошло и что называлось именно так — революционным? Гражданин Пейн все еще не одумался, не остыл? И подвальный этаж Люксембургской тюрьмы его не охладил?

И пока Пейн все еще молчал, Бонапарт процитировал:

— «Мой разум — вот моя вера...»

— Вы уже прочли и эту мою книгу? — воскликнул Пейн, имея в виду, конечно, «Век Разума», хотя там говорилось: «Мой разум есть моя церковь».

Почти все сочинения Пейна появлялись удивительно вовремя, их словно ждали, и они выходили в свет, выражая на простом и ясном языке те мысли, что уже бродили во многих головах. Независимость? Права? Кто же может быть против Независимости, она же Свобода? Кто же не хочет всех прав? Однако усвоить «Век Разума» оказалось труднее, ибо Пейн покушался на веру. Безверия он не предлагал и даже не отвергал Бога. «Я верую только в Бога», — гласил «Век Разума».

Как же так, в Бога веровать, а религии и церкви не признавать? Люди верят вовсе не в Бога, доказывал Пейн, они верят другим людям, присвоившим себе право вещать от имени Бога, и веру их надо бы называть «людиизмом», истинным атеизмом, форменным безбожием, а он предлагал деизм — от «деи», Бог, только — Бог, и никаких посредников. «Я не признаю верований, — писал Пейн, — провозглашаемых церковью иудейской, церковью римской, церковью греческой, церковью турецкой, церковью протестантской и любой другой мне известной церковью».

А Бог, как объяснял Пейн, — это лишь первопричина всего сущего. Творение Божие — весь мир, и для постижения мира ни храмы, ни священники не нужны, как не нужно и Священное Писание, так называемые боговдохновенные книги.

«Боговдохновенные» — кто это подтвердит? «Откровение» — какое же откровение, когда противу смысла самого слова мы получаем священные слова не от Всевышнего или пусть Иисуса Христа, а через вторые, третьи, пятнадцатые руки? Можно ли на столь нечистых,

шатких основаниях строить систему убеждений? Никто не может отрицать права Всемогущего на откровение, писал Пейн, но это очевидное противоречие в терминах, если «откровением» называть нечто, дошедшее до нас весьма и весьма косвенным путем.

Что касается Христа, то никто не смеет ставить под сомнение ни возможности его существования, ни достоинств его личности и проповеди. Но какое к этому могут иметь отношение сказки о непорочном зачатии и воскресении?

«Он был,— писал Пейн о Иисусе,— судя по всему, доблестный и привлекательный человек. Заповеди, которые он высказывал, исполнены благи, хотя, надо отметить, похожие заповеди высказывались до него и китайскими, и греческими мудрецами». О себе, продолжал Пейн, он ни строки не оставил. Его история рассказана опять-таки другими, а поскольку увенчивается эта история воскресением, то и начало этой истории надо было сделать сверхъестественным. Как они Спасителя в эту историю ввели, говорил Пейн о евангелистах, так должны были и вывести.

«Что личность такая, как Христос, могла существовать, что он мог быть распят, коль скоро таковы были в те времена способы казни, все это находится в пределах вероятности,— подчеркивал Пейн.— Проповедовал Христос прекрасные принципы, в том числе равенство всех людей. Он также проповедовал против продажности и алчности иудейских священников, что навлекло на него гнев и месть целой касты. Обвиняли его по наущению этих священников в смутьянстве и заговоре против римлян, которым иудеи тогда подчинялись и платили подати. И не исключено, что римляне в свою очередь допускали вредность подобной проповеди, как понимали это по-своему и иудейские священники. Не исключена и возможность того, что Христос в самом деле имел в мыслях освободить свой народ от засилья римлян.

Между этими двумя силами выдающийся реформатор-революционер и погиб».

В таком духе написан «Век Разума», и, как видим, здесь ни над Господом, ни над идеями христианства насмешек нет, что делало Пейна особо опасным противником того церковно-религиозного института, над которым он не только посмеивался, но который призывал упразднить. Пейн так и говорил, что хочет вырвать веру из рук тех, кто незаконно присвоил себе право учить вере. Все эти общественные организации (так выражался Пейн), будь они иудейскими, христианскими или мусульманскими, являются не чем иным, как изобретением чисто человеческого, ловушкой или фокусом, предназначенным устрашать и поработать людей ради того, чтобы именем Бога присваивать себе власть и выгоду.

Да, это говорили и раньше, но высказывались осторожно, так сказать, в ограниченном кругу просвещенных умов. К тому же Пейн впервые ясно и последовательно связал духовный переворот с общественным.

Пейн так и писал: «Я предвижу все возрастающую возможность того, что за революцией в системе управления последует революция в системе религиозной». За «Век Разума» он и взялся именно потому, что эта следующая, им предсказываемая революция как-то задерживалась. По крайней мере, так обстояли дела в Америке. Во Франции же, где Пейн работал над «Веком Разума», посвящая его американцам, такая революция, следом за общественной и политической, казалось, вот-вот произойдет. Уже начала происходить: закрывались и разрушались церкви, изгонялись и преследовались священники, но почему-то вместо одного культа утверждался другой — Культ Разума и Верховного Существа. Даже праздник по этому случаю был устроен, и Боги-



ней Разума нарядили одну актрису (Пейн ее знал) \*, а Верховным Существом выступал (с цветком в руке) сам Робеспьер.

Пейн, хотя он и приветствовал преобразования, имел в виду нечто иное. Он не предполагал, что взамен старых обрядов и жрецов явятся новые, означавшие лишь смену названий все той же религии, как это было с календарем, с месяцами, новых названий которых никто не мог толком запомнить. Выходило так: если в послереволюционной Америке вовсе не думали расставаться с религией, то в революционной Франции на место старого культа водружали нечто очень на тот же культ похожее. Поэтому Пейн чуть было и не отправился в тюрьму вместе с рукописью «Века Разума», но, к счастью, благодушный начальник конвоя не стал вникать, что за рукопись.

Вторую часть того же трактата Пейн, говорят, писал уже прямо в тюрьме. Но хотя сохранились даже воспоминания о том, как он читал в Люксембургской гемнице отрывки из своей работы, все же сомневаются, что они там же и были написаны.

«Моим друзьям-согражданам Соединенных Штатов Америки, — говорилось в посвящении. — Я помещаю данный труд под ваше покровительство. В нем содержится мое мнение о религии. Прошу по справедливости помнить, что я всегда твердо отстаивал право каждого иметь свое мнение, насколько бы оно ни отличалось от моего собственного. Кто отказывает другим в подобном праве, тот делает себя рабом собственного мнения, ибо лишает себя права изменить его».

В данном случае Пейн, как и во многих других, ошибался, полагая, что люди боятся менять мнения. Во-первых, они не имеют мнений, а примыкают ко мнениям. Во-вторых, высказывают мнения так, словно ни-

---

\* Мадам Моморо, и она была казнена впоследствии.

каких других мнений у них и не было. Но Пейн писал: «Не хочу своими утверждениями оскорблять тех, кто думает иначе. У всякого есть такое же право иметь свои убеждения, как и у меня. Для благоденствия человечества важно, чтобы человек сохранял верность самому себе».

Итак, Пейн ждал приговора, на этот раз — читательского, но зато какого читателя!

— Умнейшие люди не понимают простых вещей, — стал размышлять вслух его редкостный читатель и даже вроде бы почитатель. — Вы хотите утвердить веру, уповая на разум. Как же так? И кроме того, чей разум? Ваш? Все твердили о Равенстве, не понимая, что это означает на деле. А вы еще спрашиваете, как будет называться...

Пейн слушал, не прерывая. Вернее, опять вопрошал свою память. Многих он видел, ставших уже легендой. Обычно его оппоненты проявляли просто непоследовательность. Говорили о единстве, а потом вдруг оказывалось, что единство для них — это всего лишь выгода, и кто выгоды не мог найти, тот подрывал единство всеми способами. А уж выдвигавшие принцип и не понимавшие его последствий — таких встречалось даже слишком много. И вот впервые в жизни... Нет, второй раз.

Первый раз это было в Люксембургской тюрьме. Вообще, что там происходило и что испытал Пейн, теперь даже не вспоминалось, а как-то разом иногда воскресало в его сознании, вызывая у него же самого один недоуменный вопрос: было это или же этого не было? Конечно, не Бастилия, где томились годами, целыми жизнями: после штурма королевской темницы из семерых узников, которых там обнаружили и которые заодно с гарнизоном отражали натиск штурмующих, троих, когда разобрались, отпустили, двоих пришлось отправить в сумасшедший дом, а двоих, уголовников, посадили об-

ратно, и все они были осуждены пожизненно, а в республиканской тюрьме, переделанной из дворца, находились одни смертники: их ожидала скорая операция ланцетом доктора Гильотена (еще одно наименование все той же «большой бритвы»).

Гильотен не изобретал гильотины. Ее поначалу называли «Луизой», это смертоносное устройство было перенесено на французскую почву из Италии другим доктором — Луисом, и лишь позднее, когда Гильотен взялся призывать к использованию «Луизы», как средства гуманного (по сравнению с четвертованием или зарыванием в землю живьем), орудие казни получило его имя. Правда, родственникам Гильотена пришлось менять фамилию, поскольку никто из них не хотел такой славы, но доктор думал о милосердии: конец без лишних мучений.

Если казнь, согласно требованиям разума и сердца, совершалась быстро, то ждать последней минуты приходилось мучительно долго. Пока разберут!

И все же ожидали, не унывая. Свежий человек в самом деле мог подумать, будто собралось чересчур пестрое, однако чрезвычайно оживленное общество. Сидели за свой счет. Устраивались. Пейн, с его технической сметкой, вынув дверной замок, запрятал в скважину свои сбережения, и, если ему что-нибудь требовалось, он, предлагая известную маду, обращался к тюремщику.

Как известного автора, Пейна кормили из соседнего ресторана, а некоторым сановным арестантам слуги приносили обеды прямо из дома, по вкусу. И лишь те, у кого не имелось ни средств, ни титула, ни славы, довольствовались республиканским пайком. А были там всякие. Иные, по прежним временам, жили в подобном дворце, иных сюда не пускали на порог даже милостыню просить. А теперь все содержались вместе, в том числе мужчины и женщины, так что заглянувший в Люксембург комиссар Конвента грозно спросил: «У вас тут тюрьма или большой бордель?»

В отличие от веселых заведений здесь в одиночестве пребывали по ночам, с одиннадцати вечера до семи утра, зато дни проводили сообщая, разыгрывая бурные романы, играя в карты и шахматы. Со временем режим стал жестче, а поначалу просто пансион, если, конечно, забыть, что каждому предстояло взойти на Тарпейскую скалу. Были, конечно, и такие, что впадали в тупую апатию или же тряслись от страха, но большинство действовало с умноженной энергией, торопясь дожить, доиграть, долюбить, доспорить.

У Пейна там состоялось множество встреч, начиная с Мюриэль, молодой актрисы, против общества которой автор «Здравого Смысла» совсем не возражал. Пострадала она из-за своего милого друга, какого-то аристократа, которого уже гильотинировали, и Мюриэль искала утешения. Там были и заокеанские соратники Пейна, американские офицеры, которых почему-то отпустили и они ушли, обещая ему поддержку, но больше он о них и не слышал. Были и его прямые соотечественники, англичане, а также ирландцы, и с одним из них Пейн вел долгие дебаты — письменно: чтобы их не подслушали, они молча подавали друг другу записки и, прочитав, бросали в камин. Так, освещенные колеблющимся пламенем, они сидели друг против друга до тех пор, пока их не разлучал урочный час.

Дантон и Демулен в тех же стенах прошли перед ним, как на прощальном параде. Людей набралось столько, что однажды на очередной стук комендант, не открывая, крикнул: «Некуда!» Потом узнали, что при водили Робеспьера.

С Демуленом и Дантоном Пейн успел поговорить, когда они, отправляясь один за другим на свидание с Сансоном, подходили к нему, чтобы сказать на прощание что-нибудь историческое.

Ожидая, что вот-вот придет и его очередь «чихнуть»

в мешок, Пейн тогда тяжело заболел и несколько недель оставался в беспамятстве. У Пейна к тому времени почти кончились деньги, кончились и дрова для камина, пища сделалась совсем скудной, кровоточила язва, он схватил сильную простуду: комната, она же камера, хотя и просторная, побольше, чем занимал он на воле была, однако полуподвальная, совсем сырая. И когда начался у него жар, то на последние ресурсы из скважины Пейн послал за бутылкой виски и уже после, в полном бреду, выпал из времени, будто идя на дно.

Очнувшись, он недосчитался примерно трехсот человек. Осмотревшись, понял, что остался последним из обитателей странного вместилища. Верно, ждали, когда же он выздоровеет, чтобы отправить на скалу, или иными словами под бритву. Однако никаких распоряжений на его счет не поступало, а потому тягостное одиночество должно было продолжаться. Пейн пожалел, что крикнули «Некуда!». Ведь он знал Робеспьера: было бы о чем поговорить. Ощутил Пейн и облегчение: больше он не встретится с... Глашатаем Человечества.

Всех и каждого Глашатай Человечества уличал в преследовании всего лишь своих личных целей. «Истинных борцов мало!» — такова была его единственная мысль. Тут, в темнице, кто рыдал, кто каялся, кто зло иронизировал. Лишь один Клоотс будто находился в другом времени. Он существовал в масштабах, которые делали незаметными как его собственную жизнь, так и судьбу окружающих. Над Манон Ролан и ее муженьком Клоотс смеялся: думали разыграть Революцию, как спектакль, после которого им достанутся и все аплодисменты, и все сборы, хотели попользоваться от Революции. О Дантоне нечего и говорить — буржуа в обличье республиканца. Лафайет удостоился лишь его презрения: чистоплюй и позер — зажимал нос в присут-

ствии толпы, а в конце концов, остервеаясь, бросался с оружием в руках на народ, в любви к которому давал клятву. Марат как был ветеринаром, так и остался ветеринаром: не умел управлять людьми, Робеспьер — кабинетный теоретик, не мог идти впереди сокрушительного потока, и один из них за свою неосмотрительность уже поплатился — пал от руки убийцы (до гибели второго Глашатай Человечества не дожид). Жак Эбер и Жак Ру (вожди парижских коммун) — мещане, неспособные вообразить что-либо за пределами своего околотка. Нужен интеллект, который бы воспарил над миром и воззвал к полнейшему уничтожению Старого порядка. А старье сидит в каждом, если его хорошенько выпотрошить.

— Мы оказались здесь, — говорил Клоотс, имея в виду подвалы Люксембурга, — потому что все слабы и мелки!

— Ужасы?! — с мрачной жестокостью усмехался он. — В Революцию ужасное становится явным, в отличие от скрытых ужасов Старого режима, и потому так легко обличать Революцию, обвиняя ее в жестокости!

Пейн считал себя человеком неробким и решительным, однако Глашатай Человечества буквально припер его к стенке и прямо загнал в угол. Кто имел смелость первым назвать короля, Людовика XVI гражданином Капетом? Депутат округа Кале Томас Пейн. А кто заблеял о сострадании, когда коронованному слесарю (Людовик любил слесарничать) стали выносить смертный приговор? Пейн даже не спросил Глашатая Человечества, что думает он о сострадании теперь, когда его самого ждет участь упомянутого слесаря: было и так ясно, что Глашатай Человечества об этом не думает.

После выздоровления Пейн еще месяц дрожал (от холода) в опустевшем дворце. Когда же его наконец выпустили, то во главе сопровождавших его призраков за ним следовала тень Клоотса, напоминая, что есть же

натуры, которых, кажется, быть не может, ибо сама природа человеческая подобной требовательности не выдерживает. Глашатай Человечества боролся не ради людей, окружавших его, он мечтал (вроде бы ради людей) осуществить некий непосильный для них принцип.

И вот перед Пейном еще одна великая воля, облаченная в серый сюртук. Еще одно величие. А Пейн видел, что это — величие. Прямо-таки по Канту. Определение какой-то способности: не одно, другое и третье, а нечто конкретное. Что такое Великий человек? Способность, минуя мелочи, идти к Великой цели. Если мелкие мысли проникают даже в очень глубокий ум, если страстишки охватывают большую душу...

Когда сам Дантон, подойдя на прощание к Пейну, стал говорить (тоже на прекрасном английском языке) историческую фразу, он (Пейн не мог не заметить) причмокивал. Громогласный трибун страдал, как пороком, вкусом к жизни. Иначе разве можно было обвинить его во взяточничестве? Не брал он взяток, он всего лишь запутался в интендантских расчетах, но это потому, что — причмокивал, отвлекался... А Робеспьер, тот гордился своей неподкупностью, именно гордился — тоже отвлекался, тратил силы на гордость. Демулен, даже идя на казнь, наблюдал, ценят ли его бесстрашие.

Пейн не видел, как уводили Клоутса, зато представлял себе: Глашатай Человечества, не замечая людей, думал в тот момент о человечестве.

И вот серый сюртук, землисто-желтая кожа, шуплая фигурка — сила, способная отбросить прочь любые препятствия и помехи, уже показавшая себя в Тулоне и на Аркольском мосту. Куда же эта сила направлена?

— Вы спрашиваете, что это будет за война, — заговорил генерал, как бы желая ответить именно на такой вопрос. — А позвольте вас спросить, на какую войну можем мы рассчитывать? Ждут нас ваши соотечествен-

ники, как освободителей? Готовы они вспомнить времена железного Кромуэля?

Пейн и сам упрекал англичан в том, что они успели позабыть, когда и какая, собственно, была у них Революция.

— Стоило ли рубить голову бедняге Шарлю Первому, чтобы приглашать потом на тот же трон Шарля Второго? — напомнил Пейну его собеседник в полупальто. — А вы мне толкуете — Разум!

И тут, вплотную подойдя к Пейну и чуть не брызжа слюной, Бонапарт вдруг прошипел:

— Революции вам все мало!

Пока Пейн собирался с силами, чтобы перейти в контратаку, генерал предупредил его:

— Авантюра этого одержимого ирландца — ваших рук дело? Вы — вдохновитель Тона?

А-а, вот он и заговорил об Ирландии, но как-то неожиданно и до чего несочувственно!

— Я вам все объясню, — поспешил обещать Пейн.

«Как же! — подумала Маргарита. — Всего-то как раз и не разобъяснишь».

Нередко приходил к Пейну глава ирландских бунтовщиков Вулф Тон, и вот его Маргарита не любила пускать, поэтому вопросы генерала она перевела с большой охотой и как можно точнее. Тон называл себя пейнистом, а старика — учителем, но их беседы неизменно завершались ужасным криком. Из-за двери раздавалось: «Единая Ирландия... Религиозная уния... Объединенные ирландцы...» Кроме того, Маргарита слышала такие слова, смысла которых не могла понять, но звучали они, будто в песне припев, то и дело, и мадам де Бонвиль догадывалась, что это ругательства. А уж потом неизбежно приходила очередь и первой рюмки, и второй... Ах, что считать! И это все — старик, ибо тут же звучал требовательный молодой голос:



«Хватит! Прекратите!» Что ж требовать? Не надо спора начинать!

Иногда вместе с Тоном приходил еще один человек, представлявший в отношении к миниатюрному ирландцу полный контраст: крупный, грузный... Его звали Тейт. Тоже, как и Пейн, участник Войны за Независимость, но — коренной американец и кадровый офицер. Из послевоенной (послереволюционной) Америки его, впрочем, выдворили, даже вышвырнули, а все потому, что многих вещей не мог понять, не уместались они в солдатской голове исправного служаки Тейта. Как это — начали борьбу за республиканские идеалы, а потом вдруг установили сословность? Неужели некоторые влиятельные американцы стали побаиваться, как бы тот самый Ветер Свободы, что понес революционные идеи из Америки в Европу, не повернул обратно?

На призыв Пейна и Тона принять участие в распространении Революции на Британские острова Тейт с готовностью откликнулся: он взял на себя задачу высидеться в Англии и поднять народ.

— А вы толкали его на это безумие? — со злобной иронией спросил Бонапарт.

— Нас готов был поддержать маршал Гош! — возразил Пейн.

— Смерть вовремя спасла его от трибунала, — сухо и мрачно отозвался собеседник в сером. — За подобное безрассудство маршала следовало бы по меньшей мере разжаловать.

Пейн уже слышал стороной, будто Бонапарт ревновал сломленного в одночасье воспалением легких маршала и к воинской славе, и к своей жене \*. Но... но

---

\* Ходили слухи, что Жозефина была любовницей Гоша задолго до того, как она встретила с Наполеоном. Бонапарт получил ее от Барраса, первого директора Директории.

вышло все, в самом деле, ужасно! Читавший Пейна Тон верил, что есть в нации здравый смысл, способный откликнуться на призыв к Свободе. Конечно, они расходились с Пейном во взгляде на религию, ибо для Пейна «Объединенные ирландцы» звучало как «Единая церковь» — католиков и протестантов, а где церковь — добра не жди. Тон думал иначе. Тут и начинался у них спор. «Вы не знаете ирландцев!» — утверждал Тон. «А вы не понимаете, что всякая церковь — это духовное рабство», — не уступал Пейн. Но в конце концов они могли примириться на планах политических. К тому же их действительно поддерживал Гош.

Мешала погода... Вдоль всего северного берега Европы, как назло, бушевал сильный, затяжной шторм, и десант со дня на день откладывался. Вдруг удар — маршал умер! Кое-кто в их рядах дрогнул, но все же удалось организовать высадку: во главе небольшого отряда пошел Тейт.

Оказались они недалеко от Ливерпуля. Береговая охрана приняла их за контрабандистов, тем более что неподалеку на скалах разбился какой-то корабль с незаконным грузом.

Пока одни занялись таможенной охраной — с ней столкнуться можно, было бы чем угостить, — другие стали водружать на берегу трехцветное знамя.

Угощение затянулось, а главное, в нем участие, излишне горячее, приняли сами же инсургенты. Так что Тейт даже отдал приказ вздернуть для примера одного из своих подчиненных. Приказ, правда, не исполнили. Ближайший воинский гарнизон тем временем узнал, что какие-то вооруженные люди мутят прибрежное население. Смутьянов так и взяли — поющих и пляшущих вокруг трехцветного знамени.

В Лондон слухи о вторжении доходили постепенно, но уже когда дошли, там поднялась паника. «Почему

для высадки выбрали северный берег?! Известное раскольничье гнездо!» Жестокое поражение понесла парламентская оппозиция, которая только что требовала сокращения расходов на охрану и послаблений для раскольников.

А Тейт... Погиб ли он на месте, отказавшись сдать-ся, или же был доставлен в столицу и отдан под суд? Говорят, в чести быть расстрелянным ему, во всяком случае, было отказано, и он встретил свой смертный час, словно уголовный преступник, на виселице, где бы она ни была сооружена — на столичной ли площади или же на далеком берегу.

— И это — Разум? — спрашивал Наполеон, сверля Пейна взглядом.

— Я поднимал и не таких еще павших духом, — отвечал Пейн, и хотел было напомнить, какое безнадёжное зрелище представляла собой американская армия в то время, когда Вашингтон впервые отдал приказ читать перед строем «Кризис» Пейна: «Приходит время испытаний... Патриоты на час не станут в такую минуту... Но кто не покинет нас теперь...»

— А я говорю — необходимость и власть! — оборвал его Бонапарт. — Я не располагаю другими средствами, для того чтобы образумить... нет, не образумить — заставить всю эту... всю эту...

И он показал жестом, направленным куда-то в окно, на ту силу, которую ему предстояло подчинить своей воле.

— Вам нужно все-таки стадо? — спросил Пейн, и вновь хотел было напомнить собеседнику, что удивлен в таком случае его читательским вниманием и к «Правам Человека» и к «Веку Разума».

— Я внимательный читатель, — будто угадал его намерения Наполеон.

И действительно, не то чтобы они без труда читали в мыслях друг друга, но идеи поистине носились в воздухе.

— Внимательный читатель, — продолжил Наполеон. — И хочу вас спросить: неужели вы не понимаете, что ваши пророчества — о всеобщем равенстве и полной справедливости — уже осуществились, и мы видим, каковы результаты. Возможность построить общество на разумных основаниях, на всеобщем понимании своих прав — это... это...

Наполеон как бы метнулся по комнате и проговорил, упершись в Пейна холодным взглядом:

— Как можно рассудком оправдать то, чего понимать не положено? Одни люди глупы, другие умны, одни богаты, другие бедны, и чтобы одни не растерзали других, имеется единственное средство — тверди: «Так угодно Всевышнему!» Законы без религии — пустой звук. Равенство — химера. Разве вам это еще не...

— Всевышнему не было этого угодно! — почти невольно воскликнул Пейн, обрывая своего собеседника с такой бурной энергией, что полководец даже попятился.

— Что же, по-вашему, ему было угодно? — спросил он спустя некоторое время с подчеркнутой вежливостью.

— Кто знает? — говорил Пейн. — Однако в Писании нет ни слова о том, что Бог создал богатых и бедных.

— Но вы это услышите с каждой кафедры! — в свою очередь повысил голос Наполеон, глядя вместе с тем на Пейна, как на маленького, на ребенка, несмышлениша.

— С каждой кафедры мы слышим сказки! — окончательно взорвался Пейн. — Сказки о сказках! Перевернется даже тот текст, который сам по себе есть фикция. Фальсификация-фальсификаций — вот что мы слышим с каждой кафедры.

Теперь Пейн прошелся по комнате из угла в угол и обратился к своему гостю:

— Богом были созданы мужчина и женщина — в Писании идет речь только об этом, как вам известно.

Двинулся по комнате и Наполеон. Так что некоторое время они ходили друг мимо друга молча, вроде бы обдумывая, стоит ли им дальше вести беседу.

Первым молчание нарушил Пейн.

— Вам лучше читать Берка, — сказал он Бонапарту.

— Я читал Берка, — грозно возразил генерал, довольный помимо прочего еще и тем, что ему приходится напоминать однажды им уже сказанное. — Берк — обыватель, напуганный Революцией. Красноречивый обыватель. Тем более красноречивый, что ему было хорошо за красноречие заплачено. Однако в данном случае его продажность можно пренебречь. Вынесем ее за скобки, как обстоятельство сравнительно случайное. Суть в том, что оправдалось все: и ваши прекрасные пророчества, и его наихудшие страхи. Все сбылось. Вот что важно!

— Нет уж извините... — вступил Пейн.

— Ах, оставьте! — махнул рукой Бонапарт. — Вы будете приводить мне одни доказательства, а я вам другие, и только потеряю время попусту. Я предлагаю: отомстим Берку! Он призывал к войне с Францией, он ее получит. С вашей помощью, разумеется.

— Если вы меня спрашиваете, как воевать с Англией, — сказал Пейн, — я вам отвечу: идеями Свободы и Справедливости!

Его собеседник поморщился, но сказал очень мягко:

— Я побеждаю исключительно тем, что иду навстречу чаяниям народа.

Пейн хотел возразить.

— Я даю людям именно то, чего они желают, — говорил генерал.

Пейн хотел возразить.

— Разве я закрыл хотя бы одну церковь? — говорил генерал. — И расстрелял ли я хотя бы одного священника? А ведь я мог бы взять в плен самого папу!

— Да, — вместо того чтобы возражать, Пейн под-

твердил с усмешкой, — вы, конечно, читали Берка. У вас с ним, как видно, общее мнение: мир должен держаться на предрассудках.

— Мир должен держаться, а не рушиться! — выкрикнул Наполеон. — И наша с вами задача сейчас перенести очаг разрушения отсюда подальше. В летописи Революции пора поставить точку. Мы должны остановиться... мы должны перенаправить Революцию, пустить ее по другому руслу.

Он прошелся по комнате и отчеканил:

— Меня самого создала Революция. И меня самого спасла от гильотины только случайность. И я сделал из этого выводы. А вы?

— Я — солдат Революции, — отвечал Пейн.

Маргарита де Бонвиль механически повторила это следом за Пейном по-английски.

— Что? — не понял Бонапарт.

— Ах, простите, генерал, — всполошилась Маргарита, уже изрядно с непривычки утомившаяся переводить так долго, — он хотел сказать все то же самое, что сказал о... Революции.

Генерал изобразил на своем лице улыбку.

— Мы утомили нашу помощницу. Простите нас, сударыня. Я предлагаю помолчать и — подкрепиться. Можно это сделать где-нибудь поблизости?

— О, конечно, генерал, — отозвался Пейн. — Сносно кормят у нас за углом. А вы не откажетесь перед ужином по одной...

— Откажусь, — опять улыбнулся Наполеон.

Не доверяя в этом случае переводу Маргариты, Пейн сделал рукой стремительный жест, указывающий одновременно на дверь и на буфет, видневшийся через коридор в другой комнате.

— Генерал, — с известным торжеством произнесла хозяйка дома, — ничего не пьет...

Пейн нахмурился.

— Не будем ущемлять права человека, — примирительно заметил Наполеон, уловивший без перевода смысл напряженной сцены.

\* \* \*

Они шли по улице Французского театра — дама и двое мужчин, составлявших по росту в отношении друг к другу удивительный контраст. Однако на них почти не обращали внимания. Прохожие были редки, и никто не оборачивался — в лицо их не узнавали.

Даже хозяйин харчевни, находившейся в самом деле прямо за углом, всмотрелся в довольно поздних посетителей только для того, чтобы убедиться в их приличности. Время такое — всякие заглядывают! И с женщинами приходится держать ухо востро.

— Что будет господам... э... э... гражданам угодно? — спросил хозяйин, усадив их за стол.

Оба кавалера, как по команде, указали на свою спутницу, делая это не только из вежливости, но и в силу полного безразличия к меню. Они даже не слушали, что же Маргарита заказывала. Пейн лишь напомнил, чтобы не забыли принести какого-нибудь вина, а Наполеон попросил воды.

Разговор их, пока они шли по улице, прекратился, сейчас же они поспешили его продолжить. Но беседа, как часто бывает, из-за перерыва несколько изменила свое направление.

Наполеон поинтересовался очень участливо:

— Здравствуют ли ваши батюшка и матушка?

Пейн ответил:

— Мать жила почти до ста лет.

— Давно скитаетесь? — спросил его собеседник.

Пейн улыбнулся.

— В первый раз я бежал из дома шестнадцати лет. В матросы. Корабль назывался «Ужас». Имя капитана — Смерть. Но отец меня изловил прежде, чем мы успели выйти в море. А в Америку я уехал уже в тридцать семь.

— Я сам скиталец, — сообщил его собеседник, постукивая вилкой по тарелке, — и чуть было не оказался в России.

— О России мне рассказывал Жене \*, — в свою очередь сказал Пейн. — А по-вашему, что это за страна?

— Не имею ни малейшего понятия, — охотно отвечал Наполеон, откладывая вилку в сторону. — Просто необходимость гнала меня, и я думал поступить к ним в армию. Суворов — все, что я знал, но с ним помериться силами не довелось.

Затем он поинтересовался еще участливее:

— Так вы говорите, что это сам Неподкупный готов был вас...

— Да, — раньше, чем вопрос был завершен, отозвался Пейн, — в его бумагах потом нашли запись. Сказано было, впрочем, не совсем ясно, то ли «Пора покончить с Пейном», то ли «Решить о Пейне окончательно».

Наполеон улыбнулся.

— И не успели привести указ в исполнение?

Пейн тоже улыбнулся.

— Написал это Робеспьер за два месяца до своей собственной арестовации, но...

...Тогда у Пейна в скважине еще оставались деньги и, стало быть, водились в камине дрова. Однажды натопили так жарко, что нечем было дышать. Да и народу в комнате к тому времени сильно прибавилось. Решили оставить дверь открытой. Отворили настежь...

---

\* Французский посол в нашей стране в 1780-х годах.



Отворили, не зная, конечно, что с внешней стороны на двери уже был поставлен углем крест: в эту ночь на скалу! Уводили обычно под утро, еще впотьмах, и тюремщик, спросонья приняв прислоненную к стене дверь за дверь затворенную, не увидел рокового знака!

— Простодушная публика,— заметил Наполеон.

— Робеспьера я не виню,— продолжал Пейн.— Борьба есть борьба. Но его сумели убедить в том, что я его политический противник.

— Чьих же рук было дело? — поинтересовался Наполеон, прихлебывая воду из стакана, церемонно поднесенного хозяином харчевни.

Пейн приподнял бокал: «Салют!» — и ответил:

— Американского посланника.

Брови Наполеона вскинулись.

— Вот как? Моррис?

У Наполеона с Моррисом тоже имелись свои счеты. Неутомимый волокита, даром что на одной ноге, дипломат-женолоб в свое время плотоядно посматривал на Фанни де Богарне, а потом, кажется, и на ее родственницу — Жозефину.

— Моррис? — раздувая ноздри, переспросил генерал.

Пейн кивнул:

— Моррис.

— Рррасскажите,— почти приказал Наполеон.

Надо же было случиться, чтобы на французской земле судьба свела Пейна со злейшим его врагом! Защищать интересы политического узника должен был человек, им же некогда разоблаченный. А было так. В Америке, точнее, в американском Конгрессе Моррис являлся заместителем собственного брата, ответственного за государственные финансы. Заместитель-фрер (брат) чувствовал себя хозяином положения до тех пор, пока благодаря разоблачениям Пейна не оказалось, что он — вор.

— Все правильно! Как же иначе? — с мрачной иронией подтвердил Бонапарт сообщение Пейна.

Нет, в самом деле, сколько их, таких-то «патриотов», было: без совести, без принципов, за исключением одного — собственной выгоды. Американская армия терпела поражения, а они, взвинчивая цены на военные поставки, наживались. Американская армия побеждала — наживались еще больше. Границы между казной и своим карманом для них практически не существовало. Пейн, имевший в ту пору доступ к правительственным бумагам, показал все это на документах. И того же Морриса отправили... послом во Францию. Кем же еще, как не полномочным представителем своей державы, можно было отправить с глаз долой этого неслыханного циника?

— Известная публика, — заметил Бонапарт.

А Пейн получил... отставку. Ему сделали замечание о разглашении государственных секретов и сместили с должности секретаря Конгресса. Голоса при решении этого вопроса считал... Моррис.

Тогда, собственно, и заговорили во всеуслышание те преуспеватели, которые во время боев где-то отсиживались, а теперь расположились в первом ряду: «На каком основании этот... как его... англичанин... вмешивается? Кто это вообще такой? У него и американского гражданства нет!»

Избранный и в Соединенных Штатах *всего лишь* почетным гражданином, Пейн в пылу обиды и полемики не прояснил своевременно крючкотворный вопрос до конца. И поплатился! Очутившись в люксембургском подвале, автор «Здравого смысла» вынужден был обращаться с просьбой о помощи к тому, кого он же выставил на позор.

Началась игра кошки с мышью, жуки с пескарем. Дождаясь своей губительной очереди, Пейн получал от

Морриса вежливые, просто дружеские советы пока не шуметь, а сам посланиник тем временем выяснял с французскими властями вопрос принципиальный: можно ли почетное гражданство считать гражданством истинным, обязывающим страну, давшую означенному лицу означенное гражданство, нести за данное лицо ответственность? Чуть было не попавший на скамью подсудимых, но вовремя перемещенный на дипломатический пост, сановник-казиокрад вел или, точнее сказать, тянул эту высокую переписку столь выразительно, что нельзя было не понять, в какой мере представляемая им держава нуждается в своем почетном гражданине.

«Второй год Республики, месяц Ветров.

В Национальный Совет спасения  
от американского посланника

Г. Морриса.

Томас Пейн обратился ко мне с просьбой о помощи как гражданин Соединенных Штатов. Вот каковы, насколько я знаю, известные относительно него факты. Родился он в Англии. Став со временем жителем Соединенных Штатов, возымел там популярность благодаря своим революционным писаниям. За это же получил французское гражданство и был избран в Коivent. С того момента его поведение находится вне моих полномочий. Мне совершенно неизвестно, почему он ныне заключен в Люксембургскую тюрьму...»

Как, в самом деле, бумага была способна выдерживать все эти слова, каждое из которых вопиет к суду и справедливости? «Родился в Англии» — это как надо понимать? Зачем вдруг сообщать об этом? Ведь тут намек вроде бы на враждебность Пейна истинным интересам французов, ибо англичанин в то время в Париже действительно означало «шпион» или просто «враг». А революционные заслуги Пейна — с какой отстраненностью, будто его это и не касается, пишет о них посол демократической державы!

«Если имеются какие-либо причины, — продолжал посланник, — мешающие освобождению Пейна, то убедительно прошу поставить меня в известность о них».

Так писал Моррис. А когда осмелевшие после падения Робеспьера французы (из бывших и уцелевших союзников Пейна по Конвенту) обратились в правительство с просьбой отпустить его, то под этим воззванием Моррис свою подпись... не поставил.

Подобной волокитой посланник мог бы заниматься, сколько душе угодно, если бы занимался он только этой волокитой. Однако же ему надо было и о себе подумать. А рассуждал Моррис так: «Жить в свое удовольствие — значит следовать законам природы». Прямой защитник вольности и прав! А Моррис так и говорил, что исповедует учение Руссо. И все, что он любил, он любил страстно, ненасытно — женщин, драгоценности и недвижимое имущество, прежде всего землю (что в особенности сближало его с природой). Любовь к первому из предметов его страсти стоила ему ноги: пришлось как-то прыгать из окна спальни. Произошло это еще в Америке, где, впрочем, о деревянной ноге (самим Моррисом) распространялась несколько иная, более гражданская версия: он-де старался сдерживать подхвачивших лошадей и упал под колеса экипажа. Во всяком случае, стучал о пол Моррис своей деревяшкой так, будто понес потери в битве при Бункер-Хилле\*. Второй предмет его страсти привел к грандиозному скандалу: наложница его обворовала. Да как! Когда стали составлять опись пропавших драгоценностей (это случилось уже во Франции), то власти уж и не знали, кто кого обворовал публичная девка — посланника или же сам посланник прибрал к рукам несколько чужих наследств и состояний? Наконец, земля, которую Моррис продавал за

---

\* Одна из первых битв за Независимость.

Зависит в русском министерстве  
 разделение двух департаментов, безразлично  
 делится сама жизнь народа и в то же время  
 время бодрости, активности и деятельности с  
 суровой действительностью и с народной жизнью на очень  
 приятную и интересную





океаном и скупал в Европе, — выяснилось, что на этой, так сказать, почве посланник вел дела с кем угодно, не только с официальными друзьями, но и со столь же официальными врагами своей страны.

Когда скандальность поведения Морриса перешла все границы, французы дали понять, что такого посланника следовало бы кем-нибудь заменить, попросту говоря, убрать сейчас же. И Морриса убрали... в штат Нью-Йорк, от которого он стал представлять все в том же Конгрессе. Нельзя же, в самом деле, забыть его службу! Затруднительно припомнить, каковы, собственно, заслуги того чужестранца, который когда-то написал что-то, кажется, под названием «Здравый смысл», однако затем опрометчиво придал гласности некоторые сведения о видных лицах. А уж Морриса как забыть? Ведь его проделки и махинации все, кому надо, видели. Просто больше уже нельзя было смотреть на них сквозь пальцы. Что ж, пусть немного отдохнет. И Моррис представлял от Нью-Йорка, потом был направлен покупать Луизиану, потом... Всей Моррисовой карьеры оценить собеседники, конечно, не могли — он их пережил. Но для полноты картины мы добавим: потом он ведал подрядами по строительству каналов на севере — на Великих озерах, потом (пятидесяти семи лет) женился, взяв жену с Юга — наследницу виргинских плантаций, потом осел под Нью-Йорком в доставшемся ему от отца имении, и вот уж тогда, когда он, как паук, сплел паутину, охватившую всю страну, и мог о завтрашнем дне не заботиться, принялся за литературный труд и стал писать мемуары. Лживы его воспоминания от начала и до конца, словно он хотел себя выгородить ради того, чтобы по предъявлении этих бумаг где-то там, где следует, попасть и в жизни вечной на тепленькое местечко.

Всего этого наши собеседники уже не узнали. Но для

Пейна главное заключалось не в том, что Моррис гноил его в тюрьме, а сам в это время обогащался, скупая у перепуганной аристократии алмазные ожерелья и кольца (скупал он все за бесценок, ведь иначе те же драгоценности подлежали безвозмездной конфискации). Этому Пейн не завидовал. Однако ему было доподлинно известно, насколько, до глубины души, Моррис презирал те принципы, которые призван был представлять и отстаивать.

До чего же посланник первой демократической державы ненавидел плебс! Как он сопротивлялся установлению равенства, вроде только и делая, что служа всеобщему Равенству! И почему же идея не исторгла, не изbleвала его, а, напротив, как бы подчинилась ему, избрав именно Морриса своим представителем? Ведь достаточно было хоть раз в парижском светском салоне поглядеть на колченогого ловеласа, чтобы понять, чего на самом деле ему хочется, о чем истинно мечтается.

— Кто же, по-вашему, мог это усмотреть? — спросил Наполеон. — Те, кто сами мечтали о том же, о чем мечтает всякий... Моррис? Кто вам сказал, что Моррис — исключение, а не правило?

Пейн чуть было не ударил себя кулаком в грудь, но его собеседник улыбнулся:

— Помолчим. Иначе наша старательная переводчица останется голодна. Ведь мы-то жуем и разговариваем, жуем и разговариваем, а ей, бедняжке, пока что не удалось, как я понимаю, проглотить ни кусочка.

Пейн в растерянности взглянул на Маргариту и на свою порцию, будто впервые увидел, а в тарелке уже почти ничего, кроме соуса, не осталось. Что же все-таки он съел?

— Вы знали голод? — спросил у своего долговязого собеседника Наполеон, когда они вышли после сытного, но почти не замеченного ужина. — Одиночество?



Пейн кивал.

— Я тоже,— сказал Бонапарт.

Дул ветер, неся с собой то ли брызги, то ли мелкие, колкие снежинки. Столица мира совсем затихла. Неравной величины три тени, одна из которых напоминала грибок на двух ножках, некоторое время колебались на тротуаре у дверей харчевни.

Наполеон сказал:

— Вы предлагаете вдохновить Англию идеей Свободы. А я считаю, что ее следует задуть блокадой. Одно другого не исключает. С чего начинать?

Пейн открыл рот, чтобы ответить, но ветер рванул, и говорить стало трудно.

— Нам предстоит еще раз увидаться,— сказал Наполеон, как бы прося собеседника не делать сейчас лишних усилий.

Потом он обратился к Маргарите:

— Сердечно благодарю, сударыня! У вас есть дети?

— Трое,— тут же отвечала Маргарита и хотела продолжить: — Один уже совсем...

— Гвардейцы! — весело прервал ее генерал, словно и ее просил не утруждать себя объяснениями.

— *Salut et fraternité!* — с акцентом произнес Пейн. — Привет и братство!

В ответ рука Наполеона коснулась полей треуголки. И маленькая фигурка в полупальто, терявшем с наступлением ночи свой цвет, двинулась от них в темноту.

Директория решила выслушать мнение генерала Бонапарта и почетного гражданина Пейна о борьбе против внешних врагов Республики.

Они шагали рядом, направляясь все к тому же Люксембургскому дворцу, опять ставшему зданием правительственным. Помогать беседе теперь было некому: офи-

циальный переводчик ожидал их по дороге, *у манежа для мяча* (так по старинке называли Конвент), поэтому пришлось почти все время идти молча.

— Знакомый адрес? — с иронической улыбкой спросил своего спутника Наполеон, как только переводчик присоединился к ним.

Генерал имел в виду Люксембург, куда они направлялись и где теперь был не дворец и не тюрьма, а — Директория.

Да, удивительно! Давно ли в полуподвальном этаже, за тремя окнами, Пейн ожидал своей участи? Тогда он думал: давно ли здесь, где, словно тени, они шепчутся о своем туманном будущем, блистали королевские покои? А теперь, идя туда же по вызову правительства, он думает: давно ли дворец служил ему местом заточения?

Директоры встретили их хмуро, будто непрошенных. Особенно мрачен был Сиейс, легендарный аббат. Это он самый, поп-расстрига, сгорбившийся в кресле, как ворон на ветке, подал когда-то изначальную мысль о неизбежности революционных преобразований во имя интересов «третьего сословия». Он провозгласил права простого люда — мастеровых и ремесленников, дельцов и торговцев, добывающих свой хлеб насущный за счет сметки и труда, а не каких-нибудь дармовых привилегий. И уже с давних пор на лице Сиейса выражалось два чувства: сознание необходимости своего присутствия и полнейшей ненужности той процедуры, в которой он неизменно участвовал.

В данный момент Сиейса больше всего тревожило другое. Он страдал хроническими запорами и даже, можно сказать, привык к тому, но за последнее время совершалось нечто экстраординарное, и Сиейс страдал.

Словно сквозь туман идейный вожь демократической Франции видел: какие-то двое, вроде Дон-Кихота

и Санчо Пансы, их приветствуют, затем длинный, худой машет руками и чего-то — ду-ду-ду — бормочет. Что? О чем? Зачем? Кто этот долговязый? От несварения желудка голова у аббата отяжелела до того, что он, право, перепугался за свой рассудок: нельзя ни слова в толк взять! И разум, вроде брюха, ему отказал...

О, это... как его... Пуайнэ! Америка... англича... ах, нечистый возьми его совсем! Разве не отправили его на свидание с Сансоном? Ведь они с ним (да с Кондорсе) составляли Конституцию.

Сиейс было принял Пейна за галлюцинацию, возникшую у него от плохого состояния и тела и духа.

А Пейн, как обычно, говорил на своем языке, по-английски. Рядом, ожидая паузы, чтобы передать те же слова по-французски, стоял переводчик. Не понимая пока ни слова, Сиейс вспоминал, как на том же тарбарском языке Пейн просил за короля...

Нет, не вспоминал. Требуется какое-то особое понятие, чтобы обозначить, что же проделывал Сиейс со своей памятью при виде свидетеля, явившегося как бы с того света. Пожалуй, старался как раз уйти от воспоминаний или же припоминать совсем недавнее прошлое так, чтобы это не ухудшило ему настроения, и без того не наилучшего: составили Конституцию, а потом...

...У решетки Конвента стоял король, бывший владыка Франции. Что означает — у решетки? Какая решетка? Решетка, как вы, наверное, знаете, — это гриль, вертел, на котором готовят жаркое, и если кто-либо не сам приходил, а его, как короля, приводили в Конвент, то уж его вертели, задавая жгучие вопросы и как бы поджаривая, это и называлось *стоять у решетки Конвента*.

Изобретателен был язык той поры, ведь мы уже знаем, сколько разных названий имела, например, «бритва общего пользования», она же гильотина, и как опера-

цию, производимую ланцетом добросердечного доктора, именовали на все лады, говоря то о свидании с Сансоном, то о вековой скале. А со скалы на Капитолийском холме еще древние сбрасывали осужденных, и новая эпоха произнесла: «От Капитолия до Тарпейской скалы совсем недалеко». Хлесткой фразой люди сражались с неотвратимой участью, запечатлевая мгновения, достойные сохраняться в памяти человечества. Сколько сказано! И как сказано! «После нас хоть потоп», «Если нет у них хлеба, то пусть едят пирожные», «Молчание народов — урок царям», «Древо Свободы не растет, если почва не окроплена высокой кровью», «Смерть, без лишних слов», «Террор встал на повестку дня», «Только мертвые не возвращаются», «Сколько злодейств совершается именем твоим, Свобода», «Посмотреть бы, чем все это кончится», «Ничего не забыли и ничему не научились»... Лозунги: «Война дворцам! Мир хижинам!», «Свобода, Равенство, Братство!», «Отечество в опасности!» Документы: Декларация прав человека и гражданина... Учреждения: Национальное собрание, Учредительное собрание, Комитет общественного спасения, Комитет общественной безопасности... И отдельные понятия: старый режим, якобинство, санкюлоты, коммунисты, комиссары, белый террор, красный террор, термидор... Повторяя те же слова, мы не всегда знаем, когда и кем они были сказаны впервые, однако энергия этих выражений не ослабевает. Оказываясь по разную сторону баррикад (хотя, надо отметить, в революцию восемьдесят девятого их еще не было, они возникли главным образом в революцию сорок восьмого, но мы же понимаем, о чем речь), люди сражались еще и словесно: великие эпохи оставляют потомству вечные слова.

Итак, у решетки Конвента — король. Ах, до чего горестное зрелище представлял собой коронованный Слесь, уж, право, слесарь, не более того. Конечно, как

знать, с напильником или с клещами в руках он мог быть удивительно хорош, сообразителен, однако (волею Всевышнего) ему был вручен не напильник и не клещи — судьбы нации. И уж он напил, и уж он насверлил, уж накорезил! Мало ему было ограничений, положенных его уму самой природой, он еще попал под каблук пятнадцатилетней супруги, которая с начала и до конца оставалась чужой в стране французов: «австриячкой» — так и называли ее всюду, при дворе и в любой подворотне. Когда ее собственная мать, герцогиня австрийская, королева богемская, будучи встревожена слухами о поведении дочери, подослала к ней своих доверенных лиц, те напрямую доложили, что поведение и соответственно репутация, так сказать, сомнительные. Это подразумевало не только разврат, которым в ту пору удивить было трудно, но и воровство — присвоение ценностей бесценных, как, например, жемчужного ожерелья, стоившего позора и краха двум банкирам, одному кардиналу и самому Калиостро\*.

А уж граф Калиостро, маг и волшебник, происходивший, по его собственному признанию, от ангела, пусть падшего (и обыкновенной женщины), сквозь стены проникал, читал указания судьбы без запинки, умирал и воскресал по собственному желанию, философским камнем владел и то оплошал, проявив, по сравнению с этой женщиной-девочкой, наивность. Пейн не встречал Калиостро, но слышал о суде над ним.

Даже твердость, которой в последние дни своей жизни низложенная королева сумела восхитить республиканскую охрану, являлась, в сущности, упрямым капризом, все тем же желанием поставить на своем, проявле-

---

\* И давшего Дюма сюжет для романа. Но каким бы мастером сюжетной интриги ни был Дюма, он не только не знал, но и знать не хотел всей низости своих персонажей.

нием мелкой, подлой и, конечно, избалованной натуры. Но в тот раз, в отличие от множества других случаев, добиться своего ей не удалось. Мадам Дефицит!

Говорят, будто слова о пирожных (которые народу следовало бы есть вместо неуродившегося хлеба) ей были приписаны. Ну а история с ожерельем, которое она вымогала, не платя, тоже приписана? «Если нет у них хлеба, тогда пусть едят пирожные» — если ей что-то и приписали, то лишь фразу, формулу, которую у нее самой не хватило бы остроумия и блеска составить. Ведь образ мысли не припишешь. А она всегда думала только так: капризно и цинично. И каков должен быть цинизм, если в ее силки попался Калиостро, сумевший уцелеть в застенках Ватикана!

Что ж, многие, вроде Берка и Ламартина, приложили силы к тому, чтобы выжать слезу изображением Людовика XVI и Марии-Антуанетты в их предсмертные дни. Выжать — точнее не скажешь: объективным изложением их слов и дел ничего нельзя было добиться, кроме гадливо-горестного ощущения, которое испытывали прямые свидетели, когда в Конvente король и королева каждым своим словом показывали против себя. Они делали это походя, невольно, ведь они держались и говорили на допросе только так, как считали нужным. О, господи, были бы они поумнее! Ведь их держали у решетки так долго в надежде, что они наконец скажут что-нибудь, способное вызвать сочувствие. Но чем больше короля обжаривали со всех сторон, тем очевиднее становилось, что он глупец и преступник. Нельзя требовать соблюдения законов от человека, поставленного выше всякого закона. Подобный довод и слышали от тех, кому король был все-таки нужен. Эти люди уже многое получили, они были на гребне, а потому им представлялось, что завоеваний у Революции уже более чем достаточно и пора революцию прекращать, ис-

пользуя в том числе короля, еще имевшего авторитет в народе.

Но тут вскрылась тайна сейфа, и сострадаателям пришлось подумать о собственной безопасности.

Сообщил про сейф слесарь, просто слесарь, который обучал короля своему ремеслу. К решетке Конвента его вовсе не приводили, он сам пришел и проговорился, сообщив, что они, значит, с королем... того... этого... с гражданином Капетом... на пару... заделали в стену дворца, стало быть, железный шкаф. Та-ак...

Из первой же бумаги, найденной в потайном хранилище, выяснилась продажность «льва Революции» Мирабо. «Молчание народа — урок царям» — это Мирабо рычал, и о нем любили говорить, что он отличается независимостью мнений. А ему, выходит, платили из королевского кармана. Но возмездие, которое не замедлило прийти, адресовалось лишь останкам Мирабо: их с позором выдворили из Пантеона. Зато для живых в шкафу треклятом могла таиться опасность самая непосредственная. Как знать, еще кто там числится. Пора кончать со Слесарем. Надо кончать! Прекратить разговоры, и все.

Сиейс помнил все до мелочей, как один за другим на трибуну Конвента — три ступеньки вверх с одной стороны и три ступеньки вниз с другой — стали подниматься депутаты, произнося свой приговор. По очереди. Это была жестокая выдумка Марата — голосовать публично и персонально. Ему-то разоблачений бояться было нечего, зато повидали всех: каждый слышал, что говорил каждый!

Нет-нет, Сиейсу пусть не приписывают лишних слов. Он вовсе не сказал: «Смерть, без долгих разговоров». Он сказал: «Смерть».

Положим, раньше, в прениях и в кулуарах, он высказывал такое примерно мнение, что короля вообще...

можно бы оставить... при конституции, а конституцию составит... кто, как вы думаете, лучше всех понимает в правах граждан? Да, Сиейс собирался требовать «Жизнь!», но дело так повернулось... Не оказаться бы в каком-нибудь списке... Нет-нет, не говорил он «без долгих разговоров», не говорил!

И вот на ту же трибуну взбирается этот... э-э-э... как его?.. Пеупийон и начинает, как сейчас, ду-ду-ду. В собрании — шум, никто ничего понять не может, разве опять же — один Марат, поскольку он у них считался «англичанином» (как почетный гражданин Ньюкасла и доктор Эдинбургского университета). Но в огромном зале, где когда-то шла игра в мяч, а теперь кипели политические страсти, из-за общего говора плохо слышно. Наконец почетный гражданин закрывает рот, и, когда шум немного поутих, заговорил переводчик, и что же? Почетный гражданин Пейн считает, что человек, которого еще вчера величали Людовиком XVI и который сегодня стал просто Луи Капетом, виновен в государственной измене; как проходимец и предатель, хуже того, как вор, пытался он покинуть свою страну; слов нет, означенный Капет — преступник, он — олицетворение гнусности и гнилости Старого режима, которому пришел конец; доблестная нация, французы пошли в счетах с прошлым дальше, чем соотечественники Пейна, англичане, которые еще в семнадцатом веке свергли короля, но потом все-таки вернулись к монархии; нет, на французской земле не будет такого возврата, здесь навсегда покончено с тиранией, так пусть же Республика покажет великодушные и...

Тут при постепенно воцарившемся гробовом и напряженном, как тетива, молчании вскакивает, словно на пружинках, Марат: «Пейн не мог такого сказать! Перевод неправилен!» Начался спор о том, не отправить ли под бритву переводчика, но Сиейс уже не мог при-



помнить, когда в точности «друг мартышек» (так за мимику, подвижность и за то, что — ветеринар, называл он Марата) кричал про перевод, в тот раз или же на другой день.

Сначала Марат, кажется, объявил: «Пейн не имеет права голоса! Он — квакер!» И поднялся спор: что за квакер? Пока выясняли, правда ли, что это секта, отрицающая смертоубийство, заседание Конвента застопорилось.

Из-за Пейнова вмешательства судьбу короля обсуждали еще чуть ли не трое суток, и уж не вспомнить в точности, по первому ли разу или по второму что именно было.

В общем, на трибуну поднимается Пейн, бормочет, все ждут, пока доложит переводчик, потом вскакивает Марат — и начинают обжаривать, обсуждать Пейна.

А не подарил ли ему король трость с золотым набалдашником? Да, подарил. Но за что и при каких обстоятельствах? Это было во время первой поездки Пейна во Францию, за восемь лет до начала Французской революции. Это был символ, скреплявший готовность еще королевской Франции поддержать уже революционную Америку. Не говоря о том, что трость вскоре украли...

У Пейна, как припоминал теперь Сиейс, мотив был такой: король Франции первым протянул руку помощи американским повстанцам, среди которых находился лично он, Пейн, и которые, как он может засвидетельствовать, хранят чувство признательности королю за оружие, с каковым они пошли в бой против британского изверга. «Так вышлем Капета в Америку!» — предлагал Пейн. «Пора выяснить с этим Пейном», — подумал тогда Робеспьер.

Но для Сиейса главное заключалось не в том, что предлагал Пейн. Аббата бесили мотивы почетного гражданина, поскольку были подлинны. Когда Сиейс,

решая судьбу короля, сказал: «Смерть!» — он заботился о своей жизни, а когда Пейн вступился за короля, он действительно вступился за короля. Как свидетель чужой переменчивости, этот Пейн всех раздражал (мягко говоря) своим постоянством и прямоотой.

Одни делают историю, а другие пожинают плоды, ныне мрачно думал Сиейс. Ясно как божий день. Разные люди! И кто исполнил свою роль, те ушли... Или же стали иными. А этот неудобопроизносимый, прямой, как палка, господин... э-э-э... гражданин вдруг опять оказался на сцене. А в какой роли? Ненужное звено эволюции, определил бы его Ламарк, профессор кафедры рыб и червей.

«Профессор кафедры червей, — про себя еще мрачнее повторил Сиейс, — уж он бы его определил».

Так о чем же этот Пуайнэ теперь толкует? Поседел. Совсем высох. Видно, язву заработал, с удовлетворением отметил аббат. И он стал готовить ядовитую фразу: «Рекомендации господина... виноват, гражданин... виноват, почетного гражданина... э-э-э... Пуопена... всегда и ему, и нам шли на пользу».

В порядке реприза Сиейс хотел протянуть «э-э». Он соображал, как похитрее изувечить нелепую фамилию — Пе... пи... пу...

Тут Пейн умолк.

Заговорил переводчик.

Сиейс насторожился.

Вроде бы ко всему готовый, он мгновение спустя не верил своим ушам: неужели кто-нибудь в трезвом уме может сейчас говорить такое? Не-ет, наверняка перевод непра...

«Идеи мировой Революции не знают преград, — монотонно произносил толмач, способный с тем же сочувствием пересказать полицейский протокол. — Знамя Свободы взвилось за океаном. За Америкой последовала

Франция. За Францией — Ирландия, неудачи не должны смущать нас. Даже на бескрайних просторах России, как ни мало мы знаем об этой обширной стране, говорят, раздались призывы к Разуму. Настал черед Англии. Когда-то, еще раньше прочих народов, британцы сказали слово Свободы, но было это так давно, что они сами, кажется, стали забывать об этом. Готова ли Англия с дружеской помощью наконец воспрянуть духом?»

И в животе, и в голове у Сиейса начались спазмы. Не мог он больше слышать таких слов! Эти Англия с Ирландией, эта Америка и еще какая-то Россия, да пропади они пропадом, когда думать надо о себе! Поддерживать их может только безумец, ибо это означает поднимать нечто такое, что на нас же самих обрушится.

Сейчас те, кто обогатиться успел, страшатся старого, не хотят нового, получили от Революции достаточно и думают лишь о том, как бы не пришлось нахватанное отдавать обратно, прежним хозяевам, или, того хуже, делиться своим добром с очередными претендентами. Разве не донесли лазутчики, что англичане готовы снабдить оружием недовольных по всему северо-западу Франции, в Бретани? Прикиньте на секунду, что означало бы торжество недобитых сторонников французского короля и тупых крестьян-издольщиков: вернулись бы владельцы земель и замков, где уже успели — хе-хе-хе! — расположиться другие хозяева. Нет-нет, во имя всеобщей Безопасности, нельзя больше допускать мятежей.

Нынешнее положение вещей представлялось аббату вообще так: беспорядочная толпа устремляется прямо на него, а он устроился здесь, в кресле, и ему, как во сне, хочется и не хватает сил крикнуть: «Куда же вы прете, граждане?!» Смутно, опять же как во сне, вспоми-

нал он свои собственные призывы к тому, чтобы... чтобы дать... права... этому... как его... le peuple simple... простонародью. А выходит, им сколько ни давай, все мало! Рожи... эти рожи... рыла.. прут и прут.. их неисчислимо много... и... и... всем права? Опомнитесь! Остановитесь!!!

Сиейс не слушал уже и того, что бубнил переводчик. Давным-давно все это известно и может приниматься всерьез разве что простодушными идиотами, вроде этого Пе-пи-пу, а у него самого, бывалого вдохновителя преобразований, подобные словеса вызывают лишь привычную боль во всем организме, как запор.

Сиейс снова стал рассматривать почетного гражданина. Эх, Пуайнэ, месье Пуайнэ... Как и другие пентархи (члены «пятивластия» — Директории), искавшие, что называется, трапа, чтобы первыми сойти с того корабля, на мачте которого когда-то взвился флаг «Свобода! Равенство! Братство!», Сиейс испытывал в отношении к Пейну чувство, похожее на раздраженную неловкость, овладевающую хозяевами дома, когда им неизвестно, как распрощаться с навязчивым гостем. Как, проще говоря, от него отделаться? Уже умолкло пиршество. Время тушить огни. Надо поднять другие знамена. А гость все не уходит. Мало того, вроде и не собирается уходить. У него на лице все то же оживление, с каким он явился, он изъявляет готовность поддерживать, как и прежде, общую беседу. Боже, шел бы ко всем чертям! Как он не понимает, что надо ложиться спать и вообще пора переходить к иным занятиям и заботам? Подумать только, чем у него голова занята... Выбрал же время и место обо всем об этом толковать!

Сиейс оглянулся на прочих пентархов и увидел, что они нашли выход из положения: не слушают. Кто углубился в бумаги очередного дела, кто погружен в свои собственные мысли. И Сиейс, если бы утром сработал

у него желудок, сейчас бы размышлял о грядущем обеде, составляя меню по вкусу, обдумывая каждое блюдо и заменяя одно другим. Нет, и помышлять о еде не приходится, за исключением какого-нибудь отвара, о котором думать еще более невыносимо, чем слушать бредни о Счастье Человечества. Охо-хо! Англия да Ирландия, Россия да Америка... Дьявол бы их взял!

Он сделал попытку заняться рассматриванием заседавших вместе с ним. Пентархи... Однако знакомые до морщин лица возбуждали желчь еще сильнее.

Стоит только взглянуть, например, на красно-голубые глаза, еще до конца не раскрывшиеся после «вчерашнего», набрякшие под глазами серо-зеленые мешки, которых не скроет никакая пудра, стоит только вникнуть в это зрелище, всмотреться в это лицо, как начинает казаться, будто глядишь в бездонную и бескрайнюю помойную яму, куда свалено все: надежды и помыслы, идеалы, страсти — честолюбие, не знающая насыщения алчность и... похоть, похоть, похоть. А ведь это первый директор Баррас.

Почему не разверзнется под этим проспиртованным телом земля и не поглотит его? Как же так? Он ведь обкрадывал Революцию, тащил все и отовсюду, где только можно было хватать и тащить какое угодно имущество, хоть движимое, хоть недвижимое, брал взятки (и какие взятки!) за все и ото всех, где только удавалось (и где было нельзя!) взять, подкупал всех и всюду, где только можно (и невозможно!) было подкупить. Почему же под ним, отяжелевшим от ворованного добра, от выпитого вина и поглощенных яств, не проломится, наконец, твердь земная?

Но у Сиейса уже не осталось никакой веры в благость, небесную или человеческую. Не проломится, не разверзнется — не воздастся! И этот пропитой, обожравшийся, из...ся боров, облаченный в шутовское одеяние:

плащ римского legionера и пояс с мечом (сшито по эскизу самого Давида), будет попирает землю и любые понятия о чести и совести до тех пор, пока не рухнет, не падет под собственной тяжестью.

А Фуше? Вот он, цепной пес, волк, почему-то при являвший облик человеческий. Тоже, между прочим, расстрига, полурасстрига, ибо в свое время до конца так и не исполнил всех обетов, чтобы принять монашество. Монах! Его называли: не член, а клык Директории (он формально в состав директоров не входил).

Бальзак и тот сказал о Фуше: «До сути таких людей не доберешься». Сторонник жирондистов (до их падения), затем — глава (!) Якобинского клуба при Робеспьере и шеф полиции при Наполеоне. Он примыкал к умеренным, однако проголосовал за казнь короля. Став ярким якобинцем, отправился усмирять антиреспубликанский мятеж в Лионе и усмирил со столь неразборчивой, до того бессмысленной жестокостью, что земля под Фуше должна бы гореть, как сам он испепелил мятежный город. И Робеспьеру, и Наполеону служил он так, словно являлся одновременно их преданнейшим сторонником и худшим врагом. Ведь Фуше не просто менял одну за другой личины. Надев очередную маску, заняв новую позицию, он эту самую позицию в конечном итоге и подрывал.

Надо признать, Пейн тоже изумился, когда, разглядывая сидевших перед ним, увидел: «Фуше! А Людовик? А Лион!» Пейн еще к тому же не знал, что Фуше только что раскрыл Заговор Равных, то есть предал первых коммунистов, ибо считался другом Бабефа, главного среди заговорщиков.

Придет время, и Фуше за спиной самого Наполеона вступит в переговоры с Меттернихом, и Бонапарт падет, а Фуше будет назначен временным правителем Франции. В одном лице являлся он противником Бурбонов

и энтузиастом их возвращения. Всюду и всегда он действовал «во имя» и тут же «вопреки», как сила и смерть любого дела, к которому примыкал, в которое проникал. Портфель министра полиции к нему возвращался трижды, и этому коловращению, кажется, не было конца, если бы во Францию вдруг не вернулись люди, которые послужной список Фуше помнили с самого начала: как он голосовал за казнь короля и каких людей отправлял на эшафот. Пришлось ему убраться сначала в Дрезден, а потом в Триест, но, разумеется, титул герцога Отрантского, полученный им из рук Наполеона, и, главное, огромные средства, приумножаемые им при всех правительствах, обеспечивали ему вполне комфортабельное существование.

И аббат Сиейс, и гражданин Пейн рассматривали Фуше задолго до его окончательных итогов, но, как и Моррис, он уже достаточно себя показал, чтобы они могли судить о нем вполне определенно.

А как он одет? Как одет! Еще один шут гороховый.. Жилет красный, панталоны желтые и высоченные сапоги а-ля Суворовф. Вырядился, выродок, вурдалак.

Сиейс собирался отвести свой взгляд от Фуше, но.. но словно какая-то помеха или заклепка мешала ему повернуть голову: следующим сидел Талейран. Если Сиейс презирал Барраса, как существо низшего разбора и до конца понятное, если Фуше он тоже презирал и отчасти остерегался, то Талейран... Это был, если угодно, тот же Фуше или, скорее, Фуше был лишь грубой копией, приблизительной подделкой Талейрана: злоба та же, изворотливость та же... Отличить их друг от друга можно было по уму, который у Фуше был лишь дьявольской хитростью, соединенной с убожеством души, а Талейран? О, Талейран — натура незаурядная. Столь незаурядная, что Сиейс, считавший себя проницательнее всех на свете, не мог его, как говорится, раскусить.

Чувствуя себя в ловушке (взглянуть некуда!), он повертел головой в разные стороны, и взгляд его упал на фигурку в сером сюртуке, напоминавшем полупальто. Как раз в этот момент Баррас, откашлявшись, прохрипел: «Слово за вами, генерал!»

Этого военного Сиейс уже давно приметил. Запросы у него, видно, тоже немалые! Уж не меньше как в маршала метит, решил бывший аббат, измерявший амбиции других на свой аршин.

И Сиейс усталился на Бонапарта.

Сделав шаг в сторону от своего партнера, Наполеон произнес:

— Полторы тысячи вооруженных лодок, и можно будет начать блокаду.

Так блокада или Свобода? Что, брат, Пейон? Сиейс наконец огляделся и по лицам всех присутствующих понял, что они думают о том, как разойтись. Конечно, за исключением почетного гражданина.

Не понимая речей, Пейн смотрел вдаль и ожидал, когда его поставят в известность о мерах дальнейшей борьбы за всеобщую Свободу. Он был несколько удивлен, когда после коротких, отрывистых фраз генерала, с которым, как он считал, они представляли Директории один и тот же план, пентархи энергично зашевелились, будто и правда решили действовать сейчас же. Мимо него, впереди него, несколько растерянного и озадаченного одновременно, быстрым и не вполне ему понятным оборотом дела (куда же они?) проходили, как на параде, сгорбленный ворон Сиейс, в блестящих ботфортах, хромающий (напоминающий Морриса) Талейран, в римском плаще Баррас...

Бонапарт, однако, дожидался своего спутника. Он сказал Пейну, что за ними еще пришлют, а больше, поскольку переводчик не собирался их сопровождать, им говорить друг с другом было невозможно. Наполеон,



в очередной раз сделав жест рукой, который можно было принять и за приветствие, и за прощание, и за попытку просто отмахнуться, вышел из зала заседаний.

На улице Пейн оказался уже один. Толпа вокруг не была ни такой многочисленной и кипучей, как в первые дни Революции, ни такой разобщенной, то яростной, то растерянной, как в те времена, когда одна за другой каждую ночь громыхали телеги в сторону Гревской площади. Мимо поспешали люди, у которых на лицах была написана прежде всего озабоченность. «Ах, не суйтесь не в свое дело!» — словно хотел сказать каждый.

Добравшись к себе домой, вернее в дом Бонвилей, Пейн приступил к делу. Как они с Наполеоном условились (так считал Пейн), он взялся за перо, а верный пейнист Никола де Бонвиль встал к типографскому станку. Уже через несколько дней их газета «Верный вестник» начала из номера в номер оповещать своих читателей о скорейшей высадке французских войск в Англии. Во имя Свободы! Тот же клич подхватили и другие газеты, и скоро пресса запестрела именами Пейна как вдохновителя и Наполеона как руководителя революционной кампании.

Пейн воспрял духом, ему снова стало казаться, что он — в центре событий, как прежде, что пульс, которым бьется сердце общества, его пульс. В те дни он любил пройтись по парижским улицам, всматриваясь в лица прохожих и стараясь угадать: читали? Усвоили уже они его слова, возвещающие новый этап в борьбе за Свободу? Возродились в их сердцах надежды на торжество Справедливости?

Как-то однажды, неподалеку от улицы Французского театра, Пейн встретил одного пейниста, молодого человека, очень молодого, который когда-то готов был отдать за него жизнь, чтобы спасти от преследований и заточения. Эту чрезмерную преданность Пейн приписывал

неуравновешенности характера, и действительно, юноша почему-то делал попытку покончить с собой, произносил не вполне вразумительные речи, его судили, а потом поняли, что его место скорее в больнице. Пейна трогала его привязанность, и все же он несколько сторонился этого своего приверженца, понимая болезненную подоплеку его пылких чувств.

Жил молодой человек как бы во всем Париже сразу, нигде и везде. Жил всем Парижем, всеми известиями, слухами, спорами и новостями.

Увидев Пейна, он радостно улыбнулся, припал к его плечу и прошептал:

— Французская армия отправляется в Египет.

Бред? Пейн отшатнулся, вглядываясь в лицо говорившего. Оно было, как всегда, возбужденное, глаза горели, но каких-либо признаков расстройства заметить было нельзя. Таково сейчас было лицо самого Парижа.

Молодой человек приблизился к Пейну вплотную:

— Войсками назначен командовать генерал Бонапарт.

— Я знаю Бонапарта! — от неожиданности почти выкрикнул Пейн.

Теперь уже его собеседник сделал шаг назад и окинул восхищенным взглядом, подтверждавшим: «Ну конечно, такой человек, как вы, должен быть другом такого человека, как Бонапарт».

— Это он поднял знамя на Аркольском мосту? — словно желая удостовериться окончательно и испытать еще больший восторг, спросил молодой человек.

Молодой человек вспомнил про Аркольский мост, желая подчеркнуть, что встречу с Пейном он ценит как нечто уже историческое, достойное вечной легенды. И, чуть задышавшись, пламенный пейнист повторил:

— Он? Арколе?..

Юноша как бы подсказывал Пейну необходимость тут же произнести некое слово, имя, название, которое

бы точно так же, как «Арколе» или «Тулон», раз и навсегда обозначило момент бессмертия. Нужно не дрогнуть при Арколе, вашем собственном «Арколе», нужно взять штурмом свой «Тулон», а в скором времени прибавятся «чумные в Яффе» (презрение к опасности, какое показал Наполеон, осматривая зараженных) и взойдет, наконец, «солнце Аустерлица» — такой рецепт величия получит девятнадцатый век.

— Это он?

«Это он две недели тому назад вместе со мной докладывал Директории о десанте на Британские острова», — хотел было ответить Пейн, но усомнился в собственном рассудке. Может быть, он ослышался? Может быть, есть еще другой генерал Бонапарт? Кто же в таком случае говорил о канонерских лодках? Или перевод был неправильным?

Молодой человек, разумеется, не мог ответить на подобные вопросы. На те же вопросы тогда никто бы не смог ответить. Пейн перестал ходить по улицам.

А уже весь Париж говорил о египетском походе и о генерале Бонапарте. И еще говорили про газету Пейна — Бонвиля: «Вот вам и «Верный вестник», хорош информатор!»

Весь обсыпанный нюхательным табаком Пейн сидел у себя в комнате среди бумаг, книг и моделей. Он сделал попытку погрузиться в свои технические проекты, но отныне они настолько сплелись в его сознании все с тем же Бонапартом, что как лекарство для души не действовали. Уже ничто в тот момент не могло отвлечь Пейна от мыслей о политике. Что происходит? Куда поворачивают события? Как все это следует понимать? Маргарита исподволь за ним присматривала: нет ли там первой, второй и... третьей?

Впервые в жизни говорил Пейн одно, а получилось совсем другое. Его даже спрашивали: «Вы с генералом

сговорились?» И если бы на месте Пейна был не Пейн, то, сделав выгоду из убытков, мог бы вывернуться и сказать, что таков был план: для отвода глаз Англия, Ирландия, а на самом деле Египет. Разве это не удар по тем же англичанам, только с тыла? «Только не имеющий отношения к делу Свободы!» — говорил внутренний голос, голос Разума, с которым Пейн спорить не привык. Пейн имел обыкновение сам говорить этим голосом, черт возьми.

Утешить Пейна способен был лишь Фултон. Инженер-изобретатель приходил к нему вместе с Барлоу, и поэт-коммерсант читал свои стихи, а поскольку Пейн тоже грешил стихами, уже это несколько отвлекало его от политики. Разговоры не о том, о чем говорил весь Париж, успокаивали почетного гражданина. Но Барлоу был стихотворцем преимущественно политическим. Чудесные вирши он мог сочинять и про пудинг, однако главное для него составляли все те же идеи Свободы и Справедливости. Зато Фултон строил тогда свой «Наутилус» — нечто невиданное и даже, по мнению многих, невысказанное: подводную лодку!

Позвольте, почему же невиданное? Как же так, невысказанное? Ведь еще во времена Войны за Независимость один америка...

Фултон не любил узнавать о том, что те же изумительные идеи приходили в голову кому-то еще. Поэтому Пейн подзадоривал его — отчасти ради успокоения собственного изобретательского честолюбия, — напоминая о предшественниках.

Правда, о них забыли так прочно, будто ни проектов, ни людей, которые пытались их осуществить на свой страх и риск, никогда не существовало. А они жили-были: Пейн видел их мысленно, как сейчас, при малейшем усилии памяти.

Вот Бушнел, Эзра Бушнел, изобретатель секретного ору... Нет, изобретателем был его брат — Дэвид. Кажется, так: Эзра и Дэвид, братья Бушнел из Коннектикута. Один поменьше ростом, щупленький, а другой — крепыш. Тот, щупленький, смысленный был. Подводный порох выдумал: горит себе под водой, и все тут. Никто не верил, пока на опыте всем не показали. Пейн тоже изобретал порох, однако он подавил в себе чувство ревности и с интересом, хотя бы по слухам, следил за этими опытами.

С началом революционной войны Дэвид Бушнел удивил всех еще больше, предложив построить аппарат, который будет плавать под водой.

На лице у Фултона в этот момент Пейнова повествования (а повторялось оно не однажды) возникало выражение, состоявшее из смеси недоверия с неприязнью.

— Чудо! — тем временем восклицал Пейн. — Чудо!

Он кричал «чудо», заглушая внутренний голос, вызвавший к Разуму ради совсем других проблем, и тем восторженнее Пейн рассказывал о «Черепaxe».

Да, «Черепаха» — так назывался поистине невиданный плавательный аппарат: два панциря, сложенных вместе. А воздух? Чем дышать? Воздуха в «Черепaxe» хватало на полчаса. Двигалась она пусть не скоро, но двигалась — педалями. Правда, изобретатель, щупленький, не мог ею управлять, силенок у него было маловато. Зато он уговорил брата научиться. Тот послушался, и подводное оружие было готово служить революционной армии: Америка победила бы еще до начала войны.

— А почему же война все-таки началась? — с ядом и яростью в голосе вопрошал Фултон, знавший наперед развязку истории и все-таки каждый раз терявший терпение.

Опять же нужны были деньги, их просили все у того же Конгресса, заседавшего в Филадельфии. Про-

сили по почте, почтарь оказался противником Независимости. «Скоро ваш флот взлетит на воздух», — сообщил он английскому командованию. В секрете «Черепаху» удержать не удалось.

Так беседы о былом отвлекали их от тревог сегодняшних.

Потом Пейн собрался съездить в Бельгию: у него друг, с которым они познакомились в подвалах Люксембурга, стал там, в Брюгге, городским головой.

Друг принял его прекрасно. Между ними, в отличие от взаимоотношений с Фултоном, не было скрытого соперничества. Напротив, одно союзничество: взаимопонимание двух, чудом выживших людей. Они рассказывали друг другу о том, что оба видели своими глазами, что испытали на себе, — рассказывали вновь и вновь.

Как при свете очага Пейн обменивался записками с ирландцем; как подходили к нему один за другим республиканцы, и кто приносил ему свои извинения, а кто произносил на прощание исторические фразы... Как стучали в дверь дворца-тюрьмы, приведя туда Робеспьера. И если Пейн не слышал стука, то его собеседник слышал, что давало ему повод и право раза три подряд за один и тот же вечер рассказать об этом. Со своей стороны собеседник Пейна в свое время понятия не имел о том, как Пейн остался в живых. И Пейн рассказывал и рассказывал, как дверь открытая оказалась принята за дверь закрытую и был не замечен роковой знак...

Однако не успели они погрузиться в общие воспоминания и тем самым измерить ход событий, как в Брюгге пришла еще одна фантастическая новость: бросив армию, Бонапарт бежал из Египта! А потом еще пуще: переворот! Очередная Революция! Или контрреволюция?

Как это назвать; как понять, если правительство низложено, советы упразднены, и вся власть передана Бонапарту, а он назвался консулом, Первым Консулом, впрочем, пока не только первым, но и единственным?

— Я зна... — хотел было Пейн поделиться с другом своими недавними воспоминаниями о новом владыке Франции, но усомнился, кого же он, собственно, знает, с кем провел целый день, сидел в трактире за одним столом, дружески прощался на улице, а потом выступал в Конвенте. С кем?

«Кучка жуликов у власти оказалась сменена диктатурой», — со временем скажет Стендаль. Что касается жуликов, то Пейн сразу мог бы сказать то же самое, но вторая часть этого уравнения была для него неясна.

Надо было поскорее вернуться в Париж и своими глазами взглянуть на события. Но тут пришло письмо от Маргариты де Бонвиль: типография в очередной раз закрыта, муж арестован. А все лишь из-за того, что назвал Бонапарта Кромвелем. Ничего плохого Никола не имел в виду. Разве следует оскорбляться сравнением с вождем, пусть чужой, Революции? Но при таких обстоятельствах и самому Пейну, пожалуй, лучше уж где-нибудь переждать, пока обстановка не переменится.

Чтобы Томас Пейн испугался? Он, шедший в первых рядах борцов двух Революций? Да, ружья взять в руки он не мог — квакер, но пламенные строки «Здравого смысла» он писал на боевом барабане, при свете солдатского костра. Пусть он просил за короля, но разве он пытался спасти свою собственную жизнь в пору самого жестокого террора?

«Я знаю Бонапарта, и я с ним поговорю», — твердо решил Пейн.

На каком основании арестовации подвергся де Бонвиль? Каковы претензии к «Верному вестнику», если

революционные идеи он распространяет с момента своего возникновения? Что, в конце концов, происходит?

На первый вопрос Пейн получил ответ еще в пути, узнав, что, за исключением лишь нескольких, запрещены почти все газеты: примерно шестьдесят из семидесяти. Иными словами, разноголосому хору, если не вторит он властям, велено помолчать.

Второй вопрос разрешился, когда на парижских улицах Пейн вместо взрыва революционного энтузиазма увидел плакаты: «Хотим Спокойствия!», «Мы за Порядок, при котором сытно!»

После всего, что Пейн успел увидеть и услышать, еще один ответ окончательно поставил почетного гражданина в тупик.

Ему встретился закаленный в боях воин, который рядовым ополченцем брал Бастилию, а теперь был в чине генерала, и чуть не со слезами умиления на глазах ветеран проговорил: «Возвращаются лучшие времена!»...

Лучшие времена — чего? Для кого? Ведь говорил не юноша какой-нибудь, способный упасть в обморок от избытка чувств. Воин слышал и свист пуль, и скрежет гильотины, видел подъем и падение общих надежд. Это был такой же, как и Пейн, солдат Революции. А как его понимать?

Пейн, право, не знал, чему верить. Хроника дней была до того пестра и противоречива, что над каждой новостью приходилось ломать голову. Порядок вроде бы налаживался, но как-то однобоко, выборочно. Несколько крупных преступников отдали под суд, зато свободно вели себя еще большие грабители и мздоимцы. Почему им покровительствует Закон? А если в самом деле наступил новый расцвет Революции, если хотят вспомнить о республиканских принципах, то зачем же добивают последних революционеров-якобинцев? Это же



горького смеха достойно, что, пугая опасностью реакции, искореняют даже жалкие остатки революционности.

Пейн пошел на прием к Первому Консулу. Лица Талейрана и Фуше, которые он там сразу увидел, не могли его особенно воодушевить. Все же он решил не отступать.

В приеме ему не отказали, однако дали понять, чтобы почетный гражданин сейчас на глаза не показывался: не до него!

Покидая дворец, Пейн подумал: один раз его доставили сюда под стражей, один раз пригласили, а теперь — прогнали. Каков итог?

Но уже через дня два Никола де Бонвиль вернулся домой. И после того Пейн горделиво прошелся по комнатам, как бы глядя на самого себя со стороны и приговаривая: «Я все же знаю Бонапарта!»

Мало этого, «Верному вестнику» вернули разрешение печататься. А Пейн испытывал настоящую потребность высказаться по поводу международных дел: тут тоже совершалось немало непонятного.

Французы перехватывали американские торговые корабли, делая это так же, как это делали их вроде бы злейшие враги — англичане. Пейн решил обнажить очевидное нарушение принципов, которые должны роднить два республиканских государства, два очага Свободы.

Пейн, как обычно, рассуждал широко и ясно. Он напоминал о принципах, за которые на протяжении последнего полувека боролись самые светлые умы человечества.

Все это они вместе с Никола печатали на страницах в который раз ожившего «Верного вестника».

И вот однажды Маргарита де Бонвиль отворила на стук дверь, а у порога стоял военный курьер.

— Где господин Пейн, мадам?

Маргарита, обернувшись, бросила быстрый взгляд через плечо, чтобы удостовериться, чем занят ее квартирант, и не успела она произнести «пожалуйста», как Пейн вышел навстречу неожиданному визитеру.

— Салют и братство! — с акцентом произнес он.

Не отвечая, офицер протянул ему пакет. Правительственный! Пейн обвел победным взором все стены, как бы жалея, что здесь мало присутствующих, способных разделить с ним минуту его полного исторического торжества, ибо что еще могло содержаться в пакете, кроме вызова или же просьбы оказать новому правительству помощь своим мнением и опытом?

Пейн даже не заметил, как курьер взял под козырек и удалился. Вскрывая пакет, почетный гражданин будто сию минуту слышал, как генерал Бонапарт спрашивает его о лишениях и бедности, как они толкуют о Моррисе, прекрасно понимая друг друга. «Известная публика!» Ясно слышались Пейну эти иронические слова и виделось бледное лицо с презрительной гримасой. Положим, такого рода публика и прихлынула к подножию пьедестала новой власти, но вот же, и Пейна призывают...

Очами души автор «Здравого смысла» и «Века Разума» отчетливо видел где-то у своего плеча маленькую фигурку в сером полупальто и треугольной шляпе. Есть нечто комическое в этой фигурке. Что-то просто смешное! А сила! Нет, какая оказалась в нем сила, и вот эта сила, чувствуя сложность момента, вызывает к политической опытности, вооруженной к тому же гражданской честностью. Пейн мысленно уже видел себя во главе или пусть в составе какого-нибудь небольшого, но отборного, авторитетного комитета, и они, как на заре Революции (как с Кондорсе), обсуждают Права Человека. Составляют доклад, указывая на злоупотребления против

Личности, Государства, Общества, злоупотребления вроде бы уже немыслимые, однако наблюдаемые, увы, в нынешние дни. И предлагают ряд мер. Первый Консул рассматривает их предложения и убеждается в том, что...

Пейн даже еще не сказал самому себе, какие будут меры и чем привлекут они верховного, но словно само собой ему представилось, как они с Консулом встречаются, и опять видит он эту смешную, чем-то трогательную фигурку маленького человечка с большой властью, вспоминают они общие битвы и общих, уже поверженных, врагов.

Пейн развернул бумагу из пакета, точнее, держа некоторое время бумагу развернутой и ничего за пеленой собственных мыслей не видя в ней, наконец прочел...

Нет, конечно, Маргарите пришлось помочь ему и прочесть:

«Полиция поставлена в известность о том, что месть Пеине своим поведением нарушает Порядок, а потому при первой же очередной жалобе на него будет он отправлен обратно в Америку, его страну.

Наполеон Бонапарт,  
Первый Консул Французской Республики».

## ПЕЙН О РОССИИ

### БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ

Воспользуемся паузой, дорогой друг, и приведем высказывания Пейна о нашей стране, чтобы не возникло подозрений, будто его речи о России нами выдуманы.

О России Пейн говорил уже в «Здравом смысле», отмечая, что наша страна богата природными ресурсами, но, к сожалению, не имеет выхода к морю, чтобы торговать ими (напомним, что это было написано в 1776 году).

В конце 1780-х годов, когда шла русско-турецкая война и Суворов с Ушаковым одерживали победы, Пейн писал из Лондона в Париж Джефферсону, который находился во Франции в качестве посланника: «Враждебность к России в этой стране,— Пейн имел в виду Англию,— столь же сильная, как некогда она была в отношении к Америке, только теперь она доведена до крайней злобы и грубости. Что слышу я в разговорах, то превосходит печатаемое в газетах. Здесь злобствуют и пугаются каждому успеху, достигаемому русскими, и завистливо верят всякому невероятному слуху, доведенному до нелепости».

Писал Пейн о нас и отвечая аббату Рейналю, известному историку. «Достоинно внимания,— отмечал Пейн,— что Россия, о которой еще несколько лет тому назад мало что знали в Европе, в значительной степени обязана своим нынешним величием той заботе, каковую она уделила, и той поддержке, каковая ею была оказана, всем областям науки и знаний».

Есть у Пейна и другие высказывания о России и русских, но пора нам вернуться к нашему соотечественнику, стоящему над опустевшей Пейновой могилой.

## ДЖОН И ФОМИЧ

### ПРИЗНАНИЯ ЭНТУЗИАСТА

...И вновь уставились на меня эти двое, что оказались у опустевшей могилы. Все спрашивают: «Кто таков?» Говорю: «Русский». А они либо не верят, либо в толк взять не могут. Опять пытаются: «Кто ты есть?»

Легко спросить — тяжеленько ответить.

О, поведать бы им, кто я и откуда, каково наше семейство, как мы от деда к внуку занимались извозом

и как через это узнал я *русского американца* Федора Васильевича \*. Они все сами, его родня, были ямщики, петербургские и московские, затем купцы, но от своего прямого дела он отстал и пошел по ученой части, хотя муками, лишениями ему это далось. В одной Франции тринадцать лет в полупроголодь прожил; двадцать два месяца, не меньше, по Северной Америке скитался. О себе он понимал высоко и считал не ниже Ломоносова, однако той же фортуны ему в жизни не было. Языков всевозможных узнал он с полдюжины и до того, рассказывал он мне, в них вникал, даже родною речью пользовался с трудом.

С женою жил врозь. Из Парижа он ее вывез, была она вроде как наши белошвейки, а у нас, в России, жила в гувернантках. Федор же Васильевич — при Адмиралтейской коллегии толмачом. Свое хозяйство завести у них на то средств не имелось. Это же на удивление, как посмотреть: человек — ума палата, а в той же палате сидел на одном из последних мест!

А почему? Разное говорили. И отец от обиды, что свое дело бросил, наследства его лишил. И с разными неблагонадежными людьми, бунтовщиками, вроде Радищева, замечали его в связи. И, понятно, гордость.

Со своим братом, с нами, держался очень даже просто. Да и так с лица посмотреть — мужик мужиком. А учен! Сильно сведущ был. За чайком вечерок с ним посидеть, словно академию пройти.

А я узнал его через своих. Как лоб мне забрили, отец мой, ямщик с Покровки, и говорит: найдешь там на службе Федора Васильевича, передай поклон и пушай приветит он тебя.

От него-то я и услышал про Пайнова (он малость по-другому имя его выговаривал, ну да пустяки)

---

\* Речь, видимо, о Ф. В. Каржавине (авт.)

Поначалу ни к чему мне это было Пайнов и Пайнов — мало ли на свете людей, хотя бы и стоящих, всех не узнаешь. А вот как сам я за океаном-то очутился, тут меня и ударило: где Пайнов?

В Америку попал я таким путем. Через плен. Об этом я толковать сейчас не стану, но скажу: был ранен в тринадцатом годе под Лейпцигом, засим оказался в Лондоне. Как оказался, история тоже долгая, дальше история была обычная: наняли меня, хмельного, на судно. Проснулся уже в открытом море.

Судно было каперское. Стало быть, нам на дороге не попадайся, и мы держали ухо востро. Назывались мы «добытчиками», или, по-ихнему, «господами удачи». Флаг у нас на мачте был, как положено, форменный. Капитан от своего короля патент имел на охрану британских морей. Охрана же наша была такая: кого встретили, того цап-царап. Француз, гишпанец, американец — все считались нашей законной добычей. По-ихнему, приз. Взяли приз — и давай бог ноги.

А мы сами в лапы к американцам угодили. Встретился их военный фрегат: пушки навел, куда денешься? Привезли нас под конвоем в город Бостонск.

Об американских краях мне и Федор Васильевич много рассказывал. Он же их пешим исходил. До Бостонска от самого Джемстауна, Виргиния то ж, через Филадельфию и Новый Йорк на своих двоих отмахал. Благодаря исключительно неунывающему расейскому характеру, так он говорил.

А за океаном в те поры была война. Федор Васильевич стороной шел, минуя позиции, а иногда в лесах среди индейцев скрывался. К тому же языка аглицкого, на котором и американцы изъясняются, он тогда еще почти не знал. В дороге и выучил. Смышленный был!

Как он на Пайнова напал? А выпустили тогда американцы бумажные деньги. Чистейший обман. Пыль на

ветру. Что в одной губернии (по-ихнему, штат) стоит двенадцать, то в другой — сто пятьдесят. Да что же это делается, думает Федор Васильевич, дом горит, а никто не видит. Тут и попади ему книжица, где все это по правде сказано: обман есть обман, а разве можно теперь людей надувать?! Кто писал? Здравый Смысл. Что за имя такое?

Ну, Федор Васильевич и сам под литерами или под прозванием «Иван Бухов» скрывался. Однако запало ему в душу: кто же может так прямо обо всем говорить? И когда среди американцев он уже пообвыкся, то решил разузнать, что за Здравый Смысл. А на него выкашивая глаза глядят. Да кто же не знает? И говорят ему, что есть такой Пайнов: при генерале Васгингтоне (так Ф. В. писал) состоит.

Теперь Васгингтон, известно, у них столичный город так зовут, а тогда он сам еще в живых был, армией командовал, вроде нашего Кутузова, только у нас Кутузова государь назначил, а Васгингтона они сами промеж себя выбрали и над собой поставили.

И вот где-то за рекой Делавар, у Филадельфии, видит Федор Васильевич, нет ему другого хода, кроме как через лагерь Васгингтона. Зимой дело было. Морозы. Тут он Пайнова и повстречал.

С Федором Васильевичем они первым делом на том сошлись, что оба своим трудом всего достигли и за океан явились чужаками, к тому же во Франции жилали оба, чудо, что там не встретились. Я сам, Пайнов Федору Васильевичу рассказывал, вроде тебя, пока в трюме сюда доплыл, скоробутом (цингой) весь изошел. Я, брат, ему Пайнов говорит, нужду знаю, нишкни! Ну, говорит, мы тут, на новой земле, все по-другому, по-новому устроим. У нас предрассудков нет. У нас, говорит, ежели человек стоящий, надежный да толкдовый, то ему дорога открыта. Одно слово, Равенство. И — Свобода. А тебя,

он Федору Васильевичу говорит, надо в Россию отправить нашим послом. Во Францию поедет сам Франклин, это который громоотвод придумал, в Англию — Адамс, а тебя мы в Россию снарядим. Это, говорит, я все быстро налажу, мне стоит только в Конгресс написать. Или, говорит, ты сам пиши, а я, говорит, свое слово скажу — и шабаш. Вот, говорит, как у нас!

Федор Васильевич написал. Однако ответа ему не было. Видать, той силы Пайнов не имел. Да оно по-другому и быть не могло: уж очень прямой человек. Это Федор Васильевич и по себе знал, а потому в обиде на Пайнова не остался. Он так говорил: «Чудеса! На родину чуть было не прибыл послом от чужой державы».

Беседовали мы с ним перед самой войной. Бонапарт на нас ополчился. Мы, в гренадерах, к выступлению в поход готовились. Я к Федору Васильевичу иной час на Каменный остров заглядывал. Теперь-то, по прошествии стольких лет, я знаю, что видались мы в последние разы. А как он с миром сим распрощался, мне и по сию пору не объяснил никто. Есть слух, будто он сам на себя руки наложил. Этого я ни подтвердить, ни опровергнуть не берусь. Человек он, что говорить, из ряда вон, о, далеко из ряда вон. Равнять ли его с Ломоносовым или не равнять, это уж не моего ума дело, только являются такие головы не каждый день. А растрочен человек был, растрочен, уж это точно, не нашлось ему должного пути или применения, а из нашей же породы вышел, из ямщицкой, но за всю жизнь в руках вожжей не держал — за книги взялся.

Теперь о себе. Из-под стражи меня американцы отпустили, потому я побожился, что не своей волей в каперы попал. Я на военный фрегат, когда нас на абордаж взяли, даже сам хотел к ним перейти. Дело это тоже довольно обычное. Отпустили, а куда пойдешь? Правда,



хотели они было отправить меня в столицу Вашингтон к Дашкову\*, а это мне было ни к чему. Уж ежели говорить, то зачем я в далекие края попал? Своими глазами захотелось посмотреть, где и чем живут люди, как против нашего устраиваются.

А когда среди американцев очутился и даже вроде бы совсем у них обжился, то стало меня одиночество одолевать.

По родине тоска — та же болезнь. Это я всякому скажу, потому на себе испытал. Действует приступами. Недели через две, как приехал, по первому разу прихватило меня. Местной воды и той душа не принимает. Глаза не глядят вокруг, чужих красот видеть не хотят. А вроде и не болит ничего, а только ноет все нутро, невмоготу, нейметса. Как же, думаю, мне дальше тут жить? Потом — ничего, отпустило. Голову я приподнял, сердцем вострепнулся, ну, думаю, прошло. А оно через месяц опять, да еще хуже прежнего: хоть волком вой. Жизнь не в жизнь, и все тут. А никто тебя не тиранил, не бьет, и не голодаешь, и крышу над головой имеешь, и хлеба кусок каждый день, а только жизни нет как нет, и хоть ты лопни.

Оно, конечно, в такую пору самый бы раз... лекарство есть... оно известно, и неделя-другая пройдет как во сне, даже сладостном, но нельзя — зарок. И потом еще хуже будет, это ведь все я тоже не по другим людям проверил.

И принялся я от мучений такой тоски искать вроде бы как своих. А где их найдешь? Русские, американцы мне говорят, все на другом берегу, а до другого берега пока дороги нет.

---

\* Первый русский посол в США. Впрочем, в это время Дашков послом нашим уже не был, но все еще оставался в Америке и, вопреки установкам российского правительства, вел дело на разрыв отношений.

Тогда-то вот стал я выпрашивать про Федора Васильевича. И уж коли никакого следа его отыскать не мог, припомнил, что ведь он о Пайнове говаривал. Может, этого Пайнова поискать, а не Пайнова, так хотя бы родню его...

А у них про Пайнова не слыхал никто. Выкативши глаза на меня глядят. Да как же это, говорю, ведь он с самим Вашингтоном рука об руку сражался? Эва, отвечают, когда это было и кто тогда сражался и с кем, а теперь времена пошли другие: при чем здесь какой-то Пайнов. И сами сказать не могут, знать не знают, кто такой.

Потом наконец один старичок мне попался, вроде что-то слышал: «Это который Здравый Смысл?» Да, говорю, да, а сам обрадовался, как знакомого встретил.

А старичок говорит, ты, говорит, об ём лучше помалкивай: ни в один дом тебя иначе не пустят. А сам он, этот Пайнов, давно, почитай уж годов с десяток как помер, и память о нем лопухом поросла! «Да за что же, — спрашиваю, — его позабыли?» — «А в церкву не ходил».

Это, вестимо, большой грех, но я что-то не припомню, говорил ли о том Федор Васильевич.

Старичка того встретил в Новом Йорке, где пристроился я грузчиком у пакгаузов в гавани у Восточной реки (Ист-Ривер). Старичок у продавца устрицами разносчиком служил. На Селедочной улице. Тут и Пайнов когда-то жил. Свой век коротал, можно сказать. Старичок мне объяснил. Ты, говорит, на Пайновом подворье живешь. Как так? А так. Тут он самый квартировал, когда свое хозяйство на ферме покинул. И все больше у окна сидел. Грустил. А потом мадам, которая при ём была, к себе его забрала, неподалеку, но ближе к той, другой реке, по названию Хадсон (Гудзон). В Новом Йорке, известно, вода кругом: на островах стоит. Тут Пайнов богу душу и отдал.

Старичок этот все от своей бабки слышал, тоже уже покойницы. А она при Пайнове по найму в сиделках была. За ним уход нужен стал. Ноги отнялись. Пятнами пошел. Дух тяжелый. Известно, не радость. Но, говорит, до конца памяти не терял. Признавал всякого и кому что говорил. Иному: «Выйди вон!» А другому: «Благодарю»... К нему священник несколько раз навещался. Все вопрошал: «Не нужно ли чего?» Нет, отвечает, не тревожьте меня, от вас ничего не нужно. Вот и не вспоминают его.

Мне в грузчиках не то чтобы не под силу, а как-то неспособно было. Ведь и в море я не по своей воле попал. Мне бы куда-нибудь поближе к лошадям. А старичок и говорит: «У нас тут один господин устриц берет, так не хочешь ли к нему в конюхи?»

Господин был строгий, серьезный. По имени Купер Я уже потом как-то в книге портрет увидел: да это же мой босс, по-нашему — хозяин! И книгу он сам написал. Но в те поры за ним такого не замечалось. Он только из флотской службы вернулся. Желену богатую взял. Дома у них и в городе и за городом свои были. И он все по имениям своим хлопотал. Но толку не особенно много выходило. Видать, у него, как у Федора Васильевича, по писчей части лучше пошло.

Я ему приглянулся, особенно после того, как коня-фаворита обиходил. Всюду стал меня с собой брать. Ну, я и его про Пайнова спросил. Он в ответ аж почернел весь. Мы, говорит, с ним, кажется, с одной улицы, да с разных концов! \* Ты, говорит, ежели хочешь об нем интересоваться, вон туда ступай! И показывает

---

\* Это не выдумка. Хотя и в разное время, но Томас Пейн и Джеймс Фенимор Купер действительно жили на одной и той же улице, которая тогда называлась Селедочной, а теперь Бликер-стрит. Домов их, находящихся в самом деле на разных концах, в разных кварталах, давно уже не существует.

на бар, по-нашему — пивная. А, говорит, пойдешь туда, то и с моего двора долой! А я по кабакам не хожу. Я зарок после той хмельной ошибки дал. Так что это хозяин зря говорил. Ну да ладно, а за что же он Пайнова невзлюбил?

У него, у господина Купера, вся женина родня за короля горой стояла. Если бы не война, в которой Пайнов среди зачинщиков первый был, тогда бы они всего еще больше имели. Он, Купер-то, вроде наших бар. Так что виноват, ошибся, не того спросил.

Жил я при хозяине либо в Новом Йорке, либо в женином его доме за Харлем-рекой, либо в его отцовом имении. Это уже подале, на озере, откуда Сусквеганья-река начало берет.

Ну, там, у истоков Сусквеганьи-реки, я редко бывал. Диковато. Индейцы прямо к дому приходят. Все, как Федор Васильевич рассказывал. Табак курят. Вино, по-ихнему — виски, на меха меняют: за бутылку только что не медведя дают. А индейцы на это дело народ слабый: выпьют — и в ножи. Но в тех краях не часто случалось мне бывать, а вот в доме у жены Куперовой, это к городу поближе, там я при лошадях подолгу стоял.

И как-то опять же слышу, что Пайнов и тут недалеко жил.

Хозяина своего, понятно, я о нем больше спрашивать не стал. Зато кузнец мне растолковал: верст (по-ихнему — миль) пять отседова жил и прямо там похоронен.

Куперова местность называлась Мамаро-перешеек, а Пайнова — Новая Рошель. У них, у американцев, все вроде бы новое, а сами старое прозвание возьмут и «Нью» (по-нашему — «Новый» или «Новая») прибавят.

И вот однажды, чтобы вроде коня размять, я туда верхом наведалься. Меня почему в те места тянуло? А связь какая-то: от своего слышал, а все свое было от меня далече, уж истинно в другом Свете.

Что ж, поехал. Смотрю, кладбища нет, прямо в поле, в уголку...

И могилы нет! Вроде баловал кто: камень могильный разбит, земля раскидана. «...мас ...го смысла...09 года» — это на отбитом камне я смог прочитаты.

А тут и люди местные прибежали. Допытываются, кто таков?

Ружьишко наставляют. Убери ружьишко-то! Чей я? Отвечаю: «Делянси». А, говорят, де Ланси! И сразу — привет, почет. А это фамилия Куперовой супруги, имя громкое и с весом. Тоже чудно: дворянства у них, у американцев, как бы нет, а знать имеется.

Только, говорят, зачем же тебе, ежели у больших людей служишь, понадобился Пайнов, прах его возьми. Положим, они по-другому, по-своему имя его говорят, вроде как Пэин, ну да это не суть важно. А вот что спросили они, это — да, вопрос.

Ведь у таких, как моя хозяйка, в революцию землю брали и таким, как Пайнов, давали. А потом, вишь, все назад, наоборот пошло, вроде как новый передел имущества. Кто получил, кто нажить успел, кто захватить сумел, эти назад уж не отдадут, а со старыми хозяевами поделиться да ужиться все же надо.

Ну, я им отвечаю, про Пайнова мне земляк рассказывал, Федор Васильевич. Может, слышали? Смотрю, они опять ружьишко наставляют: не любят про те военные времена вспоминать. Тоже чудно: сами же на свет божий в большинстве с тех самых пор повылазили, а туда же, нос воротят, коли копать начнешь. Каждый из себя корчит барина, дескать, таким от века я родился. Оно, конечно, у нас жизнь другая, однако я-то уже пообвыкся среди них и начал различать, что к чему.

Нет чтобы мне отвечать, они сами давай меня пытать, выпрашивать. А не встретил ли я по дороге повозку, в упряжке — мулы, на повозке — ящик, а при ней

трое, особенно один — здоровый такой... Да как же, говорю, мог я их встретить, когда они в Новый Йорк, чай, путь держали, а я с другой стороны, с перешейка Мамаро? «Делянси,— говорю,— Делянси!» Да, да, подтверждают, де Ланси... А сами, гляжу, вроде как озадачены.

Ну, я — по неунывающему расейскому характеру — сам интересуюсь, что у них за беда? Они говорят, да как же, говорят, покойник-то пропал! Прах Пайнова украл?! Вот те и дела... Кому же он мог понадобиться, когда о нем и думать-вспоминать забыли?

А к тем двоим, местным, еще и третий подошел. С горки из-за деревьев он спустился, и стали они промеж себя толковать, что им на этот случай предпринять и как действовать.

Один, гляжу, толкует, что из погони за преступниками смертоубийство может выйти, а ему при смертоубийстве присутствовать никак нельзя. Ну, квакер, и больше ничего. По-нашему — сектант из трясунов. У нас бы такого сейчас за милую душу в Сибирь, а у них там этих сектантов видимо-невидимо, каждый на свой лад веру заводит: чудно! Значит, этому вера не дает ехать. Другому ехать не на чем, лошади у него нет, а пешком не поспеешь. Третий, шериф, по-нашему — урядник, лошадь имеет, но в одиночку ехать опасается.

Я себе думаю, куда ни шло! А давай пособию! Однако они на меня в ответ с подозрением глядят. Да я же, говорю, Делянси! Да-да, вздыхают, де Ланси... Потолковали они между собой и спрашивают: сколько возьмешь, что за это хочешь? В иную пору, раньше то есть, я бы и не понял, о чем речь ведут, а уж поскольку я тут человек не новый, пообвыкся среди них, то знаю: без денег ни одно дело не делается. Исключительно ради выгоды все — на счет. Сколько с меня, с тебя — и без лишних слов.

Показываю — пять. Нет, качают головами, дороговато. Сошлись на трех долларах, это, если на наши руб-

...ни переводить, те же пять получаются. Ну, ладно, собрались в путь. Шериф привел свою лошадь под седлом, а садиться верхом не торопится. Пошли мы с ним рядом, коней за собой в поводу ведем.

Этот Пайнов, шериф мне дорогой говорит, вроде большой безбожник был... Это, отвечаю, мы слышали. «А чего же ты о нем тогда тревожишься? Сам-то веруешь?» — «Верую». — «А в какого бога?» — «Это у вас веруют по-разному, а у нас вера единая». С полверсты прошли. Верхами сели. Пайнов, опять мне шериф толкует, вроде большой пропойца был. «Ну уж этого мне Федор Васильевич не сообщал, не знаю». — «А раз не знаешь, что он за человек был, зачем же им интересуешься?» — «Земляк мой, — говорю, — с ним в знакомстве состоял».

Так мы доехали до моста через Харлем-реку. Остановились. Ведь дальше еще один мост имеется: куда лихие люди подались? Следов не разберешь — народу тут уже много прошло-проехало.

Шериф по плечу меня хлопает и предлагает, чтобы я звал его Джон. А сам интересуется, как же меня кличут. Я ему говорю, что я тоже Джон, в смысле Иван. Он говорит, что это очень о'кей, хорошо, значит, и говорит: «Дорогой мой Айван (так они «Иван» выговаривают), не лучше ли нам расстаться, разделиться?» И предлагает, чтобы я ехал дальше до другого моста, а он свернет здесь, и встретимся мы уже в Новом Йорке на Бродвею с Восточной стороны. Спрашивает: «Райт?» Это по-ихнему: «Ладно?» Говорит: «О'кей?»

Окей, отвечаю, окей. А сам чую, что вся эта погоня ему ни к чему. Один только вид он делает, дескать, службу исполняет. Да и он сам меня предупредил, чтобы я, значит, не очень — чтобы не рисковал. Нам главное, говорит, выследить, а там мы их голыми руками возьмем. «О'кей?» — «Окей, — говорю, — окей».

Поехал шериф через первый мост, а я своим пу-

тем — прямо. Места кругом открытые. Так, молодой малорослый лесок кое-где. Холмики. Валуны. Лес-то они свели, повыврубили, под пашню простор освободили. Я еду и думаю. Вроде земля и земля, а рука человеческая всюду видна. Вот он, валун. Здоровущий камень, что бык или слон. От века здесь. А вроде и его кто-то положил и аккуратненько пашней обошел. Прудик: почему ряски нет? И каждое деревце вроде знает, куда ему расти и в какую сторону ветвями тянуться. Да-а, работа хозяйская. А кругом ни души. Хоть бы кто крикнул, скрипнул, пискнул. Тишина, аж оглохнуть можно. Или вот дорога. Где колея? Как же без рытвины обойтись? Что, не колесами ездят и не копытами топчут? Много я себе этими мыслями голову перчил, много...

Гляжу, впереди повозка. Как есть мулы в упряжке. А... а следом только один вышагивает, как землю мерит. Здоровый. Дубина. Орясина. Волос белый. Оглянулся он на топот копыт. Волос белый, а морда — красная.

Увидав меня, развернулся фронтом и посреди дороги стал.

— Езжай сюда, в шею вполне задаром получишь! — Это он мне кричит (голос хриплый, но сильный).

Попридержал я лошадь и наблюдаю.

— Не хочешь в шею, — кричит, — давай я тебе рыло разворочу!

Я пока — ни слова. Приглядываюсь.

— Иди же, — кричит, — я тебя харей в твое же дерьмо утку! Желаеть?

А это ругательство — аглицкое. И выговор у крикуна, надо сказать, другой, не американский. Уж это я после всех своих странствий мог понять.

— Ну, — опять мне кричит, — глухой ты или глупый?

— А ты кто будешь? — я ему в ответ.

Великан сразу насторожился: мой-то выговор тоже не местный. Потом, слышу, буркнул: «Бритиш». Бри-



танец в смысле. А я рашен, говорю. «Русский? — он буркалы свои вылупил. — А тебе чего здесь надо?»

Надо, про себя думаю, задержать тебя... Подъезжаю ближе и говорю: «В город еду». — «А чего ж ты раньше не повернул? — спрашивает. — Ведь по харлемскому мосту ближе». А ты, про себя думаю, чего же там не повернул?

Мулы ушастые еле ногами передвигают. На повозке, гляжу, ящик. И камень. Читаю:

*...ас Паине*

*Аутор «Здраво...*

*Скончался 8-го июня 18...*

*В возрасте 74 лет \*.*

Грабеж среди бела дня. И не смущается. Впрочем, краснеть дальше ему уж и некуда.

Двигаемся некоторое время рядом. И все молчком.

О чем бы еще его, прохвоста, выспросить? У них ведь не как у нас — друг с другом при незнакомстве толковать не положено. Свое дело знай, в чужое — не суйся. Вот как у них. Попробуй я поинтересоваться, куда он собрался да что везет, тогда ответ будет примерно таков: «Не хочешь ли ты еще и ж... мне подтереть?» Это американское ругательство, дескать, тоже еще выискался сострадатель!

Тут один из мулов остуился сильно — и захромал. Ногу прямо волочит, левую переднюю. Да, ругаться этот красномордый умел, не отымешь. Я говорю: «Впрягай моего коня». — «Сколько?» — «Десять». — «Восемь». Ну, думаю, неплохо, совсем неплохо. Видать, Пайинов прах и могильный камень сильно ему понадобились, коль он на такие расходы не скупится.

---

\* Возраст Пейна на могильном камне указан ошибочно; он умер семидесяти двух лет. Ошиблась, заказывая надпись, Маргарита Бонвиль.

Моего коня, вернее хозяйского, впрягли, а мула хромого к повозке сзади привязали. Опять двинулись.

— Что же ты в этой паскудной стране делаешь? — ругатель меня спрашивает.

Как будто в твоей аглицкой стороне лучше! Это я про себя говорю. А он словно подслушал меня и говорит:

— Старая добрая Англия тоже идет ко всем чертям.

Тогда я ему и рассказал, как воевал, как в плену очутился, как на капер попал, как нас американцы захватили, как мне Федор Васильевич про Пайнова рассказывал.

— Ах, ты, — говорит, — шпионишь за мной! Да я из тебя дух вон вышибу!

Мы насчет драки не боимся, говорю. За себя постоим. Не кричи. А зачем покойника украл?

Морда эта красная даже засмеялся. Ну ты, говорит, шутник. Я, говорит, первеющий борец за справедливость. Я, говорит, кому хошь в рожу плюну, хошь королю, хошь президенту, ежели он против справедливости пойдет. А я ему говорю, да я и сам такой. А ты, он говорит, не перебивай. Меня, говорит, весь народ слушает.

Тут остановку мы сделали. Паб, по-нашему — трактир, у дороги. Зайдем, борец за справедливость говорит, в глотке пересохло. Я, говорю, зарок дал с тех пор, как на капере не по своей воле, хмельной очутился. В рот ничего не беру. Я, он говорит, плевать на твой зарок хотел. Составь компанию, и все тут. Компанию, говорю, составить можно, отчего не составить? А в рот — ни-ни, зарок: из-за пьянки такого натерпелся, что и по сию пору ужас колотит. А мы, говорит, с тобой по маленькой — и хорошо! Говорю, по маленькой я не могу, душа не терпит. Я, говорю ему, из кучменов, из ямщиков то есть, мы уж когда поехали, то держись! Позтому,

говоря, пока вожжи в руках, ни единой капли позволить себе нельзя. И опять же зарок. Говорит, я тебе чего-нибудь светлого возьму. «Светлым» у них легкое называется, не хмельное, вроде квасу. Ладно, говорю, только там уж меня не нуди, не приставай. Слово дает. Вяжем мы свою упряжку у коновязи (там еще экипаж — одиночный — стоял) и пошли.

Заходим. Какие-то два господина (это, видать, их экипаж у трактира был) сидят и за чайком толкуют. «Детерминизм, — один другому говорит, — не исключает свободы воли...» Тут моя красная рожа им кричит что есть силы: «Глупости! Из детерминизма ни свободы воли, ни ее отсутствия вывести невозможно». Те двое даже вскочили: «Да как же это так? Да мы вас к порядку!» Красный им отвечает: «Я сам для себя порядок. А будете глупости говорить, так мы с моим приятелем отсюда взашей вас обоих вытолкаем!» Тут хозяин встрял, взялся дело улаживать: ему скандал — смерть заживо, гости его кабак за версту будут обходить. Ну, уж опосля я у того, у морды, спрашиваю, за что же он зверем на тех двоих кинулся. Можно ли за этот, прости господи, за это... как его... с людей спрашивать? Засмеялся морда. Нет, говорит, ну, в общем повторил он, что они промеж себя толковали. Но это, говорит, не суть, хотя они в том не смыслят. А зачем, говорит, чай пили? Что ж такого, ежели чай? А самое, отвечает, противное пошло, терпеть не могу ни самый этот чай, ни того, кто его пьет\*. У меня, говорит, ежели кто чай пьет, тот живо по шее или в зубы схлопочет. Да как же, говорю, когда и здесь все одним духом поголовно чаи гоняют, да и в Англии, сам я видал, чай на каждом шагу пьют: чуть что — чай. А, говорит, и следует почти

---

\* Вполне достоверно: человек, о котором идет речь, наряду с другими своими воззрениями, вошел в историю ненавистником чая.

что всем либо в зубы, либо взащей. Народец-то кругом, говорит, паршивый, одна видимость — людишки.

Вот такой спутник-собеседник мне попался. Кобет (Коббет) Вильям Фомич. Уж это я его так прозвал — Фомич. Как, говорю, отца твоего зовут? А он все про отца да про отца: какой трудага был да мудрец. Но — порол. Он от того отца из дома сколько разов тягу давал. Ну так вот: спрашиваю, как зовут, а он отвечает — Джордж. По-нашему — Георг, выходит, или иначе Юрий. Стало быть, Юрьич ты, говорю ему. Он за мной повторить не может и злится. А Пайнов — Томас, стало быть, по-нашему — Фома. И прозвал я его Фомич. А он меня спрашивает: «Что же тебе земляк твой про Пайнова рассказывал?» Я говорю, что и как, про деньги, как Пайнов изобличил, раскусивши, всю хитрость надувательскую.

И тут я получаю по шее страшнейший удар.

Изготовился дать сдачи.

А сам смотрю: рожа красная опять ржет, прямо надывается. Это, оказывается, он по плечу решил меня хлопнуть, да промахнулся — по шее задел. Молодец, орет, молодец! И я, говорю, его за разоблачение денег полюбил, только не американских. И дальше излагает он мне такую повесть о себе.

Я, говорит, англичан. Коренной. Настоящий. Хочешь, говорит, англичана увидеть, тогда смотри на меня. Что ж, это уже я Фомичу говорю, я видал! А, плюет Фомич, кого ты видал? Дрянь, говорит, всякую. А у меня, это он говорит, отец фермер, из крестьян: соль земли. Таких, как моя семья, Фомич говорит, чтобы повидать, так хорошо поискать надо: все по городам либо сами разбежались, либо прогнали их с земли. У нас, в Англии, говорит Фомич, настоящему крестьянину теперь конец. Так он говорил. А у вас, спрашивает, как? Я говорю: у нас ничего, да только воли нет, и хлеб, сам знаешь, тяжело дается, кто побойчей да посмышленей,

те тоже норовят в отхожий промысел податься. Да-а, говорит Фомич, везде трудовому человеку, видать, нелегко.

Ну, говорит Фомич, я неправды долго терпеть не могу. Я, говорит, в армию сам записался и поехал в Америку за короля воевать. Приезжаю, гляжу: воровство, сплошное сверху до низу в британской армии воровство, грабеж. Я, говорит, все это изобличил: как только домой вернулся, так сразу на свое армейское начальство в суд подал. А начальники свидетелей запугали, запись нолковых расходов уничтожили, и, гляди, как бы в результате самому Фомичу под суд не угодить. По обвинению, значит, в клевете. И подался Фомич во Францию. Глядит: бож-же мой, как головы летят! И перебирается оттуда опять в Америку — как мирный житель решил здесь устроиться. Глядит: воровство, сплошное у них воровство, грабеж сверху донизу. Он их изобличил, а этого Пайнова, говорит Фомич, я в оны годы терпеть не мог. (Ну, он по-другому, по-своему имя его выговаривал, не в том суть.) Терпеть, говорит, не мог. Думал, говорит, такой же, как и все прочие, проходимец. Фомич его не знал, не видал, но коль скоро Здравый Смысл у них там зачинщиком считался, то уж Фомич про него написал-напечатал. И что, значит, в рюмку он глядит, и по плохим местам шатается... Было дело или нет, этого Фомич под горячую руку разбирать не стал. На Пайнова тогда со всех сторон нападали. Двух, не меньше, писак наняли, чтобы уж они его, значит, донага раздели. Что писаки — продажные, этого, понятно, не ведал никто, ежели бы один из них сам не сознался. А строчили они, словно им все доподлинно было известно, дескать, из первых рук: от матери или от жены, а у него их было две! И будто одну законную жену он голодом уморил, другую — продал живьем. Коротко говоря, навешали на него всех собак.

— А за что? — это я у Фомича спрашиваю.

Как за что? Это он удивился. Ты же, говорит, сам первым мне сказал: на деньгах он их раскусил. Зачем Независимость в наживу обращают?

Эва, говорю, ежели бы он одних разоблачил, тогда бы его другие уважали. А ведь он всем поголовно поперек горла встал!

А зачем, рассуждает Фомич, «Век Разума» написал? Да «Права Человека»?

Разве, говорю, его за этот самый разум-то одни дураки невзлюбили? Нет, говорю, чем умнее человек, тем он при имени его сильнее зубами скрипит (это я по своему хозяину, по господину Куперу видел). А права? Что ж права! Кто прав не хочет? Ан опять не то, и вспоминать не вспоминают...

Да он что доказывал? Это Фомич говорит. Правители — обман. Церковь — обман.

— Значит, против Бога и царя? — спрашиваю.

Против Бога, Фомич мне разъясняет, он не проповедовал. Как против Бога идти? А только где он, Бог? В чем? В книгах, где одна небывальщина другую подтверждает? У пастыря, который и сам не понимает, чему наставляет? А что касается, как ты сказал, царя, не знаю, говорит, как там у вас, а у нас, говорит, король иностранец и безумец. Посмешище, а не правитель.

То, говорю, у вас там, в аглицком королевстве, это я видал. А здесь, ты мне объясни, где они правителей сами себе выбирают, за что же они Пайнова даже гражданства лишили, даром, что ли, он весь их порядок обдумал?

Пока Фомич, чтобы ответить мне, рот раскрывал, показалась из-за бугра колоколья. Это уже Новый Йорк. Потом наконец Фомич говорит. Я, говорит, скажу тебе так... Так, значит. У них тут собрались ханжи и жулики. Зачем же им Пайнов? Он что писал? «Приходит время испытаний духа человеческого...»

— Когда он так писал?

— А во время войны.

— Еще той войны?

— Да, за Независимость, Свободу и Равенство.

Миновала та пора, говорит Фомич, и сделался Пайнов помехой. Им надо устраиваться: свобода — это когда я украл и никто не видал, равенство — это сам живи и другим не мешай. И главное, собственность. Опасаясь за свой карман, который успели набить, они сделали вид, будто он покушается на веру, и записали его в безбожники (может ли быть хуже репутация?). Ну, конечно, какой он гражданин Соединенных Штатов? Дал он этому государству название, а ты посмотри на нынешних граждан!

— А ведь он самому Васингтону был друг и брат...

— Генерал-то оказался первым отступником, — говорит Фомич, — у него поместья — стал он с кем делиться? У него рабы — дал он им вольную?

Положим, этот Васингтон, как я слышал, своих рабов отпустил. Так ведь, Фомич перечит, когда уже при смерти был! Оно известно, детей у него не было, на этой земле рабов оставлять некому, а на тот свет, понятно, с рабами не явишься. А ежели бы, говорит Фомич, он, кресло президентское занимая, попробовал учудить такую штуку, тогда его бы не то что на два — на один бы срок не избрали. А так он, вишь ты, своим невольникам волю завещал, да и преставился праведником.



К этой политической дискуссии от себя добавим: сейчас уже опубликованы многие документы, из которых

следует, что Вашингтон не видел практической возможности в принципе отменить рабство. Это означало бы крах только народившегося государства. И великодушный предсмертный поступок Вашингтона был демонстративным жестом — не более. Как всякая новая страна, Соединенные Штаты оказались перед дилеммой либо возвращения к зависимости от старого мира, либо самообеспечения из внутренних ресурсов, то есть ценой жертв. Если Англия жертвовала собственным крестьянством, то в Америке этой жертвой были рабы: дешевый, почти дармовой, хотя и малопроизводительный труд. Иначе не хватало рабочих рук и не было средств в самом деле платить за труд. Рабство было займом, взятым американцами у истории, и никто из них, конечно, не предполагал, что этот заем окажется невозвратным, что его нельзя будет возместить: за него придется расплачиваться вечно, на протяжении всего своего дальнейшего существования.

Рабство, отмененное в Старом Свете, оказалось Новому Свету необходимо. Горький парадокс! «Старый порядок», оказывается, в чем-то мягче, человечнее нового. Но есть и другой парадокс: это — мягкость гнилости, а между тем все блага и довольство при «старом порядке» доступны сравнительно немногим, что и требует революционного переворота — прорыва многих к барскому положению. А жестокость вольности, о которой размышлял Радищев (и многие другие утописты), возникает именно из-за того, что прежде ограниченное становится доступно многим. Но можно ли сдержать этот порыв к недоступному? Вы сами от недоступного вам откажетесь?





У них тут, говорит Фомич, царство подлецов, шерамыжиников, продажных шкур, одним словом, расчудесная страна для всякой...

— Значит, не надо было им против короля идти?

Разозлился на это Фомич. И как бы камень на дороге ищет, чтобы в меня запустить. А у них на дороге и камня, чтоб так, сам по себе валялся, не найдешь, не-ет. В морду (камня не найдя, говорит) не хочешь получить? В морду, говорю, мы и сами умеем двинуть. Ты мне по-хорошему ответь.

Давай, он говорит, закурим. Стали мы с ним табачок доставать, а тут и другой мост близко. Гляжу, а на той стороне шериф торчит.

Как тут быть? С одного деньги хочу взять, договор с ним имею, с другим табачок делю. Совесть, скажи мне, совесть, куда податься? Оно, конечно, не каждый раз и совести можно слушаться. Иной случай бывает такой, что и рад бы против совести не идти, однако возможностей к тому никаких не имеется.

Я про себя так рассудил. Совестью не кичусь, но и наглости не имею. Сюда я попал через Федора Васильевича. А Федору Васильевичу кто помогал? Пайнов. И Фомич, видать, ради Пайнова старается, хочет его память достойным образом сохранить.

А с другого бока посмотреть: красть — грех, а уж покойника утащить — и подавно. Надо бы, как условились, Фомича выдать властям.

Поступают ли так с людьми? Не в моей натуре. Меня самого на корабль, как в каторгу, обманом затащили. Ведь у них там, в Англии, никто во флот добром не идет. Лучше уж, говорят, в тюрьму, чем в море. И я бы, не будь в тот раз хмельным, не поддался бы...

Нет, не стану человеку со спины удар наносить. К тому же и заплатил мне Фомич поболее, чем этот преследователь.

Фомич пока не видит его и, дым пуская, толкует:

— Раньше народ был трудовой. Раньше жили, как положено. Раньше...

Ты мне лучше Расскажи, про себя думаю, как тебя пороли да из дому ты родненького разов не меньше пяти убегал, пока в солдаты не устроился. Солдатчина-то, видно, слаже семьи отцовой казалась! Уж мне-то не пой: по себе все изведаль. Тоска меня по дому гложет, ох, тоска! А подумаешь: отчего сам бежал? Как за тридевять земель от крова своего очутился? Тоска — один ответ. Сено-солома — и ничего более за всю жисть не ожидай. Ну да ладно, в иной раз еще потолкуем.

— Погоди,— говорю,— опосля доскажешь, а сейчас — смотри!

Фомич глянул — и «Тпру!» коням.

Приняли мы с ним такое решение: в сторонке встанем, углубимся у дороги в небольшой лесок, который со времен первых вырубок уже подрасти успел, а я с конем, с хозяйским, с Куперовым, к шерифу выйду. Так и сделали.

— Видал их? — сам же первый шерифа спрашиваю.

— Как так? Где же они?

А, говорю, недавно проехали. Я, говорю, хотел перехватить, да конь у меня захромал: видишь, в поводу за собой тащу!

Дал он мне дурака в ответ и скорей прочь, в дальнейшую погоню. Я ему вослед кричу:

— Деньги!

Какие деньги, отвечает через плечо, когда ты дела не сделал. Постой, кричу, постой, у нас такого уговора не было! А он лишь пуще ходу прибавляет. «Постой!!!» Слава богу, скрылся.

«Ну как, — в нашу засаду возвращаюсь и спрашиваю, — надо было с королем воевать?»

А Фомич смеется. Молодец, говорит, как это ты его уговорил? Тебя, говорит, как кличут-то? И стал он называть меня Джоном.

Движемся мы с ним дальше: Новый Йорк из-за пригорка все видней становится. Мулы ушами потряхивают. Куперов конь — им в подмогу. Ящик да камень на повозке лежат. Погода заметно повеселела.

Люди, конечно, всегда лучшего хотят. Кто ж станет спорить? Но в чем мы лучшее находим, это уже непростая задача. Иной вроде и стремится к чему-то, а стоит ему только это заполучить, как на лице у него: «Не больно-то и хотелось!»

Подсвета я отмахал — на родину тянет, а то ведь наоборот было: бежал бы со своих родных мест, куды только глаза глядят!

Или вот американцы: шибко деловой народ. И здоровый такой, крепкий. А чего-то им не хватает...

Да, стоило ли с королем воевать? Так ведь и не разобъяснил мне до сих пор Фомич.

— Джон, — говорит он мне, — сейчас до Нового Йорка дотянем, и уж я тебе все, как есть, расскажу.

А потом...

## ТОМАС ПЕЙН И ДЖЕЙМС ФЕНИМОР КУПЕР

### БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ

Сколь это ни трудно, читатель, однако для продвижения рассказа своим чередом надо себе представить, что по той же самой дороге, где наши герои идут и толкуют, год спустя повезут в Нью-Йорк рукопись романа «Шпион». «Я велел, — сообщает Купер в сохранившемся

письме издателю, — отрядить экипаж». При составлении данной повести был, конечно, великий соблазн чуть-чуть передвинуть время и сделать так, чтобы повозки сравнялись на пути или встретились. Какова была бы картина! На одном экипаже Пейнов прах, на другом — Куперова рукопись о тех же — о революционных — временах\*. Что ж, было бы занимательно и знаменательно, но, увы, неверно.

Будем же придерживаться исторической истины и лишь учтем близость судеб.

Если вы помните «Шпиона», там важнейший момент — отказ от денег. Платы, как Пейн, не хочет принять разведчик, потому что служба родине не оплачивается, и к тому же страна тогда нуждалась в средствах. А деньги предлагает сам Вашингтон, и ведь, как мы уже знаем, солдатам вашингтоновой армии платили.

О разведчике, оказавшемся бескорыстным патриотом, Купер услышал от очевидца и решил по-своему пересказать этот случай в наизидание современникам, ибо идеалы революции подзабылись.

В Декларации Независимости сказано: право каждого — добиваться своего счастья. Но в те поры, когда был похищен Пейнов прах и когда Купер писал роман, этот пункт толковали исключительно как погоню за наживой.

Купер сам не бедствовал и бессребреником не был. Он тринадцать раз судился из-за клочка земли. А такого, как Пейн, особенно в его поздние годы, он и правда не пожелал бы знать.

Однако он был трудовой человек, существовал на литературный заработок, жил на земле, которую начал

---

\* О тех же временах Купером был написан не один «Шпион» — пять романов, в том числе «Лоцман», где действует друг Пейна — революционный моряк Пол Джонс.

осваивать еще его отец (изображенный, надо отметить, без прикрас в «Пионерах»), и не терпел проходимства. А ловкачи тогда процветали, делая деньги любыми средствами.

В «Шпионе» еще один важный момент — это расставание Вашингтона с верным разведчиком. Отныне, говорит ему Вашингтон, между нами все кончено. Почему? Что за причина?

Но вернемся в прошлое, в то более отдаленное прошлое, когда Пейн находился в рядах революционеров и был дружен с людьми, которые делали историю.

## **ШИНЕЛЬ ВАШИНГТОНА, ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ ИСТИНА**

### **ЭПИЗОД ИЗ ПРОШЛОГО**

Ответа от Вашингтона все не было.

Почему же молчит Америка? Вопрос преследовал Пейна. Во время арестовации то был для него вопрос жизни и смерти. А когда прямая опасность миновала, мысль о странном молчании заокеанских соратников стала неотступной, как дело принципа. Сделалась навязчивой, словно мания.

Сменивший Морриса новый американский посланник — Монро уговаривал Пейна забыть все и лечиться.

— Америка вас помнит, — уверял полномочный посланник (будущий президент и автор пресловутой «доктрины») \*, — Америка чтит вас!

Из чего это следовало? Как истинный дипломат, посланник расписывал заслуги Пейна хотя и красноре-

---

\* Доктрина Монро: «Америка — для американцев, при невмешательстве Европы в американские дела»

чиво, но как-то уклончиво. «Американский народ тебе позволит себе допустить такую неблагодарность, чтобы человек, которого называли Здравым Смыслом (т. е. Вестником Свободы), остался без...» Где же благодарность? И кто должен ее выразить от имени народа?

— Лечиться, — отвечал Монро, — вам необходимо лечиться!

Что ж, поправить здоровье ему в самом деле необходимо. В подвалах Люксембурга у него кровоточила язва и гнили ребра, как он выражался. Но что значит недуги плоти рядом с удручением духа? Когда ресурсы замочной скважины оказались исчерпаны, то есть, проще говоря, когда у Пейна вышли все деньги, ему и без дров было бы тепло, и на тюремной похлебке неголодно, если бы дошел до него хоть какой-нибудь, пусть отдаленный, сигнал заокеанской поддержки.

— Теперь вы под надежным кровом, — уходил от прямого ответа посланник.

За все недавний узник был признателен, и вообще, что греха таить, внимание Пейн любил. Человек совершенно неприспособленный, он сам о себе не заботился и мог закусить куском газеты, вечно торчавшей у него из кармана. Если же заботу о нем проявляли другие, тогда автор «Прав Человека» сиял и таил. Разве плохо, когда вокруг тебя хлопочут? Внимания к себе требуют, видимо, типы крайние, баловни судьбы и обездоленные, короли и калики перехожие. Одни к такому вниманию приучены, другим оно важно как компенсация. Пейн, мыкавшийся по свету с молодых лет, принадлежал, конечно, ко второй категории, хотя судьба и ставила его порой на одну ногу с королями. Но сейчас дело шло о стране, которую именно Пейн назвал Соединенными Штатами. И внутренний голос не умолкал: «Ну почему, почему молчит президент этой самой страны?»

Заодно с приказами Вашингтона слова Пейна, его

«Статьи и брошюры воодушевляли разутых, раздетых и необученных, шедших в бой против обутых, одетых и обученных (очень хорошо обученных!): против красных мундиров и голубых мундиров — против пруссаков и англичан.

Шедших не только потому, что худой, высокий, немногословный человек, проезжая на крупной серой лошади перед неровными рядами, сказал: «Победа или смерть!»

Шедших еще и потому...

...Вашингтон, взяв слегка повод на себя, повернул коня к фронту и заставил замереть, будто превратился в живой монумент.

— Кто готов к бою, шаг вперед, — прозвучал глуховатый голос генерала народной армии.

Налетевший ветер подхватил эти слова, но, кажется, не затем, чтобы разнести их по рядам и ободрить измотанных ополченцев, но чтобы смять, заглушить, унести прочь, туда, где катила свинцовые, декабрьские волны река Делавар.

Волны и глыбы льда. Только что под натиском мощнейшего, умелого противника ополченцы, отступая, преодолели леденящую стремнину (моста ведь не было). И снова их звали штурмовать эту полосу смерти?

— Шаг вперед!

Ни один не вышел из рядов. Конь, наскучив стоянием под обжигающим ветром, попробовал самовольно двинуться дальше, как бы предлагая всаднику не тратить времени на бесплодные уговоры. Умелая рука и шенкель вернули его на прежнее место. Конь дернул головой вверх, словно спрашивая разношерстные, похожие на толпу шеренги: «Ну, что же вы?»

А что? Свое отслужили. Хватит. Натерпелись и насмотрелись. Намучились. И слава богу, отмучились. Что с королем, что с Конгрессом, а уж хуже того, что было, кажется, все равно быть не может. От самого

Нью-Йорка на юг до Филадельфии их гнали, почитай, без передышку, без остановки. Били по ним из пушек, добивали штыками. В плен, хоть руки подымай, хоть на колени становись, не брали. Еще англичанина можно упросить, чтобы душу живую на покаяние оставил, а пруссак, уж тот не знай, не понимай ничего. И к тому же их, пруссаков, настращали: «Эти заокеанские неслухи ни одного из вас, если им попадетесь, в живых не оставят!» Так что пруссак — это смерть, хоть сапоги ему целуй. А теперь, когда до родного порога, во славу Господа, добрались, что же — обратно поворачивать и снова судьбу пытаться?

И тогда по приказу самого Вашингтона под рокот барабана прочли слова, написанные у походного костра (на том же барабане) и подписанные — *Здравый Смысл*.

Вот эти слова, вошедшие в сознание нарождающейся нации, так сказать, сызмальства и ставшие с тех пор известными каждому американскому школьнику:

«Приходит время испытаний духа человеческого. Бойцы до срока и патриоты на час не станут в столь тяжкую пору служить своей стране, но кто не покинет наших рядов теперь, тот заслужит всеобщую любовь и благодарность».

Даже конь вскинул голову. А капрал что есть мочи зачитывал:

«Тиранию, как темную силу, победить нелегко, и все же мы верим: чем труднее борьба, тем грандиозней победа».

Кажется, самый ветер под напором этих слов изменил свои намерения. Теперь ветер вроде подхватывал слова, добавляя им силы.

«Я, благодаря Богу, ничего не страшусь. Не нахожу причины для страха. Положение наше мне хорошо известно, и выход из него я вижу. К нашей чести, мы с горсткой людей совершили отход в полном порядке,



преодолев почти сотню миль, сохранив все наше обмундирование, снаряжение, большую часть своих запасов и оставив позади себя четыре реки. Никто не скажет, будто наше отступление было поспешным. Дважды переходили мы в контратаки. Ни малейшего смятения в нашем лагере не было, и хотя кое-кто из населения распространял трусливые слухи, опустошать нашу страну враг не посмел. И вновь мы собрались под нашим общим знаменем, новая национальная армия собирает свои силы, мы заново начнем борьбу...»

Читавший поднял от печатного листа голову вроде затем, чтобы взглянуть на буквально босоногих оборванцев, которые, глядя исподлобья, слушали его.

«Таково наше положение, и да будет оно известно каждому. Стойкостью и упорством достигнем мы славной цели, трусость и покорность приведут нас к плачевному выбору из наихудших зол — разграбленная страна, опустевшие города. Нас ждет тогда прозябание, ничем не обеспеченное, и рабство безо всякой надежды».

Капрал еще раз на мгновение оторвался от бумаги, набрал воздуха и почти закричал:

«Дома наши станут постоянными квартирами или, хуже того, борделями для пруссаков, и расплодятся здесь нация, которая и отцов своих знать не будет. Вглядитесь в такую картину будущего и ужаснитесь ей! А если кто-либо еще способен подумать, будто как-нибудь выйдет иначе, пусть же постигнет его эта самая участь и сгинет тот неоплаканным».

И капрал уж в самом деле крикнул, объявляя во всеуслышание авторитет, от имени которого оглашал он бумагу:

— Здравый Смысл!

Ряды загудели: «Здравый Смысл... Здравый Смысл...» Кое-кто и раньше слышал это особое имя. Говорили, что Здравый Смысл затеял всю бучу, эту войну, назвав бри-

таиского короля кровопийцей. «Очень нам нужна независимость!» — заворчали некоторые.

Лошадь снова дернула головой, как бы призывая к вниманию. Высокий всадник повторил:

— Приходит время испытаний духа человеческого, — и продолжил: — Эти слова отныне станут паролем нашей армии.

Тот же человек в ответ на его отчаянные призывы молчит?

...Генерал тронул лошадь шпорой и подъехал к передней шеренге почти вплотную. Всматриваясь в лица ополченцев, сказал:

— Кто остается с нами, шаг вперед!

А в рядах говорили: «Останешься? — А ты? — Ты останешься, тогда, пожалуй, и я с тобой!» И сделал наконец кто-то шаг вперед, за ним еще и еще...

После этого Вашингтон попросил у Конгресса, чтобы его армии был придан один типографский столик и один пишущий человек, Пейн.

И молчит?

Правда, тогда (в смысле обеспечения) отказали. Конгресс в Филадельфии был прижимист на любые траты, если не видел в том немедленной выгоды. Но Пейн, по своему обыкновению, колебаться в личных расходах не стал. Если уж «Здравый смысл» он печатал за свой счет и не взял за него ни гроша, то в дальнейшем о доходах он тем более не думал. Был и остался при армии безвозмездным присяжным пропагандистом.

А теперь он не стоит ответа?

Один из командиров даже подсчитал, что Пейн обошелся за год в пятьдесят долларов, тогда как сам Пейн платил за теплые носки в пять раз больше. Он из Франции без сапог приехал, пригнав оттуда целый корабль с обмундированием, оружием и... и деньгами. Нога в ногу, плечо к плечу шел с войнами Здравый Смысл, разделяя невзгоды и размышляя об этих невзгодах вслух — печатно. Стрелять не стрелял, но бил словами сильнее, чем из пушки, как выразился сам же Вашингтон.

И не отвечает ближайшему сподвижнику?

Однажды в те давние героические годы у Пейна засиделся приятель, уходить же ему предстояло в холодную, вьюжную ночь. «А вот, наденьте шинель», — предложил ему Пейн. Приятель удивился: «Как же вы сами-то?» — «Ничего», — отвечал Пейн. — Потом вернете». И, между прочим, добавил:

— Это шинель Вашингтона.

Пейн не рассчитал силы собственных слов. Да, была у него еще трость с золотым набалдашником, и уж эту реликвию, или поистине регалию, подарок французского короля, Пейн подавал всегда с известным эффектом (пока трость не пропала). Но шинель, которую главнокомандующий американской армией снял со своего плеча, когда Пейн точно так же у него засиделся, а тем временем на дворе сильно похолодало и Пейн спросил: «А вы как же?» — и Вашингтон сказал: «Ничего, ничего», — эту шинель Пейн предложил, не желая произвести никакого особого впечатления. Разница заключалась лишь в том, что Вашингтон сказал: «Ничего, у меня есть еще шинели», а у Пейна, понятно, шинели вообще не было,

он, сказать по секрету, и костюм, идя в гости, брал взаймы.

Пейн сказал приятелю: «Как-нибудь вернете!»

Однако ответом ему послужила такая тишина, будто собеседник вовсе исчез, растворившись в воздухе или провалившись сквозь землю. Пейн даже вздрогнул: «Где же гость?» А тот не исчез и не провалился — он окаменел под шинелью: «Чья?» Вопрос был выражен в его остановившемся взоре.

— Ах, да,— спохватился Пейн,— я же знаю Вашингтона.

Знает? Почему же в таком случае сейчас ищет он у других ответа на мучающий его вопрос?

«Ваш покорный слуга» — так всегда завершал Пейн свои послания Вашингтону и получал от него письма с той же формулой. А в одном из писем, пришедших к нему из главной квартиры, было сказано даже так: «Хорошо представляющий себе сделанное Вами ради нашей общей борьбы, Ваш искренний друг Джордж Вашингтон».

Где же друг теперь?

Когда Пейн обратился в Конгресс за материальной помощью (не то что шинель или хотя бы носки — кусок хлеба не на что было купить), его просьбу поддержали не один — четыре будущих президента: Вашингтон, Джон Адамс, Джефферсон и Мэдисон. Просьба была уважена. (Четыре! А теперь один, и тот не отвечает.)

Пейну предложили подсчитать, во что обошлись ему труды на Революцию. Пейн удивился, но представил смету: шесть тысяч. При этом он писал: «Никогда не держался другой позиции, кроме принципа, и не следовал каким-либо побуждениям, помимо сердца».

Собственно, уже тогда удивление, вызванное указанием перечислить свои заслуги, замедляло его перо. Разве само собой все это не разумеется? «Не очень-то приятно говорить о себе,— писал Пейн,— но если положение вещей подобную необходимость оправдывает, то я, мне кажется, могу рассчитывать на оправдание».

Все же диковато спустя каких-нибудь семь лет после революционных событий напоминать верховному органу страны о том, как и что происходило, кто играл какую роль. Разве это не пламенеет у каждого в памяти?

«Первым предпринятым мною общественным делом,— продолжал Пейн, несколько не веря собственным глазам (в смысле необходимости напоминаний),— была брошюра «Здравый смысл». Сегодня трудно не помнить...»

Пейн остановился, в недоумении спрашивая самого себя: трудно или нетрудно, если интересуется Конгресс?

«То был момент,— все-таки решился пояснить Пейн,— чреватый большой опасностью для страны, и если когда-либо в ее истории дело зависело от перемены политических настроений, то в данном случае речь шла об изменении сознания всего народа от чувства зависимости к чувству Независимости, иными словами, от монархической формы правления к республиканской»...

Чтобы нам те же чувства в один миг стали понятны, приведем выдержку из учебной исторической хрестоматии, которой пользуется американский школьник наших дней, где так и сказано: «С этого все началось...» Конечно, предпосылки имелись, чувства накапливались, но вдруг появилась эта брошюра, название которой стало символом освободительной борьбы и общественным именем Пейна.

«Это что же, новый Юниус объявился?» — заговорили по обе стороны Атлантики, поскольку некие «Письма Юниуса» (остающиеся анонимными по сию пору) считались смелейшей критикой королевского правительства. Нет, то был не Юниус (кем бы он ни был), но публицист тоже весьма незаурядный, заставивший прислушаться к себе всю страну, даже две страны: метрополию и колонии. А теперь тот же автор должен кому-то втолковывать, кто он такой?

Словами, начертанными теперь на фронтоне американской истории: «Приходит время испытаний», начиналась серия военных бюллетеней, первый из которых... — и об этом напоминать?

Пейн напомнил. О том, как выпускал эти бюллетени, называемые «Кризисами». Может быть, неясно, почему такое название? Что ж, разясним...

В тяжелейшие моменты войны, когда для повстанцев уже, кажется, не было надежды и просвета, выступал вперед солдат безоружный (квакер), находя такие слова, что изменяли настроение армии и решения Конгресса: вместо того чтобы разбежаться по домам, люди снова шли в бой, и командующий, которого уже собирались снять и заменить кем-нибудь другим, оставался на посту. Всего появилось тринадцать «Кризисов» и два дополнительных — один без номера и один Особый, итого пятнадцать за семь лет войны, с первого года до последнего, до заключения мирного договора. «Приходит время испытаний...» — провозгласил Пейн, и он же объявил: «Те времена позади».

«Кризисы», как и «Здравый смысл», послужили Американской революции надежным оружием. Пусть всего лишь словесным, зато эти слова били поистине сильнее и точнее любых снарядов. Ведь если говорить о снаряжении, то в руках тех и других, и королевских войск и колонистов, был мушкет — кремневое ружье: курок,

*This picture, and the words on it,  
are given to the nation, in the year 1776,  
and the Congress of the United States,  
and the Congress of the United States.*







щелчок — и очень часто осечка. Кое-кто из американских ополченцев ходил с винтовками, но те винтовки с нарезными стволами были вроде пугача — ими можно было разве что всполошить противника, и то издалека, но попасть — едва ли... А слова Пейна ни промахов, ни осечек не давали. Кроме того, в отличие от снарядов они били не по врагу — попадали в сердца своих, вселяя энергию для борьбы. Борьбы до победы, до полной Независимости.

Пейн занимал также секретарские должности при разных генералах народной армии безо всякого жалования, а затем, разумеется по-прежнему бесплатно, стал секретарем Конгресса по иностранным делам.

Перечисляя все эти должности, Пейн указал, что с последнего поста ему пришлось уйти, увы, не по своему желанию. Он не стал бы обо всем этом говорить, если бы не очутился в безвыходном и жалком положении: всем платили, и все получали, а он, думая, что вознаграждение за революционную борьбу будет распределяться на каких-то особых принципах, переживал исключительный, не предвиденный им-самим кризис.

В итоге, подчеркивая, что вообще он не привык получать деньги даже за труд, если труд совершается во имя всеобщего блага, Пейн изъявил готовность, на этот раз при некоторой ссуде, приступить к написанию «Истории Американской революции». Помимо интересов самих американцев, которым необходимо воспитывать национальную память, Пейн считал это чрезвычайно насущным, неотложным делом, поскольку революция, несомненно, в ближайшее время охватит другие страны, и опыт американцев пойдет им на пользу, не правда ли? А кому же, как не Здравому Смыслу, автору «Кризисов», стать летописцем тех самых событий, которых он был не только свидетелем и даже не просто участником, но, до известной степени, творцом?

В исполнении просьбы, как таковой. Пейну отказали. Видимо, по двум причинам. Что касается «Истории», то подобное предприятие сочли преждевременным. Еще неизвестно, как лучше всего писать ее, эту «Историю», и как раз участник борьбы, в особенности Здравый Смысл, еще понапишет такого, что впору тут же вычеркнуть и навсегда забыть. Это — первое. Во-вторых, поскольку кругом шло повальное воровство, то, вероятно, решили не выделять Пейна или, точнее, не давать ему возможности выделиться своим бескорыстием, а уж скорее заплатить ни за что или как бы возместить ему прошлые убытки. Поставили на голосование в Конгрессе: выдать? возместить? Что возместить, что выдать — карман один. Из одиннадцати штатов «за» высказались четыре: Пенсильвания, Мэриленд, Виргиния и Джорджия — поле битвы, где гремело слово Пейна. А остальным — что? Они и солдат в общую армию старались послать как можно меньше.

Разбирая просьбу Пейна, конгрессмены судили так: как бы не создалось прецедента! Одному поспособствуешь — и начнут кланяться, расписывая свои бывшие заслуги. Ну, после дополнительных дебатов решили, что три тысячи выделить все-таки можно, учитывая исключительный случай.

Предполагал ли Пейн, что ему придется что-нибудь просить? Если бы за свои огромные тиражи он брал так, как наживались на солдатских сапогах (гнилых) и ружьях (нестрелявших) различные предприимчивые люди («патриоты»), то разве пришлось бы ему идти в Конгресс с протянутой рукой? В пылу борьбы, питаясь то из солдатского котла, то в генеральских штабах (если его туда приглашали), он как-то не думал не только о выгоде, но даже о средствах к существованию. Призывая к борьбе до победы и обещая чудесное будущее другим, о собственном обеспечении не задумывал-

ся. Полагал, что все устроится как-то само собой, по Справедливости.

«Школа для маленьких» — вот разве о чем иногда думал Пейн. Ведь приехал он в Новый Свет не революцию совершать. Он прибыл за океан с намерением учительствовать и для начала открыть детскую школу, начальную. Так что, сидя у барабана или же возле пня, служившего ему письменным столом, и покрывая пропахшую порохом бумагу письменами, которые вели людей на смертный бой, Пейн если и отвлекался мысленно к мирной жизни, то лишь затем, чтобы слегка усмехнуться: «Школа для маленьких!»

А ответа ему из Америки. как ни свежа память борьбы, все нет!

Пока Пейн находился в тюрьме, он прямой переписки ни с кем вести не мог, и за него вроде бы ратовал Моррис. Но известно, как хитрый и хромой ловелас исполнял свою службу. Довел ли он вообще до сведения президента бедственную участь старого боевого товарища?

Очутившись на свободе, когда Морриса уже убрали, Пейн тут же написал Вашингтону сам.

Писал и в феврале, и в сентябре.

Положим, февральского письма не отправил — Монро его отговорил.

— Зачем? Ну зачем вам напоминать о себе? — рассуждал посланник, продолжая: — Как будто в Америке успели позабыть, кто такой Здравый Смысл!

На самом же деле Монро беспокоился, что подобное послание, пожалуй, произведет за океаном впечатление политической интриги, затеянной им же, Монро. Ведь

в письме Пейна говорилось, что нынешний американский президент, видно, забыл старую хлеб-соль, а не забыл, тем хуже: судьбу верного соратника доверил он отъявленному проходимцу.

Причем (писал Пейн), те же действия, вредные для дела, каковому полномочный представитель был поставлен служить, у Морриса распространялись на все и на всех. Разве от него пострадал один Пейн? Колченогий интриган и сластолюбец точно так же, например, бросил в беде американских моряков, которых с кораблями почему-то задержали в Бордо. И вместо того чтобы заниматься несчастными соотечественниками, американский двойник Талейрана скрывался, в том числе и от них, на своей (тайно купленной) загородной вилле, занимаясь, уж теперь известно, с кем и чем, словом, приятно проводил время и попутно обдeldывал неприятные (для других) делишки.

Если бы не Пейн, который тогда, заседаая в Конвенте, еще находился на свободе и в почете, то сгнили бы товары в трюмах тех кораблей и сгнули бы сами моряки. Слава богу, они прибегли к помощи почетного гражданина, и он оказался более деятельным представителем их страны, чем посол (Пейн просто обратился лично к Робеспьеру).

Моряки — служаки достойные, но все же рядовые. Что моряки-матросы! Моррис позволил умереть легендарному адмиралу Полу Джонсу, революционному флотоводцу (ему и посвящен «Лощман» Купера).

«Я еще н-не на-на-начал с-сражаться!» — ответил, заикаясь (от природы), адмирал на предложение о капитуляции, а под ним уже горела палуба, и над ним не возвышалось ни одной мачты — все срублены или снесены снарядами. «Я еще не начал сражаться!» — сказал он — и выиграл сражение. И вот, преследуемый англичанами (морскую славу которых он посрамил), от-

вергнутый американцами (для которых, оказался чересчур деятелен), изгнанный из русского флота (где не прижился, вступив в соперничество с самим «светлейшим» — князем Потемкиным), игнорируемый французами (которые ему не доверяли, ибо доверять особенно было нечего — их флот был чересчур немногочислен), морской сокол Американской революции умирал на чужбине, в дальних кварталах Парижа — в бедности и одиночестве.

«Я знал Пола Джонса», — говорил Пейн, если в его присутствии заходила речь об этом человеке невыносимой отваги и находчивости. А про себя думал: «Как же это могло быть? Как же это могло быть?» Пейн сам тогда еще был в почете — не просто носил одно звание почетного гражданина, и жалкая участь истинного героя, всеми оставленного, представлялась ему чем-то невероятным, не происходившим на самом деле, а всего лишь пригрезившимся.

За две недели до одинокой и мучительной смерти (уремия) Джонсу исполнилось сорок пять лет... Поскольку французские власти пожелали выяснить, кто же будет платить за гроб, Моррис чрезвычайно забеспокоился: где же взять для этого средства? А уж времени пойти на похороны у него тем более не нашлось.

«Я, — рассказывал Пейн об американском посланнике, — прямо спросил его: неужели ему не стыдно получать деньги от государства и ничего ради государства не делать?»

Моррису вопрос не понравился. Хотя и побудил кое-что сделать. Когда час грозной судьбы пробил над Пейном и потребовалось вести борьбу за его освобождение, то посланник на этот раз не пожалел усилий, вступил в борьбу, и дело гражданина Пейна (вот неясно, какой страны?)... застопорилось. Очутившись в люксембургском подвале, Пейн оказался похоронен заживо.

Даже избежав гильотины, он пропал бы (не лучше Джонса), если бы Морриса наконец не сменил Монро.

— Потерпите! — теперь твердил Пейну новый посол, уговаривая его не отправлять письма. — Ждем сегодня-завтра корабль с президентской почтой: будет, надо думать, и для вас депеша.

Но если однажды Пейна удалось уговорить набраться терпения и отложить свое суровое послание, то спустя полгода (и даже больше) найти какие-либо сдерживающие доводы было уже невозможно: сентябрьское, еще более суровое письмо ушло...

«Не мог понять Ваше молчание иначе, как потворство моему заключению», — писал президенту Пейн о перенесенных испытаниях.

Однажды он пригласил Вашингтона на ужин. Точнее, на обед. Вернее, как считать: тогда в американском рационе еще не было так называемых «вторых завтраков», ленчей. Как у людей, был просто завтрак, а затем, своим чередом, обед и ужин. Позднее, с появлением ленча, обед передвинулся на вечер, а ужинать, как правило, вовсе перестали, придерживаясь экономной нормы: одно порядочное блюдо в день. Словом, Пейн пригласил к себе главнокомандующего, обещая (по-холостяцки) только устрицы, сыр и хлеб. «Есть о чем потолковать», — известил он его запиской. «Ваш покорный слуга», — незамедлительно отвечал Вашингтон.

И вот — никакого ответа. А ведь не обед и не ужин, не дружеская беседа стала поводом его письма. Не устрицы и не сыр предлагал он отведать.

«Рукой Робеспьера, — писал Вашингтону Пейн, — «в интересах Америки, равно как и Франции» против меня был составлен обвинительный акт. Америка оказалась тут привлечена исключительно в силу молчания американского правительства на мой счет: это было истолковано как возможная поддержка и одобрение подобного приговора».

Выводя эти строки, Пейн заново переживал и то чувство, с каким переступал он порог дворца-темницы: почти весело, с ощущением недоразумения, которое вот-вот разрешится.

Об арестовании, скорее всего, еще не знает Робеспьер (ибо ордер был подписан Барером) — так думал Пейн, в ту пору еще не слыхавший, что Робеспьер писал о нем и об «интересах Америки, равно как и Франции».

Главное же, он надеялся, что закрывшиеся за ним двери скоро распахнутся, ибо прозвучит, словно глас Иерихонский, зов из-за океана: «Где гражданин Пейн????!!»

Он обращал взоры на каждого вновь входившего или, вернее, вводимого: нет ли с ним вести о Свободе? Он, по своему обыкновению, видел мысленно документ, в котором кратко, но веско (и уже не им самим) изложены его заслуги, а к официальной бумаге, как ему представлялось, приложена частная записка, в конце которой, будто в былые годы, значится: «Ваш покорный слуга». Или: «Искренний друг»...

Ни письма, ни записки. Двери открывались, двери закрывались, в Люксембурге становилось еще многолюднее, все теснее, однако распоряжений относительно Пейна не поступало.

Привели Дантона, но что мог сообщить бывший трибун? «Я старался, по мере сил, претворить у себя на Родине свершенное вами ради счастья и свободы своей страны» — лестно это было услышать, однако практически участия Пейна не облегчило.

Приводили и таких, которые просто извинялись перед Пейном, поскольку не знали за ним вины, кроме той, что вдохновитель американской Независимости числился «англичанином», а других притязаний на его гражданство, увы, не было предъявлено.

«Был издан указ о заключении в тюрьму всех лиц, родившихся в Англии, — Пейн сам рассказывал историю

своего ареста. — Но поскольку я являлся членом Конвента и, кроме того, наряду с американцами, в том числе с мистером Вашингтоном, оказался удостоен почетного французского гражданства, данный указ меня не коснулся. Тогда издали другой указ — об изгнании из Конвента всех иностранцев. И как только, согласно этому указу, мое изгнание состоялось, тут уж по первому указу силою двух Комитетов, Общественного спасения и Главной полиции, находившихся в полной власти Робеспьера, я оказался подвергнут арестованию, как англичанин... До такого накала ненависти и подозрительности дошел в те дни Робеспьер со своими Комитетами, что, казалось, им страшен любой еще остающийся в живых человек».

Да, как говорит Олар, гильотина работала не переставая. Чуть было не поместили в Люксембург самого Робеспьера, и если бы в люксембургском подвале еще нашлось место, тогда они, вероятно, поговорили бы по душам, тем более что в дни невольного досуга Пейн успел набросать «Опыт о натуре Робеспьера».

О, Пейн не стал мстительно иронизировать над Неподкупным, не стал его упрекать. Как упрекать такого человека? В чем? Он не подличал — ошибался. Надеялся усмирить ураган. Хотел, чтобы одни не столь корыстно держались за свои привилегии, а другие не столь яростно боролись за свои права.

Но подвал был слишком переполнен, комендант крикнул: «Не открою!» — и встреча, быть может самая знаменательная из всех, что выпадали на долю Пейна, не состоялась.

А потом — бред, болезнь, многодневное забытие. Когда же Пейн очнулся, то и Робеспьера на свете уже не было, и «Опыта» при нем не оказалось.

Не стало пославших Пейна в Люксембург — это первое, что, придя в себя, он осознал. Второе — его собственное положение не изменилось и, судя по всему,



не изменится: никаких особых распоряжений относительно него как не было, так по-прежнему нет.

Страшная пустота дворца, обезлюдившего за время Пейнова недуга (который оказался, конечно, легчайшим исходом по сравнению с участью остальных), дополнялась давящей пустотой снаружи, где, как видно, никто его не ждал. И если страха смерти Пейн не испытывал, то ужас полнейшего одиночества готов был его настигнуть.

«Ваше молчание, — писал Пейн Вашингтону, — вместо выяснения причин моего заключения и протеста против него скрыто подразумевало, что я отвергнут и брошен. Не хотелось бы мне подозревать Вас в предательстве, однако я вынужден считать Вас предателем до тех пор, пока своими практическими действиями Вы не дадите мне повода изменить свое мнение».

Стремясь вызвать отклик Вашингтона, Пейн писал: «Вам самому, вероятно, было бы легче, если в отношении меня Вы бы поступили, как положено, ибо оказался ли я покинут Вами ради ублажения английского правительства, был ли я Вами оставлен на погибель, чтобы впоследствии можно было тем громче поносить за мой счет Французскую Революцию, или же хотели Вы от меня отделаться ради устранения любой оппозиции самоутверждающемуся американскому правительству, всякое из объяснений может послужить таким упреком Вам, каковой отвести нелегко».

Никто и не собирался опровергать или оспаривать какие-то упреки. Молчание, и все.

Тогда, не дождавшись от президента отклика приватного, Пейн решил потребовать его к ответу публично...

Идея открытого обращения к Вашингтону привела посланника в отчаяние.

— Повремените! — уговаривал Монро.

О письмах частных еще можно было в собственное оправдание сказать, что Пейна удалось удержать, удалось ограничить его претензии пределами личной переписки, но разоблачительная речь человека, чье имя, как его ни замалчивай, успело стать всюду известным, чьи слова, что ни говори, воодушевляли войска и заставляли к себе прислушаться английский Парламент, французский Конвент и, конечно, американский Конгресс, — эта речь могла обернуться бурей. Поэтому, оказывая практическую поддержку своему подопечному и, быть может, внутренне соглашаясь с ним, американский посол все же убедительно просил не идти на обличение главы американского правительства.

Опережая события, скажем: посол проявил проницательность — его сразу отозвали, получив Пейново послание, которое все же было написано. Если коварный Моррис оставался на месте, несмотря на все грязные слухи, гневные жалобы и тревожные донесения, поступавшие о нем за океан, и лишь угроза грандиозного скандала, а также некоторая перемена государственного курса заставили наконец убрать этого циника, то Монро вытребовали домой незамедлительно. Тут уж ответ, пусть не Пейну адресованный, не заставил себя ждать, едва только открытая депеша пересекла океан.

Письмо было отправлено окружным путем, через Англию. В тот момент из-за дипломатических маневров американского правительства, пошедшего (вопреки советам Пейна) на контакт с британской короной, прямое сообщение между США и Францией нарушилось, и пришлось прибегать к английскому посредничеству.

В Лондоне один издатель, заглянув в зажигательный документ, хотел было не выпускать его из рук. Хотя писания Пейна в Англии запрещены, а сам он заочно осужден, издатель, прикинув конечную выгоду, срочно

дал знать, что готов заплатить за эпистолярный памфлет крупную сумму. Пустить в заокеанских бунтовщиков словесный снаряд исключительной взрывной силы никогда не помешает. Но разве дело в авторской коммерции? «Пусть первой это прочтет Америка», — был ответ Пейна. И письмо поплыло дальше, через Атлантику.

В Америке верный друг, преданный приверженец-пейнист, впрочем отнеся расходы на бумагу за счет Пейна (дело есть дело), поместил письмо в своей газете.

Не сразу поместил — не целиком: послание в семьдесят страниц было бы велико и для объемистого журнала. Печатая письмо порциями и как бы подливая масла в огонь, газетчик-пропагандист накалял атмосферу постепенно.

Об этом газетчике мы еще кое-что узнаем. Это был Бен Баше, внучатый племянник Франклина. Публикация началась в октябре, велась не только по ходу избирательной кампании, но и прямо накануне президентских выборов, когда решался вопрос, оставаться ли Вашингтону на третий срок. Своевременно. Трудно даже себе представить, что тут поднялось и какие разыгрались страсти.

Подобные исторические документы ложатся, как помета, поперек дороги, где идет движение в одну, в другую ли сторону, но — идет. И вдруг на пути, на торном, в обе стороны наезженном тракте — яма, в которую и заглянуть боязно. Стремитесь ли вы вперед или назад, хотите двинуться туда или обратно — тут что справа, что слева ни объехать ни обойти: провал, руины устоявшихся представлений. Кто-то пытается подобное откровение подхватить как полную («Наконец-то!») правду, кто-то хочет ниспровергнуть как гнусную ложь, а большинство, оказываясь не в силах уместить это в сознании, просто пожимает плечами, не зная, что и думать.

во что же тогда верить?! Ведь если послание Пейна к Вашингтону или о Вашингтоне: иногда Пейн обращается к нему, а иногда — к публике, — словом, если это самое послание читать как достоверный документ, тогда... кто же такой Вашингтон, в котором американский народ чтит вождя и освободителя? А Пейн знал Вашингтона!

До сих пор говорят, что такого письма, правдиво оно или нет, прежде всего не следовало писать. Ведь разоблачения бывают разные. Одни лишь вредят признанной репутации, другие самую почву из-под нее, словно из-под памятника, выбивают. Иную репутацию никакие разоблачения, сами по себе обоснованные, не сокрушат. Если великий человек умел сам над собой посмеяться (чего Вашингтон совершенно не умел), если скандальные факты не мельчат крупной фигуры, то ореол вокруг нее пусть потускнеет, но все же останется. Даже Нерон, удавивший собственную мать, или Генрих VIII, отправивший на эшафот и своих великодушных жен, и своего великого канцлера, не поддаются разоблачению дальше известного предела. Нерон был чудовищем, но все-таки не пигмеем, а Генрих VIII, хоть зверским способом, выводил свою державу на путь величия. Но представьте себе на минуту, что Нерон оказывается всего лишь проходимцем, что Генрих VIII вроде бы даже и самовластным не был, то с чем мы останемся? Великое «Fuimus!» — «Мы были!», то есть «Жили не зря», эта мера индивидуального присутствия среди людей не стирается в общей памяти до тех пор, пока какие угодно разоблачения не затрагивают «не зря» — свершения, однажды признанного. Лучше ли, хуже ли будут думать о ней новые поколения, фигура остается. Каких собак на самого Пейна ни вешай, как ни умаляй его заслуги, ни отнимай их одну за другой, ведь это он писал, сидя у костра, на барабане, затем, под тот же

барабан, им читали написанное. Риторика его выглядит вялой? Что ж, но та самая риторика некогда трогала (было!) людские души и сердца. Можно умалить и порочить им написанное, однако это его слова. А что касается Вашингтона, то Пейн посягал на самый факт его существования как значительного лица. Нет, разумеется, не собирался он отрицать, что был на свете (он же его знал!) некий долговязый джентльмен (со вставными деревянными зубами), носивший генеральский мундир и возглавлявший американскую армию. Мало этого, тот же господин не только носил мундир и занимал высокий пост, он и отдавал приказы, он, можно сказать, разыграл от начала и до конца ту роль, какую знала за ним молва: вождь Революции,— но именно разыграл, даже очень удачно, как актер. А разве актер произносит собственный текст и движется на сцене по своей воле?

Вот каков был открытый удар, нанесенный той же рукой, которая прежде низвергла в глазах американцев авторитет британского монарха. Что было бы с нашими соотечественниками, русскими людьми, произносившими в ту пору имя первого американского президента исключительно в одном ряду со словами Свобода и Справедливость, если бы до них дошло это письмо? Однако, судя по всему, не дошло, а вообразить их отклик еще труднее, чем представить себе потрясение соотечественников самого Вашингтона.

Ни о ком из прославленных лиц, которых довелось ему знать, Пейн так не писал. Несохранившаяся статья о Робеспьере, набросанная в Люксембургской тюрьме, пока Пейн ожидал своей смертной очереди, вероятно, не была хвалебной, но известно все остальное, вышедшее из-под его пера или же из его уст касательно Робеспьера,— никогда его он не разоблачал. Приветствовал и спорил, считал человеком выдающимся и заблуждаю-

щимся, однако не разоблачал, и — разоблачать нечего: Неподкупный был неподкупен.

А Наполеон? Если ожидания Пейна оказались Бонапартом обмануты, то Пейну оставалось винить разве что самого себя, не разглядевшего, с кем он имеет дело. «Он же мне говорил, что я буду вместе с ним», — в самооправдание повторял Пейн, имея в виду планы похода на Англию. Вдруг — Египет, а ведь где-то на северном побережье и суда уже подтягивались, вроде до двухсот пятидесяти военных лодок набралось. А разве не говорил Наполеон, что он читал Пейна и что за его идеи ему надо поставить памятник из золота? Наполеон не раз провоцировал Пейна, выражаясь при нем об англичанах в том духе, что все они стервецы, проходимцы, и желая вроде бы проверить степень его готовности в самом деле двигаться вместе с ним. Почетный гражданин двух стран (поскольку английского гражданства его лишили сразу же, еще по выходе брошюры «Здравый смысл»), Пейн и правда оставался англичанином — сам судил о своих соотечественниках резко, но другим не позволял. В данном случае, однако, он пропускал антианглийские выпады мимо ушей и в ответ не говорил того, что ему потом приписывали либо тогда же подговаривали сказать о Бонапарте: политический шарлатан. Нет, Пейн, присматриваясь, проверял, как мог, свои впечатления. Ему хотелось верить (очень хотелось), что дело двинется и его страна станет (с помощью Наполеона) свободной. Желание стало убеждением, убеждение вышло из-под контроля, но каково по обстоятельствам и срокам было его знакомство с Бонапартом? Не без оснований, разумеется, Пейн произносил свое излюбленное: «Я знал»... но сколько знал, настолько и ошибался. Как бы там ни было, о Бонапарте Пейн до конца своих дней не сказал плохого слова. Хорошего — тоже не сказал. Наученный опытом уж он в дальнейшем судил и говорил о Первом Консуле

(а потом — императоре) как о прожженном политика-не, с которым держаться надо настороже.

Но если Пейн чуть было не очутился в тюремной камере с Робеспьером и едва не отправился в поход вместе с Наполеоном, то его знакомство с Вашингтоном измерялось не «чуть» и не «едва». Рука об руку они шли сквозь все бури и поражения. Из одного котла хлебали!

«Пришло время, сэр, говорить неприкрашенным языком исторической истины», — обращался к Вашингтону Пейн.

...Долговязый всадник врезался в толпу (считавшуюся армией) и, бросаясь с хлыстом на людей, орал:

— Как с этим сбродом воевать за Америку?!

Лишь естественная преграда, полузамерзшая река Делаваэр, остановила народное воинство.

Бежали они от самого Нью-Йорка в панике, чудом перебравшись через четыре реки. Генерал Грин, при штабе которого в ту пору находился Пейн, предлагал сжечь Нью-Йорк, лишь бы не оставлять его противнику. Вашингтон этому все-таки воспротивился, и город стали укреплять, как могли: в основном красным деревом, которое брали тут же, с кораблей, стоявших в Нью-Йоркском порту. Но кроме фортификаций надо было бы упрочить дух горожан и дисциплину в армии, ибо еще до начала всякой очередной битвы, которую справедливее назвать побоищем, первым противником народной армии являлся понос (в том числе и от страха), вторым — вертеп, а третьим — бутылка. Как перепившийся или, точнее, спаиваемый индеец считал, что, раз уж выпивку создал всемогущий Манито, пить надо помногу,

так и ополченцы про себя повторяли: «Да будет так! Не нами заведено...» А голод? Грызли кору деревьев, варили сношенные сапоги, офицеры почитали за лакомство есть собак, притом своих, любимых. И это — армия, солдаты которой впоследствии были запечатлены в бронзе, как стоявшие всегда наготове. Это была толпа, она отступила из-под Бостона (где будто бы, согласно устойчивому мнению, повстанцами были одержаны первые победы), а затем побежала из Нью-Йорка...

Бежали и за позор это не считали. Ведь только подумать, от кого деру давали? От армии одетой и обутой, сытой и вышколенной, настоящей, Королевской!

Воюя с Англией, американцы продолжали почти полностью равняться на англичан, стараясь быть как можно больше похожими на противника.

Нью-Йорк считался у американцев Ливерпулем, Бостон — Бристолем, а Филадельфия — Лондоном (хотя, надо отметить, наиболее знаменит был, как колыбель революции, все-таки Бостон: американцев так и называли бостонцами, и всякий, кто хотел им выказать сочувствие, играл вместо виста в бостон. «Это было, — говорит Сегюр, — знамение великих перемен»). Но если Ливерпуль являлся поистине городом, то Нью-Йорк оставался селением, и по нему, как в селении положено, бродили свиньи, а вокруг простирались огороды. Жили же в Нью-Йорке обыватели, которые в абсолютном большинстве понятия не имели о том, что за война и какая такая Независимость. Зато отцы города, имевшие о том понятие, вовсе не считали Независимость желательной, они даже свою собственную декларацию предлагали — Зависимости. Если подсчитать, за разрыв с английским королем стояла только треть американцев, не меньше — за короля, и еще треть оставалась ко всему безразличной, ей — что Зависимость, что Независимость.



130, *смерть Корнелиуса, Иоганна Ангера,*  
*дочка Браун ген. ика. в мюльбурге*  
*смерть, мюльбурге Браун ген. мюльбурге*  
*и галерее в Браун и Браун мюльбурге*





Так что здесь, как, впрочем, и в других городах и даже целых штатах, консервативные симпатии были очень распространены.

Один южный плантатор был настолько уверен в правоте своего дела, что для борьбы с противниками старого правления, как тогда выражались, собирался вооружать рабов. А в Нью-Йорке роялистским уклоном особенно отличалось семейство де Ланси — с могущественными словесными и деловыми связями, тянувшимися через океан, из Англии в Америку, туда и обратно, в обе стороны. Выдавали они себя, правда, за сторонников Свободы, но для них это означало лишь свободу от налогов, а когда они прикинули, что платить королю обойдется все-таки дешевле, чем делиться чем-либо со своими согражданами, то сразу же словом и делом восстали против самой идеи Независимости.

Если простодушные обыватели, распугивая на улицах индюков и свиней, из любопытства бежали к берегу посмотреть на великолепные английские парусники-красавцы, которые в огромном числе шли и шли из-за горизонта к их городу, то лучшие (богатейшие) люди того же города, вроде де Ланси, приветствовали те же паруса, будто свои знамена. А когда «Орел», британский флагман, развернулся и рванул по городу для примера и острастки из всех своих пушек, то обыватели попрятались, а лучшие люди принялись изнутри подрывать береговую, и без того никудышную, оборону.

Даром что братья Бушнел намеревались на сверхсовременном подводном аппарате нанести удар снизу, по днищу вражеского корабля, сам старик де Ланси, глава клана, не поскупился и снарядил вполне по-старомодному, основательно, кавалерийский отряд, готовый ударить по республиканской армии с тыла. Во главе отборного отряда поставил он своего сына, капитана Оливе-

ра, который прямо из-под носа Вашингтона тут же утек к англичанам \*.

А что подрывать или расшатывать, когда трусость, пьянство и разврат уже сократили силы защитников Нью-Йорка почти вдвое. Считалось, что у Вашингтона под ружьем семнадцать тысяч человек, но многие разбежались или же просто пошли по домам, считая, что срок их службы истек. Это были те «бойцы до срока» и «патриоты на час», о которых говорилось в первом из Пейновых «Кризисов», но ведь не регулярная армия — сезонное ополчение, иначе говоря, вооруженный народ, милиция. Многие и вовсе проводили время не в строю, а в борделях, которые, как на смех (или грех), в Нью-Йорке располагались на «святой земле»: вокруг старейшей городской церкви. С землей здесь всегда было трудновато-тесновато. Тут же, вдоль развалин бывшего бастиона, шла улица Валовая (Уолл-стрит), на которой прямо возле Ассамблеи Вашингтон давал торжественную клятву, тут же церковь Троицы с кладбищем, тут же и дома с красными фонарями. «Пойти по святым местам» означало среди солдат весело время провести. А потаскухи — это же самые отъявленные пособники контрреволюции, они телом вроде бы повстанцам отдавались, а всей душой стояли за британскую аристократию, потому — самая богатая клиентура. И затягивали эти твари в свои сети ополченцев, разлагая армию: либо до нитки оберут, либо заразят, либо то и другое сотворят, а иногда после всего еще и прикончат.

Вашингтон, когда стал солдат собирать, почти половины армии и недосчитался: больше десяти тысяч никак не наберешь, и те по дорогам, проулкам и переулкам растекаются. Главнокомандующий прямо глаз сомкнуть

---

\* Все это упоминается у Купера в «Шпионе», причем де Ланси названы прямо по имени, а ведь это и были родственники его жены.

не мог: на часок-другой приляжет, а тут бегут, кто куда. А на них надвигалась сила в десятки тысяч. Одних только кораблей с берега насчитали четыре сотни. Некий дотошный наблюдатель даже сказал с известной гордостью (со страхом пополам): «Видать, весь Лондон к нам приплыл!»

Почему Лондон не обрушился на Нью-Йорк, почему адмирал Хоу не взял в плен Вашингтона? Британский флот, пришедший на Нью-Йоркский рейд, способен был не то что осадить — мог с лица земли стереть заокеанскую деревушку. Три раза по меньшей мере Хоу имел возможность не только победить, но и поголовно уничтожить армию повстанцев. Почему же адмирал, у которого был случай задержать Вашингтона на рее, даже в плен его не взял, позволяя ему всякий раз ускользнуть? Случайность ли, сговор какой-то, уходящий корнями неизвестно куда? Этого теперь уже не скажешь.

Конечно, та эпоха еще была полна чудес. Пейн своими ушами слышал от Барлоу, как сожгли ведьму. Калиостро судили как мага и волшебника. Самого Пейна и всех радикалов считали членами тайных обществ. Их подозревали в связи с масонами, иезуитами и розенкрейцерами. Мы даже не поясняем всех этих названий, потому что до реальной подоплеки все равно не доберешься. Постоянный последователь и сотрудник Пейна Никола де Бонвиль был масоном — известно, а про Пейна говорили, будто его поддерживают так называемые илюминаты, причем баварские. Но мало ли чего только про него не говорили? И что это все аначит практически?

Разумеется, всегда существуют скрытые, неофициальные связи «поверх барьеров». Подобных связей, например, не могло не быть при родовом единстве аристократии, составлявшей, по словам Пушкина, одно семей-

ство. Это семейство под ударами буржуазных революций распалось, но все же бароны разных стран оставались «своими людьми». Стоило правительству, например английскому, чуть посильнее притеснить свою же аристократию, как они, оппозиционеры, искали поддержки у зарубежных родственников, скажем у французов, то есть просто-напросто у врагов, а свои интересы аристократия ставила выше интересов отечества и шла на войну лишь в том случае, если противник внутренний, иными словами свой же народ, казался ей страшнее. Маленький человек, оказавшись замешанным в большую политику, не мог разобраться во всех высших интригах до тех пор, пока не понимал, что даже короли шпионят в своем королевстве. Современники в большинстве случаев о том только догадывались, а мы теперь знаем, какую, допустим, мзду Карл II получил от Людовика XIV (сто пятьдесят тысяч фунтов плюс любовница) за секреты собственной страны.

Что же касается малопонятной медлительности англичан в борьбе с американцами, то ведь альтернативой независимости являлась оккупация, а это было чересчур накладно — король и так поиздежался, стараясь, как всегда, загрести жар чужими руками.

Зависимость отстаивали (в значительной мере) наемники. В красных мундирах — пруссаки (британцы хотели еще подешевле солдат взять — из России, да *мактуша царица* не продала, хотя отдельные случаи бывали) \*, в голубых — сами англичане. И уж амуниция и харч —

---

\* Даже Федор Васильевич Каржавин ошибался, предлагая американскому Конгрессу свои услуги в качестве переводчика на том основании, что английский король будто бы уже нанял для отправки в Америку двадцать тысяч русских солдат. О том велись переговоры, о том распространялись и слухи, но сделка все же не состоялась. А случайные люди из России, по своей или чужой воле попавшие в Америку, принимали участие в англо-американской войне и с той, и с другой стороны.

с американскими сравнения никакого. А каков харч, таков у солдата и кураж. Красные-то мундиры, шедши в атаку, псалмы во все горло распевают, голубые — тоже во все горло, просто сквернословят от души, и с боем барабанным шагают за рядом ряд... Как тут устоять?

Были отважные сердца в рядах американцев. Были! Те же братья Бушнел — Давид и Эзра: хотя их секрет перехватили, но, к счастью, никто среди англичан этому не поверил, и «Черепашу» построили. Правда, Эзру, хотя он и был здоровяк, настигла болезнь всей революционной армии — дизентерия. Тогда Давид, щупленький, уговорил начальство, и ему прислали сержанта, как ни странно, тоже Эзру по имени. Этот Эзра оказался опять-таки малый не промах: в подводный аппарат, где надо было сидеть на поперечном бревне, глядеть в две дырочки и вертеть педалями, поместился, в глубину погрузился — и поплыл. Все шло, как надо, но кто-то не учел прилива: время спутали. Сержант Эзра крутил педалями изо всей мочи, и все же, какой-никакой он был удалец, его относил в сторону. Однако сержант (фамилия у него была Ли), как истинный герой, одолел волну и добрался на «Черепаше» до «Орла», британского флагмана. Оставалось просверлить дно корабля специальным устройством, прикрепить взрывчатку — и давай бог ноги. Дно, злодейское, не просверливалось. Кто-то не учел, что британцы на своих судах успели ввести новшество — медную обшивку подводного килля, и сверлильное устройство оказалось бессильным. Эзра-герой не сдрейфил. Крутя педалями что было сил, он шарил по дну флагманского судна, надеясь найти слабое место, но, увы, тщетно. А тут воздух кончился, поэтому, как ни крепись, сержант был вынужден всплыть, и его сразу заметили, благо рассвело (а начали операцию затемно), и поймали, приведя на буксире к морской батарее (где теперь

тюрьма и музей). Взрывное устройство взорвали. Да, судя по тому, как повскакали со своих постелей жители Нью-Йорка, услышав под утро взрыв, от флагмана с адмиралом Хоу остались бы одни воспоминания, не помешай несвоевременный прилив и неожиданная обшивка.

А горстка смельчаков из Мэриленда? Полностью от своих отрезанные, они пошли в наступление на целую армию, из Бруклина с холма хорошо было видно, как шли: полковник с клинком наголо, за ним цепочка человек в полтораэта, а впереди — многослойная стена из красных и голубых мундиров. Вашингтон аж зажмурился, и это все, что он сделал, и еще, правда, сказал: «Ах, какие герои!»

Был и разведчик-одиночка, студент из Йела, совсем молодой парень, со второго курса, взяли его в плен, стали петлю надевать и спрашивают, не жалко ли ему, что не успел пожить, а парень вроде бы сказал: «Жалею, что у меня всего одна жизнь, которую могу отдать за Родину» \*.

Раньше Пейн видел грубые, общие различия. После границы, разделявшей врагов и друзей Независимости, следующая ступень: корыстные и бескорыстные в рядах ее сторонников. Первую категорию составляли ловкачи, вроде Морриса или некоего Дина (ему под стать), примазавшегося к братьям Бушнелам и клавшего себе в карман большую часть государственных субсидий на их изобретение (с этим типом у Пейна тоже были счеты). А вторая категория — это и были собственно борцы, но теперь и ряды борцов как бы расслаивались у него в памяти. Не только в рядах, но и во главе этих рядов Пейну виделась фигура, которую обстоятельства, относи-

---

\* О нем, между прочим, в «Шпионе» тоже говорится. Ведь Купер учился в том же Йельском университете и слышал об этом парне.



тельно случайные, выдвинули на ведущее положение. И вот этот человек, возглавив уже не армию, но государство, вместо новых принципов власти пользовался средствами старомодными, давно известными, только еще ухудшенными. За что же сражались и гибли те герои?

«Порицание не одобришь извинениями, и я не собираюсь приносить вам какие-либо извинения, — открыто писал Вашингтону Пейн. — Чреватый многими событиями кризис, до которого двуличная Ваша политика довела положение дел в стране, нуждается в расследовании, не скованном церемониями».

Как восстановить истину? Какие события совершались, как запечатлела их общая память? Можно ли сказать, что предание — это лишь легенды? Предание сохраняет смысл совершившегося, отражая его даже в искажениях. Искажения — поправки к случайностям, проясняющие суть основных обстоятельств. Это задним числом составляемый сценарий того, как все должно было произойти. Жизнь тороплива, предание размеренно. Жизнь не знает тех пауз, в которые могли бы уложиться правильные диалоги или прекрасные фразы, передаваемые из уст в уста, как будто и в самом деле некто в такой-то момент сказал... Кто сказал? Момент не был! Была, как всегда, сутолока, но словно тень, промелькнуло что-то похожее, и чей-то внимательный глаз либо ухо уловили «верно замысла» самой истории.

Разве тот парень, которого англичане казнили как шпиона, мог изъясняться ритмической прозой, хотя и учился он в университете? Подвиг Эдварда Гейла стал известен семьдесят лет спустя, только из архивов, когда обнаружили письма того самого офицера, который его как раз и вешал. А выбитую на всех памятниках

фразу «об одной жизни» герою все-таки приписали; по документам же, парень ответил просто, когда его спросили, зачем он на рожон попер: «Приказ надо исполнять». Ответ тоже неплохой, но кому-то, вероятно, показалось нужным что-нибудь такое, в духе древних, хотя, кто их знает, самих древних-то, ведь они тоже по земле не на трагических ходулях ходили, и выражались ли они в том духе, какой известен нам в качестве античного? «Пришел, увидел, победил» — так ли они говорили? А вдруг они говорили: «Гм-гм... значит, так»?.. Главное — побеждали они при этом или нет? Поведение Эдварда Гейла в легенде о нем запечатлено точно, суть дела, даже по свидетельству врага, заключалась именно в этом: безропотно встретил смерть.

Способна ли была капризная злючка Мария-Антуанетта блеснуть, хотя бы злой, остротой? Но логику ее характера кто-то подсмотрел и отчеканил — во фразе о пирожных, будто бы произнесенной мадам Дефицит.

Ведь существует особое направление — история представлений, изучение того, как из отдельных фактов возникали и утверждались формулы или картины исторических событий.

Во времена Пейна сама идея исторического развития являлась столь же новой, какой для нашего века оказалась идея относительности. Пейн на себе чувствовал движение истории, его собственная жизнь становилась легендой у него на глазах.

«Вы же знали Вашингтона! Из одного котла хлебали». Правда? В общей молве Пейн слышал эхо собственных слов, но тот, о ком он говорил, не откликнулся на его призыв, и прежние слова уже не шли с языка. Обида обострила давно возникшее сомнение: было ли все это наяву или же всего лишь хорошо рассказанный сон?

Кто, в самом деле, хлебал? Можно ли вообразить этого холодного ханжу у солдатского котла? Да, бывали

обеда в штаб-квартире, долгие обеды с большой выпивкой и с лакеями в перчатках (черными лакеями в белых перчатках), и дали эти трапезы повод для слухов о том, будто командующий заботится о сытости воинского состава. Так вот, писал теперь Пейн: Вашингтон проявлял заботу о других исключительно в тех случаях, когда это ничего не стоило ему самому. Никогда и ничем он не жертвовал лично, а если пошел против короля, то прежде всего потому, что чересчур много задолжал британской короне. Впрочем, таков, сугубо корыстный, был мотив борьбы почти у всех «отцов Независимости».

Ах, до чего ясно вдруг представил себе Пейн лица государственные, высокопоставленные, уже прославленные, а ему по-свойски знакомые до морщин; они возникали перед ним, будто видел он их только вчера. Старые друзья, однако в новом освещении, переменившем свет и тени, и вроде бы мимолётное сделалось главным.

Сам Франклин, великий покойник, воспоминания о котором, казалось, не подвержены воздействию времени, вдруг стал выглядеть иначе. Пейну вспомнилось, как мудрец однажды сказал: «Чудесная вещь разум, доказать и оправдать с его помощью можно все, что угодно». Тогда Пейн не воспринял этого даже как шутку, ему подумалось, будто он чего-то просто не понял, ибо над Разумом шутить не привык. А ныне мало того, что ему вспомнилось это лукавое замечание, ему пришло на память и другое: как все тот же Франклин, усмехаясь, давал советы полковому священнику...

Тот жаловался на ополченцев: либо вовсе не ходят в церковь, либо плохо слушают его наставления. «А надо бы им выпивку *после* проповеди давать», — отвечал Франклин, и лицо, обычно осененное великой мыслью, вдруг явило зрелище хитроумного расчета, какой-то игры с теми, кого он призывал жертвовать жизнью ради общего дела и счастья.

И ведь эта игра вдруг роковым образом обнаружилась через его собственного сына. Получив благодаря авторитету отца-республиканца пост губернатора, Франклин-фис заявил о своей верности... британской короне. Пейн, конечно, знал об этом, но до поры до времени, до своих собственных невзгод, как бы и не знал, словно ситуация, чересчур щекотливая, неприятная, запропастилась куда-то, затерялась в запасах его памяти. И все это знали, и все избегали обсуждать, зато внутренний голос твердил на ухо Пейну на прямом языке: она, правда-то, вон какая — отец голосует за Конституцию, а сын стоит за короля, отец призывает к борьбе за Независимость, а сын, роялист, под арестом!

Сын какого угодно другого отца, конечно, и арестом бы не отделался. Один богатейший помещик-виргинец пустил себе пудю в лоб, понимая, чем для него чревата Независимость, другой, из Северной Каролины, замешкался, так его, словно зверя, травили по лесам, куда сбежал он, предварительно спалив свои поля и постройки. А с Франклином-младшим еще и переговоры вели: не позволит ли изменить свою позицию? Нет? Пусть хотя бы от губернаторства откажется, а то неловко — папаша от штата Пенсильвания представляет в Конгрессе, а сынок в штате Нью-Джерси правит именем короля...

Сам старик нэр ездил упрямивать. На все лады уговаривал, предлагал: «Чего ты хочешь? Чего тебе только надо?» Сорок семь лет. Как раз средний возраст лидеров американской Свободы (самому Вашингтону тогда было столько же). Все пути открыты. Прямо хоть сейчас можно получить звание генерала. Затем, если угодно, возглавить Конгресс. Мало Конгресса — страну и нацию. Ведь сын Франклина!

«Что такое генерал вашей армии? — отвечал фис отцу. — Кому нужен какой-то Конгресс?! Для кого такая свобода? Потомки фанатиков, умудрившиеся в семнадца-

том веке казнить ни в чем не повинного короля, хотят пошатнуть мировое могущество своего исконного отечества! К чему этот пыл? К чему крайности?» Вот что ведущий борец за Независимость услышал от собственного отпрыска. Франклину-младшему было невдомек, о чем люди хлопочут, когда он место в жизни и в обществе получил словно в подарок, как бы само собой, без борьбы и усилий. «Кто хочет Равенства?» — вопрошал младший, уже помышлявший о титуле, пусть ненаследственным, но все-таки аристократическом. Зависимость от Англии ему очень нравилась, привлекала его как перспектива, ибо, получив благодаря протекции отца-свободолюбца в Новом Свете все, что было можно, он мечтал совершить паломничество на древнюю прародину и воспользоваться также преимуществами Старого Света: надо же ценить и традиции.

Так и уехал отец ни с чем. Пришлось сына — под стражу, а Старика отстранили от составления Декларации Независимости, хотя по замыслу она вроде ему принадлежала.

Положение Франклина-старшего осложнилось, как мы теперь понимаем, из-за того, что на американской земле он являлся английским резидентом... Благожелатели Франклина среди историков стремятся обелить его, но этого никогда не отрицали, об этом старались забыть или обозначить иначе — переименовать факт. Зачем говорить «сговор», когда то же самое можно назвать «близкими отношениями» и даже еще как-нибудь поприличнее, помягче? В свое время даже Пейн об этом понятия не имел, однако ему и без того было достаточно пищи для ума, для размышлений. И хотя в письме к Вашингтону он осторожно называет Франклина «уважаемым», не мог же он не видеть логики событий.

Сын Франклина не пошел по стопам отца, а ведь именно ему Франклин-пэр посвятил свою автобиографию,

написанную в назидание потомству. Как вести себя в жизни, как, не пользуясь сословными привилегиями, ковать свое счастье исключительно собственными руками, как создать самого себя,— на все подобные вопросы отвечал Франклин, и не действовали его рецепты на ближайшего потомка и преемника. Возможно, именно поэтому разочарованный мудрец не завершил свой труд, увидевший свет лишь тогда, когда из памяти новых поколений стерся конфликт между знаменитым отцом и пресловутым сыном. А современники, тот же Пейн, разумеется, помнили все слишком хорошо, видели все своими глазами...

Видели и не видели, помнили и не помнили, поддаваясь какому-то гипнозу, исходившему от самого имени — Франклин. А теперь как не спросить себя: мог ли наставить на путь истины новые поколения человек, не научивший, чему полагается, собственное чадо?

Дети как бы обличают родителей, являя своими склонностями и своим поведением скрытые родительские устремления и помыслы. О чем отцам мечтается, то сынами осуществляется, мечтается в глубине души, всем существом вынашивается, словно плод, получающий осуществление в другом человеке. Природу обмануть нельзя, она всякому человеку показывает его подлинную суть, явленную на свет в детях.

На примере Франклина, как мог убедиться всякий, в том числе и Пейн, это выглядело красноречиво, ибо мало что сын, но и внук готов был пойти против дела, вдохновляемого дедом. Полного семейного раскола и общественного позора Франклин избежал, лишь увезя внука от греха подальше, взяв его с собой в Париж.

Когда вот-вот должны были сдать Филадельфию и Конгресс решил, что необходимо послать за поддержкой во Францию делегацию, то первым поименован был, разумеется, Франклин. А уж он своим авторитетом

убедил Конгресс, в других случаях считавший свои затраты до цента, отрядить вместе с ним секретарем семнадцатилетнего внука, а заодно и внучатого племянника шести лет.

О том, что Франклин привез в Париж «внучат», даже докладывал в Санкт-Петербург российский посланник, впрочем не бравшийся тотчас же толковать этот шаг. «Франклин приехал вчера в Париж, — сообщал наш посол князь Барятинский. — Публика столько им занята, что ни о чем ином более теперь не говорят, как о причинах его приезда сюда, и столько разных известий, что и знать не можно, на чем подлинно основаться... Одни рассказывают, что он приехал сюда только для того, чтобы отдать двух своих внучат в здешние училища, а сам поедет в Швейцарию и везет с собой золото в слитках на 600 тысяч ливров здешней монеты с намерением купить себе тамо замок и спокойно кончить свою жизнь...»

Средств как-то не нашлось, чтобы отправить, допустим, того же Пейна, который даже с государственным поручением ездил повсюду за свой счет, но Франклину оказали снисхождение, даром что оба его юных родственника, и внук и племянник, выросли врагами Вашингтона: один стал законченным роялистом (хотя его благословлял вождь вольномыслия Вольтер \*), а другой потом и опубликовал открытое письмо Пейна — от души печатал, сил не жалел, разве что за бумагу взял, но это бизнес, тут не до чувств, личных или общественных.

Поехали с Франклином, кроме того, уже и нам неизвестный делец Дин, а также Артур Ли, брат конгрессмена. Предлагали ехать Джефферсону, тот отказался — словно предчувствовал, ибо склоки затеяли и злобы

\* Об этом, как известно, упоминается у Герцена в «Былом и думах». «Бог и Свобода, — сказал восьмидесятилетний Вольтер, — вот единственный девиз, достойный внука Франклина».

проявили посланцы немало, донося друг на друга. Из Парижа в Конгресс Ли сообщал, что Дину доверять не следует, Дин писал, что Ли — прислужник врага, и оба нападали на Франклина, а когда прислали еще и Джона Адамса, тот прямо доложил, что Франклин не способен исполнять государственные обязанности.

Кто же в итоге пострадал? Пейн! Они обличали друг друга в грехах и просчетах, реальных и мнимых, а виноват вышел Пейн. Всем сошло с рук, кроме Пейна, ему все припомнили и поставили в упрек. Он потерпел убытки и к тому же пострадал морально, они же преуспели и прославились как патриоты. А все было так.

Франклин, великий умелец пользоваться услугами окружающих (проповедуя самостоятельность), передоверил практическую сторону дела Дину и Ли, разве что поделив сферы их деятельности. В скромном черном кафтане усмиритель молнии (устроитель громоотвода) блистал умом на раутах, а тем временем его люди должны были добиваться от французов помощи.

Парижская квартира Дина, которую чересчур громко было бы назвать резиденцией, играла роль негласного призывного пункта, на который являлись волонтеры, желавшие ехать за океан сражаться за Свободу. Первыми среди явившихся были Лафайет и Костюшко. Но именно их заокеанский посланец не уговаривал, а отговаривал ехать, плохо веря в дело, которое полномочно представлял. Филадельфия в тот момент как раз пала, Конгресс перебрался из первой американской столицы в провинциальный городок, американское дело представлялось почти безнадежным, и, видимо, судя по себе, Дин считал, что пристать к такой затее могут только авантюристы. Все же двое энтузиастов освободительной борьбы, одному из которых еще не исполнилось двадцати, а другому только перевалило за тридцать, упростили дать им рекомендательные письма.



Однако не волонтеры, которых в большом числе, да еще задаром, не наберешь, были важнейшей целью американской делегации. Помощь или поддержка, которых они искали в Париже, должны были выражаться в официальном признании и, главное, снабжении оружием, ибо кому нужно признание без вооружения?

Дин наконец нашел надежного поставщика. Им оказался писатель-драматург. Да, драматург. То был Пьер-Огюстен Карон, по театру — Бомарше, не кто иной, как автор «Женитьбы Фигаро».

Незадолго до встречи с американским посланником Бомарше исполнил деликатное королевское поручение, отправившись в Лондон и проведя там переговоры с так называемым кавалером д'Эоном, таинственной личностью, о которой даже не могли толком сказать, какого она (он?) пола! «Я знал д'Эона», — говорил Пейн, но уж это был случай, когда он сам не решался утверждать, кого же он знал: в лондонской пивной на Пикадилли с ним сидел определенно кавалер, а в покоях русской императрицы то же лицо видели, несомненно, как даму \*. С таким человеком, прекрасно понимавшим технику двуличия и лицедейства, Карон-Бомарше быстро установил общий язык, заполучив от него документы, необходимые королю: эти письма, попадись они не в те руки, могли скомпрометировать его величество.

Вступив в партнерство с Дином, Бомарше действовал от имени фирмы под названием «Родриго Орталес и Компания», хотя ни Орталеса, ни тем более Компании на самом деле не существовало, то была маска или ширма, пользуясь которой французское правитель-

---

\* Автор исторических новелл Валентин Пиккуль сделал д'Эона героем романа «Цером и шпайгой». Он не решился высказать достаточно определенной версии: кем же был его герой? Но можно ли это поставить нашему автору в упрек, если Пейну не мог того сказать даже врач, осматривавший д'Эона после смерти?

ство (королевский двор и министр иностранных дел Вержен) предпочитало помогать американцам.

«Министерство здешнее, — писал из Парижа Барятинский, — всячески старается скрывать даваемую под рукою американцам помощь. Вчерашнего дня от полиции дан приказ: во всех кофейных домах и трактирах об американских делах не рассуждать».

Тут наш посол смотрел в корень: французы были готовы не только что продать — подарить американцам порох, ружья и прочую амуницию, лишь бы это не было разглашено. А почему? Да потому, что такой подарок был ударом в спину: для одних — подарок, другим — удар. Подарок, понятно, американцам, а удар, уж само собой разумеется, для англичан.

Соприкосновение с заокеанским рассадником революционной заразы, каковое позволил себе французский король, оказалось опрометчивым с точки зрения интересов внутренних. Но это стало очевидно лишь в дальнейшем, спустя десять лет, во время штурма Бастилии и ареста обитателей Версальского дворца, особенно если учесть, что распоряжался арестом генерал американской революционной армии, он же — французский аристократ-маркиз, который некогда приходил к американским посланцам в эту самую армию записываться. Увы, кто способен предвидеть будущее? Зато с внешнеполитической стороны маневр французского правительства можно было сразу расценить как некорректный. Монарх протягивает руку бунтовщикам! Мало того, эти самые бунтовщики есть непокорные подданные другого монарха. И этого мало: другой монарх — ближайший сосед.

Говорят, поддерживая Америку, Франция хотела отомстить Англии за потерю своих колоний. Но с колониями Франции пришлось расстаться по договору в результате Семилетней войны, а это что за козни? Разве в приличном обществе, среди своих, так поступают?

Например, Екатерина не продала Георгу английскому солдат, чтобы усмирять заокеанских мятежников, однако принять у себя американского посланника тоже не решилась: дожидался-дожидался американец официального приема при царском дворе, да так ни с чем и уехал. Ведь не только американской дипломатии, но и американской державы пока никто не признавал. Американцы могли сколько им угодно провозглашать себя, пользуясь словами Пейна, Штатами Свободными и Независимыми, но ежели они и сами толком не знали или не хотели знать, кто это первым сказал, то уж другие государства видели в этом бессмысленный, незаконный набор слов, неведомо на каком основании составленный.

Новый Свет в глазах Старого Света был, по общему разумению, населен дикарями и каторжниками, в лучшем случае колонистами — все это люди худшего сорта, неспособные занять подобающего места в метрополии, на основной земле, отребье разное: стремятся куда глаза глядят, ищут приключений, идут на авантюры, только бы вернуться «другими». А это всего лишь — с тугим кошельком, со средствами, которые бы позволили новую одежонку купить и подлость свою природную прикрыть, а откинть кафтанчик-то новенький, хотя бы и бархатный, под ним та же шкура грубая и порода низкая. А янки-самозванцы и того хлеще выдумали, в гордыне своей хамской занеслись незнамо куда: новое общество сами из себя желают учредить. Их не то что за союзников, их за противников достойных признавать нельзя, ибо что еще за самозванство такое, когда на этой грешной земле всякое положение определяется свыше, от Бога. А если и они, раскольники проклятые, тоже именем божьим клянутся, то не давать им потачки, стеной стоять против них, и все. Нельзя плебеям потворствовать. Что, к примеру, русская императрица стала бы говорить, если бы британский король, которого она братом назвала, при-

знал Пугачева? А ведь Луи французский Георга тоже братом называл!

Словом, если французам хотелось подбросить дровишек в заокеанский революционный костер и тем самым отвлечь внимание англичан, то делать это надо было в секрете, большом секрете.

Тайна — незаменимое средство дипломатии. Так уж сложилось веками. Почему? Потому что власть-то — она хотя и от Бога, а интересам служит вполне земным, человеческим. Хотел ли французский король помочь американским повстанцам? Он, всерьез говоря, даже насолить англичанам не думал. Думал он только о том, где достать денег на поддержание своего двора и своего образа жизни. Ради этого король был готов помогать даже революции. Позднее французы оказали американцам уже открытую военную помощь, и у берегов Америки появились две французские эскадры, одну из которых возглавлял человек с фамилией нам знакомой — д'Эстен, адмирал, предок Жискара д'Эстена, бывшего французского президента. Люди с «де», с титулами, отправлялись на помощь стране, отвергнувшей сословные предрассудки, но что же делать? Надежда была на то, что эта помощь самим французам поможет, ослабив их извечного врага — Англию. Соперничество с Англией требовало миллионов, и жизнь двора тоже требовала миллионов, между тем все, что только можно (и нельзя) из отечественных ресурсов, прежде всего из крестьянства, оказалось выкачано. Большие маневры французской дипломатии на исходе восемнадцатого столетия были направлены на то, чтобы любой ценой добыть средства для существования изживающего себя королевского двора.

Поначалу французы решили своим заокеанским соотечественникам помочь тайком. Вроде бы некая фирма, похоже, по названию испанская, поставляет в колонии оружие,

а, паче чаяния, англичане перехватят опасный груз в открытом море, то — дело частное, негосударственное. Оружие, конечно, конфискуют, поставщиков, разумеется, оштрафуют, но правительство тут ни при чем. Помощь есть, и ее как бы нет. Так решил двор и Вержен, но комедиограф-коммерсант Бомарше решил иначе. Он предъявил американскому Конгрессу счет в 4 (четыре) с половиной миллиона ливров, и это вполне естественно, если учесть, что мастер интриги не только не собирался задаром что-либо за океан отправлять, но и назначил за порох цену в пять раз дороже, а за мушкеты, уж ладно, поставил полцены.

Мушкеты были старые, списанные из французской армии, но ополченцам случалось идти в бой вовсе без оружия, поэтому им и старые мушкетыгодились. Они из них постреляли совсем неплохо, нанеся англичанам первое поражение под Саратогой, недалеко от Нью-Йорка (как раз в тех местах за двадцать лет до этого французы сражались с англичанами, а пятьдесят лет спустя это опишет Куер в романах о Кожаном Чулке).

На радостях от победы, конечно, заплатить можно, но уж сумма непомерно велика. Чтобы не ошибиться, Конгресс запросил Дина, а тот отвечал, что надо отдать деньги не рассуждая и как можно скорее. Лишние слова тратить, разумеется, нечего, но ведь и миллионы на ветер не бросают. Дина вытребовали домой, чтобы объяснил ситуацию.

В ту пору Конгресс стал что уголовный суд: расследования крупных хищений следовали одно за другим, уж не знали, как тут быть, как судить. Ведь не то чтобы все являлись преступниками, но само положение влиятельных лиц не позволяло им не класть в свой карман средства, предназначенные на общее благо. Что поставлялось для армии, то обходилось втридорога, а потом

уходило куда-то, перепроданное еще дороже. Кое у кого даже возникли опасения, как бы вместо освободительной борьбы не вспыхнула междоусобица: одни воюют, а другие вору... вооружают, кого положено, себя при этом не забывая снабжать всем необходимым — домами, каретами, и не просто домами, но с усадьбами, и не только каретами, но целыми выездами.

А какие стали носить драгоценности! В Старом Свете борьба за подобные бусы и кольцо раскалывала политические партии, вызывала кризис министерских кабинетов, вела к падению правительств, как было с теми жемчугами, что омрачили репутацию французской королевы, опозорили одного кардинала, разорили двух банкиров и привели на скамью подсудимых самого Калиостро.

Как по волшебству, в Новом Свете иные зажили так, словно война не только уже закончилась, но никогда и не начиналась, ибо лица в каретах были почти неотличимы от тех, с которыми в ходе войны предполагалось покончить. Особенно нагло вели себя торговцы солдатскими сапогами да ружьями, сплавляя их неизвестно куда, в то время, когда кто-то и где-то стоял насмерть без сапог и без ружей.

Вот и вытребовали Дина, этого, как выразился историк, спекулянта на революционных порывах. Однако Дин, сочетавший в своей натуре, как это часто бывает, большую хитрость и большую глупость, прибыв к родным берегам, не собирался сдаваться на милость властей. Назначенный Конгрессом для разбора дела Комитет требует у него отчетные документы, а Дин заявляет, что забыл их во Франции, затем сам переходит в наступление, взывая к мнению общественности и требуя компенсации таким тоном, будто страдает чуть ли не герой Саратоги.

От Саратоги Дин находился за тридевять земель, и в битве под Саратогой главную роль сыграли не плохие

ружья, поставленные за хорошую цену им и Бомарше, а смелость американского полковника Арнольда и легкомыслие английского генерала Бергойна, но унять этого зарвавшегося проходимца можно было по-свойски, без шума, не затевая целого дела.

Пейн помешал!

Документы, которые как секретарь Конгресса по иностранным делам носил он при себе в сундучке, он возьми и опубликуй.

Зачем он это сделал? О нем речь, о Пейне.

Хотел, понятно, изобличить лихоимство, что называют коррупцией. Из документов с неопровержимостью следовало, на каких условиях «Орталес и Компания», то есть Дин и Бомарше, должны были поставлять оружие: даром.

«Поставки, приписываемые господином Дином своей инициативе и предприимчивости, были нам предложены в качестве подарка даже до того, как прибыл он во Францию», — писал Пейн в «Пенсильванском пакете».

Да ведь не в том, даром или за деньги (кто бы ни клал их себе в карман), заключалась суть, а в секрете. Получили оружие — и фини (шабаш). А что вышло?

Дин человек невежественный, разумеется, не знал толком разницы между позором и почетом, но действовал-то он от имени американского правительства. Выходило, что помогать заокеанским повстанцам небезопасно. Им помощь предоставили секретно, надеясь на их скромность, а они огласили эту весть на оба света, и Новый и Старый.

В том же «Пенсильванском пакете» Пейн писал: «Если кому-нибудь этого еще мало, то я могу предьявить и другие бумаги...»

Мало ли? Смотря для чего. Для каких целей. Если ставить вопрос — зачем, то... какого черта вообще надо

было это печатать?! Ведь в результате всем стало только хуже.

Всем-всем:

— длинному ряду, или, лучше сказать, запутанному клубку, лиц, которые грели руки непосредственно у государственного очага (помимо Дина там был замешан и Моррис, будущий носол, брат своего брата, отвечавшего в Конгрессе за финансы, и пр. и пр.);

— целым общественным институтам, начиная с американского Конгресса и кончая французским министерством иностранных дел;

— двум государствам.

Пришлось французскому правительству отречься от своих щедрот и утверждать то, чего не было, а именно будто никто и никому ничего не дарил в государственном порядке, а если что и было, то, надо полагать, какая-то сугубо частная сделка, о которой правительство и знать не знает.

Конгресс США со своей стороны вынужден был решительно отрицать то, что было: «Конгресс никогда не получал в подарок никаких запасов оружия от французского правительства либо от частных лиц».

Из этого неотвратимо вытекало, раз не дарили и в подарок не получали, то за оружие, доставленное на трех судах, надо заплатить ради соблюдения видимости частной сделки.

А если бы не Пейн, если бы он помалкивал, то и платить бы не пришлось. Сделали бы внушение Дину, который неизменно находился на привязи у властей: за любое из «предприятий», хоть с братьями Бушнелами, хоть с Бомарше, его можно было тут же судить. Припутливали бы и Бомарше, за которым компрометирующих, готовых для суда дел числилось тоже предостаточно. Такие люди всю жизнь существуют на пограничной полосе между дозволенным и недозволенным, они



всегда к услугам закона, нужно ли закону кого-нибудь покарать или же хочет закон кого-нибудь помиловать.

А тут пришлось перед Бомарше расшаркиваться. Направили ему, черт его возьми, письмо, противоречившее истине в каждом слове:

«Сэр,

Конгресс Соединенных Штатов Америки, ценя Ваши усилия в интересах нашей страны, приносит Вам свою признательность и заверяет в своем к Вам почтении.

Соединенные Штаты выражают сожаление относительно неудобств, испытанных Вами ради поддержки Штатов. Обстоятельства помешали вознаградить Вас согласно желаниям самих Штатов, но теперь будут приняты самые срочные, имеющиеся в нашей власти меры для того, чтобы выплатить Вам наш долг.

Свободолюбивые чувства и широкие воззрения, которые лишь одни способны были руководить поведением, подобным Вашему, очевидны в Ваших действиях и являются украшением Вашего характера. Служа своему повелителю Вашими великими дарованиями, Вы в то же время обрели уважение нашей новорожденной республики, и Вы удостоитесь заслуженной хвалы всего нового мира.

По указу Конгресса

Председатель».

Вот, дьявол его поberi, чего натворил Пейн! Пришлось опубликованное им объявить подлогом. Как можно разглашать секреты государственные, к тому же двух государств сразу!

Официально фирма «Орталес и Компания» существовала, Бомарше был ее председателем, а Дин — представителем Соединенных Штатов. Соединенные Штаты! Слышит ли мистер Пейн? Понимает ли смысл этих слов? Вор он или не вор, этот Дин, — вопрос второй, а рас-

крывать в печати, что подобная миссия имела место, — преступление, государственное преступление.

Секрет являлся секретом полишинеля, проще говоря, шилом в мешке. И Барятинский доносил в Петербург, что американцы, как видно, приехали в Париж за оружием, и английская разведка тоже не спала, в свою очередь зная о «подарке».

Что ж, пусть о том знает целый свет! Главное, никто этого открыто не признавал. Ведь не за страну стыдились — за себя боялись: как бы не пришлось выяснять, у кого какие средства поднакопились и откуда.

Судить ли Дина или нет — по этому пункту голоса разделились. Но что от Пейна избавиться необходимо, дабы он еще чего-нибудь не обнародовал, в этом все были единодушны (а голоса считал Моррис, который (благодаря братским связям) плохо представлял себе, где его собственный карман кончается и начинается государственная казна).

Все остались при своих. Только Пейн остался без сундучка. Вернее, сундучок ему вернули (хранится в музее), а государственные бумаги передали в другие, более надежные руки и приняли такое решение: «За свою нескромность мистер Пейн должен быть немедленно смещен с должности секретаря Конгресса по иностранным делам».

Как-то, возвращаясь по Рыночной улице (в Филадельфии), Пейн услышал у себя за спиной:

— Куда-то прется З-здравый...

С улицей Рыночной, пересекающей две реки, у Пейна были связаны особые чувства. Первая улица Американского континента, по которой ему довелось пройти. Кто только не ходил по Рыночной! Как можно миновать улицу, вокруг которой, как на оси, вращается вся жизнь города? Сам Франклин свой путь на вершины американ-

ской политики начал с Рыночной улицы (с краюхой хлеба в кармане). А Пейн, впервые шагая по Рыночной, гордился не только тем, что идет по стопам самого Франклина, но — им напутствуемый, с его рекомендательным письмом. Франклин направлял Пейна в Филадельфию как человека, по его мнению, способного и полезного.

— Эй, ты! — сзади опять прозвучал хриплый окрик.

Даже имея при себе охранную грамоту, письмо Франклина, Пейн осматривался тогда по сторонам с известной робостью. Что ждет его здесь? Он прибыл издалека, из-за океана, англичанин, без семьи (развелся), без средств. Чужак. Одно слово, чужак. Но миновало некоторое время, и по той же улице Пейн проходил, высоко поднимая голову. Кто же его здесь не знает? Начал он помещать в местном журнале дельные статьи и полезные советы, рецепты разные, сведения о технических новостях, сообщения о собственных изобретениях, например о бездымной свече (занимательная штука!), а потом... Потом — «Здравый смысл». Печатался неподалеку, за углом, на 3-й улице, у Белла, четвертый дом с правой стороны. Отсюда, да, именно отсюда прозвучало слово американской Свободы.

— Эй, длинный, умерь прыть! — не унимались преследователи.

С какого-то момента его американской жизни Пейну уже и представить себе было трудно, что когда-либо, как на первых порах, он вновь испытает чувство одиночества и бесприютности.

А за спиной у него был слышен уже один только хрип, какой-то рык вместо дыхания, и когда Пейн обернулся, то даже не успел никого толком разглядеть, как получил удар по уху.

Дернул головой, и взгляд его устремился в небо, пустое и высокое.

В каждой стране есть что-то особенно красивое. Скажем, хотите увидеть зеленые поля, истинно зеленые, поезжайте в Ирландию. А в Америке — прямые улицы, стриты, с той и с другой стороны упирающиеся в горизонт.

Во времена Пейна эти улицы, конечно, еще не были столь строго вытянуты, но уже наметилась прямизна, олицетворяющая те возможности, что на этой земле, согласно Декларации Независимости, должны открываться перед каждым.

Получив удар и дернув головой, Пейн невольно уперся взглядом в самый конец Рыночной, тот конец, что выводил к реке Скайлкли. Там он думал воздвигнуть свой мост, одна дуга — без опор, символ связи и единства, но у него подряд перехватили.

Другой, еще более сильный удар заставил его пошатнуться, и в полусознании он чувствовал, что его бьют и поворачивают. Костыля в спину, поворачивают лицом к другому концу Рыночной улицы — к реке Делавар. И там он хотел построить мост, тринадцать секций, по числу штатов, но его опередили.

Ударили и ногой. После чего Пейн покатился в придорожную канаву, а над ним, откуда-то сверху, прозвучало хриплое:

— Подыхай!

Автор «Здравого смысла» лежал в липкой грязи, и словно чей-то голос ему нашептывал: «Вот, стало быть, как: участника революции — взашей, а вора, на революции нажившегося, и осудить нельзя, перед вором извиниться надо».

И лежи в придорожной канаве. Будь доволен тем, что особо сильно лупить не стали. Ну, это, надо полагать, только на первый раз.

Весь в грязи, вдохновитель борьбы, в результате которой увечившие его люди получили возможность ходить

по этой центральной улице, выкарабкался из канавы и поплелся своей дорогой.

Кто это идет по Рыночной улице? Бродяга? Отщепенец? Почетный гражданин Пейн.

Дома он достал заветную бутылку.

Наполнил первую... вторую... третью... Ребра перестали ныть. Он успел сказать громко вслух: «Что же это?» И погрузился в тяжелый сон.

Потом ему дали понять, что пусть лучше едет во Францию, однако, в отличие от Франклина (с внучатами), за свой счет.

Одни только неприятности припосил Пейн и себе и людям, открывая (на голову всем) какую-нибудь правду.

Кто его просил вступаться за акцизных чиновников? Положим, просили, но — о чем? Было это еще до его приезда в Америку, в Англию. Устроился он там в акциз — спиртное проверять, чтобы не разбавляли и налоги за него исправно платили. Вознаграждение за такой труд маленькое, вот Пейна другие акцизные и попросили: видят, человек грамотный, вроде понимающий, пусть составит такую умную бумагу, чтобы им жалованье повысили.

Когда в ответ на просьбу сослуживцев Пейн составил петицию «Дело акцизных чиновников» и, отпечатав его (за свой счет), повез в Парламент, то Парламент единодушно, силами обеих палат, поднялся на дыбы: это еще что такое?! Допустим, суть дела изложена ясно, но ведь это же будет прецедент, иначе говоря, потачка. Сегодня удовлетворим требования акциза, завтра запросит армия, послезавтра — флот, и начнут все кому не лень, из казны тащить, вместо того чтобы в казну вносить. И потом, почитайте, что он тут пишет, и притом нельзя отказать, красноречиво пишет: «Ничто так не раз-

лагает нравы и принципы, как житейские обстоятельства чрезмерно трудные, а разложение (или коррупция) склонно само себя, по мере возможности, спасти, как та гадюка, что яд лечебный носит в себе самой». Иными словами, безденежье вынуждает, видите ли, брать взятки, поддаваться на подкуп, закрывать глаза на мошенничество. Оказывается, акцизные чиновники только и живы тем, что, ввиду низкого жалованья, завывают крепость спиртного, получая за это соответствующее вознаграждение. А ну, проверим его самого, языкастого, пользуется он служебным положением в корыстных целях или не пользуется, да так проверим, чтобы ему впредь за себя и за других кланяться было неопасно.

Испугавшись правительственной ревизии, непосредственное начальство Пейна решило его немедленно уволить. На каком основании? А на том, что службу оставил. Как же так — «оставил», когда он поехал за общее дело ратовать? Дело общее — расплата частная. Разве за то надо было ратовать? Зачем же было вступать в это дело, так вступать, чтобы в надзоре за торговлей крепкими напитками обнаружилось сплошное жульничество? Просили его способствовать прибавке жалованья, а не изъятию побочных доходов, которых как раз хватало бы (плюс повышенное жалованье). И поделом ему — выгнали из акциза, как не справившегося с исполнением ответственной должности.

Потом говорили: не выгнали бы англичане Пейна из акциза, не было бы у американцев революции, ведь оставшись без должности, он уехал в Америку. Однако и американцы его погнали. А что иначе было делать? Ради общего же блага Конгресс всего лишь не хотел огласки дела Дина, но Пейн в какое положение всех поставил? Какая открылась картина? Два государства секретничают, представители этих государств под шумок

опять же мошенничают! Подделал ли Пейн опубликованные им документы, которые он просто вынул из сундука, выяснять смешно, но еще более смехотворно признать его показания достоверными, поэтому пришлось показания объявить поддельными, а его самого выгнать. Да, заклеить и гнать, гнать и гнать, чтобы отправлялся прочь и ни под каким видом не оборачивался.

Но и это, видно, ничему его не научило, и во Франции, в Конвенте, стал он в неудобнейший момент просить за короля, за сохранение его жизни и высылку вместо казни: кому тогда был нужен гражданин Капет? В живых его оставить было бы не жаль — боязно было очутиться в том вдруг обнаружившемся списке, что Слесарь державный и простой слесарь в стенку заделали.

Как только в тот список заглянули и как только в нем «лев Революции» попался всем на глаза, так стало ясно, что дальше тот список лучше и не читать, уж это такой вредный свод политического двурушничества, полное перечисление тех, кто, словно по ведомости, получал плату из королевского кармана, выступая вроде бы не по правую, а по левую руку от председателя Национального собрания. Кто мог подумать, что Мирабо, который рычал: «Молчание народов — урок королям», который провозглашал: «Парижу нужны одни деньги, а страна ждет законов», — что этот лев на жалованье государственном состоял? Льву уже не больно и не боязно, даром что прах его из Пантеона выдворили, а вдруг свое собственное имя в том же списке как-нибудь ненароком увидишь? И хотя даже Барер, подписавший ордер на арест Пейна, не мог потом ему объяснить, за что, собственно, был он взят под стражу, все же именно история с королем сыграла свою роль. Нечего было, пока целы, разводить рацеи о милосердии. Раз уж разговор о списке надо прекратить, а сделать это нельзя иначе, кроме как прикончить Слесаря, то — без лишних

слов, без лишних слов. А Пейн? Хотя двух слов по-французски связать не может, из-за него три дня изнывали в прениях, еще и от страха тряслись: как бы в списке не обнаружиться! И гражданин Напет был приговорен к прогулке на Тарпейскую скалу, а почетный гражданин Пейн вскоре отправился на жительство в Люксембургскую тюрьму.

Куда же еще его девать, коль скоро он не нужен? Революционный Конвент не акциз и даже не заокеанский Конгресс. Из акциза уволить можно, из Конгресса — убрать. Из Конвента же дорога либо прямо под «бритву общего пользования», либо до поры до времени в Люксембург (поскольку Бастилию разрушили). И пусть этот Пейн восславит ту дверь, что вовремя не затворилась, пусть скажет от души «спасибо» рассеянному тюремщику за то, что все же посчастливилось ему не повстречать Сансона во второй и последний раз!

Так в Англии скандал с акцизом, в Америке дело Дина, а во Франции суд над королем кончился плохо для... Пейна. Разумеется, ничем хорошим тот же суд не кончился для короля, и даже Дин пострадал по-своему, но ведь Пейн уж вовсе, казалось бы, ни при чем. Кто-то плохо страной управляет, а кто-то хорошо ворует из государственной казны, но почему-то внакладе остается Пейн.

Что озадачивало почетного гражданина при воспоминании о любой из подобных ситуаций, так это выражение окружающих лиц. Ни на минуту ни у кого, кажется, не возникало сомнения, будто можно думать, говорить и действовать, не осуждая его, Пейна.

— Это вами напечатано? — вопрошал председатель Конгресса Джон Джей, потрясая номером «Пенсильванского пакета» с таким мрачным торжеством, будто



Пейн и в самом деле опубликовал злостные и безосновательные измышления.

И это негодовал тот самый Джей, который в свое время не подписал Декларацию Независимости, воздержался! А ныне, сделавшись главным блюстителем государственной чести, он выдавал разоблачение государственного преступления за разглашение государственного секрета.

Любой реальный политик посмеялся бы над Пейном, как над истинно простодушным. Но Пейн не хотел быть реальным политиком, он стремился быть политиком принципиальным. Кроме того, он убеждался, что «реальность» в устах тех же ловкачей служила еще одним названием их интересов. Перед умственным взором Пейна, по мере того как проверял он свои воспоминания, все резче вставал вопрос: это сторонники Равенства? Демократы? Граждане? Всмотрись же в их черты, загляни им в душу.

Джон Адамс, вице-президент (посмеиваясь): «Почему бы не сделать президентство потомственным?»

То есть как почему? Да хотя бы потому, что боролись за то, чтобы никаких династий никогда больше не было. Ложились костьми, не щадя живота своего, стояли насмерть ради других — выборных — принципов власти.

— Ты не понимаешь, Том, — заметили Пейну во время разговора, происходившего в исключительно узком, избранном кругу, — Джон предлагает передавать пост президента по наследству, как корону, потому что у Джорджа нет своих детей, а у него есть. И значит, как только президентом станет отпрыск вице-президента из колена Адамсов, так их хватит надолго. Ха-ха-ха!

Все захохотали, и Пейн тоже засмеялся: можно ли было в ту пору, когда по всей Америке валили статуи короля и отпиливали им головы, всерьез гово-

рять о династиях? Можно ли поднять людей на смерть и муку, если они знают, что гибнут за то, чтобы вместо одного борова, развалившегося на троне там, на старой родине, здесь в президентское кресло уселся другой боровак, поменьше?

Воскрешая в памяти ту сцену, Пейн отчетливо видел, что Адамс, посмеиваясь, на самом деле не шутил. И если сейчас семейство Адамсов по их образу жизни и месту в обществе не считать знатью, то как же еще их называть? «Демократическая аристократия», черт возьми, «народная элита», дьявол подери, да это какое-то «деревянное железо». Язык не поворачивается выговорить, в сознании не укладывается. А они существуют себе, и баста. Вице-президент, президент, посол или хотя бы консул — и все Адамс, пер, фис, внучек, правнук, не считая племяшек. И они же еще с укоризною взирают на всех, с укором: «Ах, было время, а ныне что за грубые морды!» Да, милые мои, было время, когда ваш дедушка шутки шутил, а сам, не шутя, дела обделывал, о вас заботился.

Александр Гамильтон, полковник, секретарь Вашингтона, будущий министр финансов (без улыбки): «По крайней мере, места в Сенате должны назначаться пожизненно».

Пейн и тогда, услышав это, не поверил своим ушам: превращать в прибыльные должности представительство от народа?

А присутствующие, то ли потому, что предложение было поскромнее предыдущего, более конкретно, — они даже не засмеялись и принялись обсуждать, как, в самом деле, это устроить...

Възвѣстятъ всѣмъ, что въ  
этомъ случаѣ, всѣмъ, въ случаѣ, всѣмъ  
въ случаѣ, въ случаѣ, въ случаѣ,  
въ случаѣ, въ случаѣ, въ случаѣ





А... а... вот оно... Свет и тени переместились таким образом, что выражение интереса, своего, личного интереса сделалось очевидным на лицах тех, кого усилиями памяти он вызывал на суд или хотя бы на свидание. Что называлось Равенством или Свободой — вдруг сократилось до вопроса (в глазах): «А я?» — и что называлось Человеком — воплотилось в человека и даже человечков. То была, пожалуй, наиболее заметная и самая существенная перемена: общее оказалось частным, и там, где значился идеал, появился интерес.

Нет, Пейн не был наивен настолько, чтобы забыть о человеческой корысти. Разве он когда-нибудь призывал к упразднению Собственности? По данному пункту он выдерживал штурмовые атаки Клоотса, Глашатая Человечества, спорил, хотя бы заочно, с вожаком коммунистов — Бабефом. Он помогал учреждению Американского банка, первого национального (неанглийского) банка на американской земле. Подобно тому как верования, привитые с детства, мешали ему взять в руки оружие, но все же он шел с бойцами в ногу, так и материальное преуспеяние: сам за богатством не гнался, но другим в том не препятствовал. Внутренняя американская политика тех времен выражалась двумя французскими словами: «Лэссе-фер!» Буквально: «Дайте действовать», а по существу: «Разрешите разбогатеть!»

— А на каких принципах?

— Да... ..их, принципы! Лэссе-пассе! «Дайте дорогу» — в смысле «Пусть поживут!».

Ничего такого Пейн, понятно, никогда не говорил, он ни на минуту не забывал о принципах, провозглашая: «Долой рабство! Долой крупные землевладения! Да здравствует Конституция!» Как бы краем глаза он замечал, что всеобщее попустительство каким-то странным образом укрепляло рабство, увеличивало поместья и позволяло обходить Конституцию.

Проверка воспоминаний давала неожиданный результат: все это он видел уже, видел и не мог до конца взять в толк. И только теперь с неотразимостью это было в глаза: выгода в борьбе заслонила все, очень многое, что прежде казалось действиями самого Разума во имя Справедливости.

Зависимость-то пустяковой была, как она теперь задним числом представлялась. Американцы платили английскому королю налогов меньше, чем сами англичане. Жалобы американцев на «невыносимое бремя» были скорее проявлением гонора, чем реальным горем. Налоги стоили рядовому американцу в канун революции примерно доллар и двадцать центов в год. Тогда считали, понятно, еще на шиллинги, но нам-то — что шиллинги, что доллары... Одно для сопоставления можно сообщить: чай, послуживший поводом для первой вспышки недовольства, для так называемого «бостонского чаепития», этот чай облагался налогом, и все американцы, конечно, любили попить чайку, но чай был столь дешев, что, говоря всерьез, надо было поглощать по ведру чая на человека в день, чтобы за это набежали сколько-нибудь заметные расходы. Кроме того, было сколько угодно контрабандного, еще более дешевого, чая, да и много ли его выпьешь, чаю-то?

Налоги сказывались на прибылях купцов-корабельщиков, ввозивших шелк, фарфор, изящную мебель, и — на расходах тех, кто эти прелести приобретал. Но дабы не страдать от подобных налогов, для этого достаточно было каждому повести решительную борьбу, нет, не с британской короной, а с собственной супругой или дочерью. Проще говоря, требовалось не разоряться на импортные штучки, вот и все. А разве человеку, скажем фермеру, нельзя обойтись без шанхайского шелка или без гамбсова стула? Да он сам такой стул соорудит, что пять поколений на нем просидят, — не треснет и не качнется.

Состоятельные люди, вроде того же Вашингтона (или де Ланси), в какой-то мере зависимостью тяготились — это верно. Быть одновременно похожими на англичан и независимыми от них составляло сокровенные помыслы. Когда Вашингтон выезжал с гончими на охоту в красном камзоле, черном картузе, с белой повязкой, серебряными пряжками и золотыми позументами, он, разумеется, мало походил на простого фермера (каким называл себя) и тем более на повстанца, и едва ли революционный пыл в его груди равнялся его же охотничьему азарту, с каким он в открытом поле преследовал дичь. Ему, как и многим другим, того и хотелось: жить в Новом Свете по-старинному. А чего же лучше? Что менять? И зачем? Большой хозяин, как бы отец своих подданных, белых и черных, — этот идеал был фактически близок к осуществлению, когда бы истинными хозяевами положения за океаном не считались все же англичане. Если на парфорсной охоте, верхом и с собаками, Вашингтон мог показать себя не хуже лорда, то в армейском строю его способен был обойти любой лейтенант, будь только он англичанином. Вот Вашингтон и встал за Свободу.

«Личные выгоды всех видов утвердились при Вашем вхождении в президентскую должность, — писал Пейн. — Земли, отвоеванные Революцией, розданы приверженцам, интересы демобилизованного солдата отданы на откуп спекулянту; несправедливость утверждается будто бы во имя веры, прежний вождь армии сделался заступником проходимцев».

Горесть, а не злорадство испытывал Пейн в своей душе, выводя эти слова. Горесть и горечь оттого, что

проглядел. Как можно было, в самом деле, ожидать движений сердца от этого деревянного, до зубов, человека, когда он брак-то свой заключал с расчетливостью, словно сделку?

Зубы деревянные, которые вставил себе Вашингтон, служили Пейну символом тупой жесткости в натуре этого человека. Желу выбирал, как партнера, способного своим вкладом, то есть приданым, увеличить и округлить его собственное состояние. Соратников приближал к себе и отдалял от себя, даже просто-напросто отворачивался от них с такой холодностью, будто впервые видит, делая это, как все, что только он ни делал, по мере своей расчетливой надобности.

«Манера вести себя в мире у мистера Вашингтона неопишная, — писал Пейн, то лично обращаясь к президенту, то называя его в третьем лице, — это известная, по-хамелеонски переменчивая манера, именуемая благоразумием, осторожностью. А на деле это замена принципиальности, настолько похожая на лицемерие, что различить их очень трудно».

Одно достоинство у него имелось бесспорно — хорошо ездил верхом, но и это умение Вашингтон культивировал у себя с расчетом: тем самым он хотел как можно больше походить на английского аристократа.

Ах, аристократия! Не было у них в душе иного идеала, вот в чем секрет людей, клявшихся именем демократии. «Простой фермер» — это же обман, игра словами: при отсутствии титула у этого «простого фермера», чье состояние до поры до времени скрывалось, поместья не уступают владениям лордов, к тому же у лордов уже четыре столетия, как нет рабов.

«Если некие отпетые негодяи, — писал Пейн, — воруют людей и торгуют ими, это скорее прискорбно, чем удивительно. Но что многие культурные, мало того, крещенные люди оправдывают то же дикое дело и даже сами



занимаются им, это поразительно. И так происходит по-прежнему, хотя уже неоднократно целым сонмом выдающихся умов доказывалось, насколько это противно природе и противоречит любому из принципов Справедливости и Человечности».

Пейн написал это раньше, чем «Здравый смысл», еще до Войны за Независимость, но именно после войны он мог увидеть бесполезность своих призывов, поскольку зависимость от короля упразднили, а рабство все так же полустыдливо, полунапористо оправдывали и сохраняли.

Из Декларации Независимости, которую Пейн обсуждал с Джефферсоном, черных (заодно с женщинами) вычеркнули, словно людей с таким цветом кожи (как и людей другого пола) на американской земле не существовало. Своей рукой вычеркивали те, кого называли «вождями Справедливости и Человечности». И они сами себя таковыми считали, они с необычайной гордостью, глазом не моргнув, подобные звания носили. Да им и напоминать об исходных принципах вскоре сделалось невозможно, они эти принципы толковали исключительно по-своему: как между собой договорятся и условятся, так и толкуют.

«Возвышенный до президентского кресла, Вы все заслуги и достоинства приписали себе, между тем природная неблагодарность Вашего характера проявлялась все очевиднее, — писал, переходя к первому лицу, Пейн. — Вы ознаменовали начало своего президентского срока поощрением и поглощением чрезмерного обожания, Вы ездили из конца в конец по всей Америке, собирая восторги».

В этом месте письма историки все же делают попытку возразить Пейну, напоминая, что Вашингтон хотя и вел себя именно таким образом, но не из самомнения,

а ради дела, во имя единства страны. Страны? Разве нельзя было объединить страну с помощью другого символа, помимо особы правителя? Это получается уже как-то по-королевски. на манер монархов, говоривших: «Государство — это я».

«Вы получили почестей не меньше короля английского. А что до Ваших воззрений, то... эти воззрения нельзя извлечь прямо из Ваших высказываний, но Ваши приверженцы выдали секрет».

Секретом являлась новая сословность в Новом Свете, которую вместо провозглашаемого с большой буквы Равенства мечтали они установить. Ради этого сократили Декларацию и переправили Конституцию, которую для нового государства помогал составлять Пейн. Ради этого держались за двухпалатную систему, что бы ни твердили потом о мудрости подобного устройства. Ради этого... Ах, боже, сколько было сотворено ради этого, и только ради этого.

Рабство. Первым делом надо было принять этот пункт: рабство долой, и все тут. А дошло до законодательства, рука не подымается: кто же будет работать?

Необходим очень дешевый, почти дармовой труд, как нужна была земля первым английским индустриалистам, и они ничего лучше не придумали, как согнать с этой земли крестьян. А где же еще взять, когда нигде нет?

Об этом Пейн, успевший исходить пешком пол-Англии, говорил с Голдсмитом: он знал автора «Покинутой деревни» (у нас Жуковский ее замечательно перевел):

*Дни счастья! Их нет! Корыстной рукой  
Оратай отчужден от хижины родной!*

Крепостничество в Англии исчезло еще в четырнадцатом веке. Получив личную свободу и по клочку земли, мелкие землевладельцы вздохнули всей грудью — и запели о «веселой Англии», которую потом, в течение веков, называли «старой», не зная в точности, когда же существовал этот земной рай и существовал ли он на самом деле. Существовал примерно три четверти века, а потом та же земля понадобилась для овец, для пастбищ, для текстильной промышленности, и овцы начали теснить людей, начались так называемые огораживания, попросту говоря, крестьян выдворяли с насиженных мест.

Лишенные крова и наделов, земледельцы бросались куда глаза глядят, а их объявляли беглыми, бродягами, вне закона. Их (по закону) можно было не только сажать в тюрьму, но и казнить, не только пороть, но и вешать (описано Шекспиром, который, однако, сам скупал огороженные земли). Так от лишних ртов и ненужных рук, обходившихся слишком дорого, отчасти вовсе избавились, а отчасти удешевили их до искомой степени\*.

---

\* Анализ этого процесса, составляющего важнейшую часть «первоначального накопления», его «тайну», дан Марксом. В «Капитале» Маркс показал, что первой стадией дальнейшей преуспевания было ограбление. С другой стороны, отсталость и непроизводительность прежнего крестьянского землепользования тоже были очевидны. Отсюда — страницы, вписанные в летописи человечества, по словам Маркса, пламенеющим языком крови и огня. Во всю мощь и со всеми красками эта трагедия, помимо «Капитала», в литературе фактически не отражена. Такие современники и очевидцы этого многовекового процесса, как Шекспир, Дефо, Голдсмит, Вальтер Скотт, Байрон, Диккенс, Томас Гарди, лишь коснулись обезземеливания английского крестьянства, отразили косвенно, но ужас, когда земли действительно нужна, а люди действительно не нужны, показать даже у них не хватило сил и смелости. «Когда же, наконец, перестанут вешать?» — за кружкой доброго зля (или вина) вопрошает шекспировский Фальстаф, и без комментариев не узнаешь, сколько за этой репликой слез и крови. Голдсмит элегически живописал уже покинутую деревню — никто не описал подавляемую...

Но достаточно дешевых рук все равно не хватало, и тогда (в том числе у Дефо) возникла идея ввозить в Англию черных рабов. А то иначе кто же будет дробить камни на дорогах, которые позарез нужны для развития все той же промышленности, торговли, а труд тяжел, да и, откровенно сказать, заплатить за него нечем? От рабов англичане все-таки отказались, но лишь потому, что испугались худшего зла: пространства маловато — навези невольников, они позаразят всю страну.

Зато в Новом Свете, видать, есть где развернуться...

А почему пошли против женщин? Все потому же: боязно. Не бабы сами по себе опасны — пример. Равенство в правах, данное слабому полу, подсказало бы и прочие уравнивания, для других слабых и сирых.

Так пункты программы освобождения сокращались, ужимались, и выходило опять то же неравенство или рабство.

А победа? Победа! И этого, может, не было?

Пейн писал: «Со стороны естественно считать, судя по самоутверждению, с каким господин Вашингтон говорит о себе, что именно он, и только он один, совершил Революцию: что ж, кто хочет, пусть верит. Но, прежде всего, что касается политической стороны дела, к этому Вашингтон не имел отношения, а потому, стало быть, тут вообще говорить не о чем. Остается, значит, военная часть...»

А тут взять хотя бы Бенедикта Арнольда. По льду под пулями лично вел полковник Арнольд ополченцев на штурм Монреаля, грудью встретил он британцев у озера Шамплен и стоял там с матросами насмерть, он бил королевского генерала Тайрона, он бил под Саратогой самого Бергойна до полной победы, хотя и оказался тяжело ранен, а говорят — Гейтс, это будто бы генерал Гейтс явился героем Саратоги, хотя на деле он Арнольду только завидовал и мешал.

Арнольда пришлось потеснить в Пантеоне воинской славы, потому что он оказался изменником. Легче, кажется, представить себе реку Делавар повернувшей вспять, чем доблестного полковника — предателем, но получилось именно так.

Предательство не может быть оправданным, и Бен Арнольд свое получил, оставшись в общей памяти символом не доблести — вероломства.

Но кто знал его, кто близко стоял к событиям или даже, как Пейн, находился в гуще событий, тот, хотя бы задним числом, мог понять, когда именно Арнольд совершил свой первый роковой шаг к позору.

А вы, читатель, если вам известен Куперов «Шпион», тогда вы должны помнить: чаще, чем имя главного героя и даже самого Вашингтона, там называется имя, нет, не Арнольда, а некоего Андре.

Главным образом дамы в «Шпионе» говорят об Андре. Как можно было его забыть? По сию пору американки, кажется, помнят этого обходительнейшего кавалера, который оказался тогда схвачен и казнен. За что? Ах, зачем? И Арнольд в «Шпионе» упоминается, но именно в связи с Андре. А связь между ними существовала — Андре играл роль посредника между американской армией и англичанами.

Это случилось в Филадельфии. Хотя англичане оккупировали город, но некоторые американцы продолжали жить так, словно ничего не изменилось. Ничему в своих привычках, только Родине, не изменило одно богатое семейство, которое давало балы, а на балах блистал полуангличанин-полуфранцуз (как имя его и показывает) Джон Андре, адъютант английского командующего. Не было лучшего танцора... Не было и лучшего лазутчика, добавим..

Когда англичанам пришлось уйти и Арнольд стал военным губернатором Филадельфии, то же самое семейство,

не изменив в обиходе своей жизни ничего, кроме состава гостей, стало давать балы в честь американского командования.

Арнольд был человек простой, сын аптекаря. Вместо того чтобы со склянками возиться, он показал себя чудобогатырем. Американцы его ценили и недооценивали одновременно: в огонь посылали первым, а за наградами ставили в общую очередь. Случалось так не раз и не два, и накапливалась в душе воина обида.

Раз уж почестей достаточных не дают, то хотя бы пожить в свое удовольствие, видно, решил Бен Арнольд и дал себя увлечь дочери хозяина того богатого дома, одного из лучших домов Филадельфии, а также Бостона. Затем женился на этой богатой невесте, а поскольку аппетит приходит во время еды, богатство требует преумножения, а избалованность супруги — расходов, постольку и воин, следуя примеру многих, стал искать источники дополнительных доходов. Но если другим то же самое прощали, то Арнольда тут же стали судить.

А между тем супруга Арнольда познакомила его с тем, кто был еще недавно ее партнером по танцам, — с Андре.

Так нравственно пал храбрый воин под ударами своих и чужих: свои судили, чужие соблазнили лестными обещаниями при условии, что он сдаст один форт.

В самом деле, война могла бы пойти иначе, если бы Андре не попался со всеми теми сведениями, которые ему передавал Арнольд.

Андре повесили с той же оперативностью, как англичане повесили Гейла, — Арнольда взяли под стражу, но ему удалось бежать и перебраться в Европу. Закончил он жизнь свою в Лондоне, вроде Джонса, в нищете...

Конечно, Пейн и подумать бы не мог о союзничестве с врагом во имя возмездия своим внутренним недругам, но прекрасно представлял себе состояние глубочайшей уязвленности. Ведь если бы не Арнольд, то и под Саратогой

никакие бы французские ружья не помогли, и Филадельфик удерживал опять же он, Арнольд, получая от Вашингтона только выговоры, и на первый план выдвигался все Вашингтон и Вашингтон.

«...И было бы со стороны мистера Вашингтона весьма благоразумно лучше уж не касаться этого,— писал Пейн.— Слава в те поры давалась дешево, и он ее дешево получил, и никто не собирается отнимать лавров, заслуженных или нет, раз уж они были даны». Основное достоинство Вашингтона заключалось в постоянстве. Но кто тогда был непостоянен? «Я не знаю,— писал Пейн,— ни одного случая воинского предательства, за исключением Арнольда\*, и мне неизвестны случаи предательств политических в среде тех, кого сделала славными Революция, обозначенная Декларацией Независимости». Даже Дин и тот был проходимцем, но не предателем. Но когда речь идет о воинских заслугах, требуется нечто большее, чем просто постоянство, и нечто большее, чем ничегонеделание. «Не делать под силу всякому», — писал Пейн. Старушка Томпсон, в доме которой располагалась штаб-квартира, имела в этом смысле заслуги не меньшие, чем Вашингтон...

Ясно, о, до какой степени ясно это теперь виделось Пейну: возникает и осуществляется некая идея или план помимо Вашингтона — и приписывается Вашингтону. Он будто видел самые идеи, носившиеся в воздухе, которые Вашингтон, как звезды или ордена, ловил и устраивал у себя на груди. В это трудно поверить и невозможно

---

\* Пейн ошибался: спустя восемьдесят лет стало известно, что пособником англичан в американской армии был заместитель Вашингтона генерал Чарльз Ли, побывавший у англичан в плену, что осталось для американцев тайной. Пейн, не подозревая, как и все американцы, ничего, называл его «знающим военным».

понять тому, кто не был при этом. А он, Пейн, был в тот самый момент в той самой комнате или же у того самого костра и видел собственными глазами, и слышал собственными ушами, как формировались смелые замыслы — не Вашингтоном, но провозглашались уже от имени Вашингтона.

Пейн теперь до боли отчетливо видел всю внутреннюю бездеятельность этого человека, которому ныне приписывается успех всей деятельности. Если и был у него дар, так это — присутствия и присвоения: присутствия при том, как одаренные люди работали своими головами, присвоения того, что эти головы наработали.

«Формально Вашингтон занимал пост командующего, но фактически им он не был», — писал Пейн. Вашингтон на самом деле командовал только своей частью. Не имел он власти над северной армией, не управлял южными подразделениями, которые и освободили южные штаты. «Однако занимаемая должность командующего позволила Вашингтону оказаться в лучах славы и выглядеть душой и средоточием военных действий в Америке».

Принстон и Трентон, Валли-Фордж (Двойная Долина) и Брэндивайн... Одно за другим Пейн вспоминал события войны, и сознание его поистине раздваивалось. Каждое из этих названий уже овеяно легендой, в создании которой есть его немалый вклад. Выпуская «Кризисы», эти тринадцать книжек, содержавших описание текущих дел, Пейн творил историю. Он и тогда не скрывал трудностей, промахов, поражений, слова его были суровы и правдивы, и все-таки он героизировал происходившее.

А на деле? Захват Трентона обошелся американцам в четыре человека убитых и четыре раненых, но об этом Пейн не упомянул. Сражение под Трентоном: случайно, под рождество, когда англичане уже было собрались отдыхать и праздновать, войска ворвались в город, произ-



вели переполох, вот тебе и битва. А Принстон? Борцам за Независимость было разрешено взять с собой, проще говоря, грабить все, что попадет под руку. Тащили чайники, молитвенники, но Пейн этого не перечислял — не упоминал.

Да, читали Пейновы призывы перед войсками, но ведь, кроме того...

...Угрюмый долговязый всадник кричал:

— Приходит время испытаний духа человеческого!

Пощумели солдаты в ответ, однако с места никто что-то не двинулся. Всадник сам надвинулся на толпу и закричал еще громче:

— Вам будет обеспечена бессмертная слава и... и...

И во всю силу легких он возгласил:

— И прибавка к жалованью!

Вот это другой разговор. Тут глаза заблестели. А не успел бы командующий сказать этого самого, насчет прибавки (плюс бессмертие), так на другой же день после так называемой победы половина людей ушла бы из строя.

А почитайте письма Пейна того времени в Париж Франклину. Пейн едва успевает переправить в Трентон свой сундук с государственными бумагами; по соседству, в Бордентауне, у его лучшего друга, полковника Киркбрайда сжигают дом; Вашингтон надеется (почему-то), что ополченцы будут наступать или по меньшей мере обороняться, а они — бегут; между тем Пейн выражает Франклину желание посоветоваться с ним относительно «Истории Американской революции», как будто только и осталось, что описывать великие свершения, которых, впрочем, еще нет. Даже об отступлении из Филадельфии говорится так, словно, включая неразбериху и панику, все заранее задумано и сулит победу.

А кто поддержал Вашингтона, когда того и правда собирались сместить с высокой должности?

«Приготовления к обороне Нью-Йорка были столь же искусны, как и произведенное впоследствии отступление...»

Кто это писал? Писал Пейн. Благодаря строкам, прозвучавшим на всю страну, Вашингтон удержался на посту командующего. Сильно, убедительно было сказано. Еще бы! От имени Здравого Смысла.

И вот что писал Пейн теперь: «Полная бездеятельность генерала Вашингтона, когда у противника было мало сил, как и неискусный выбор позиции, когда противник имел наибольшее число сил, определили неудачи той мрачной поры... Так было в Нью-Йорке, так было при форте Ли...»

Чему же верить? Кем создана та слава Вашингтона, которую Пейн старался развеять? Кто в свое время писал о военных событиях? Прямо тут, на барабане. Рука об руку. Нога в ногу. Из одного ко...

Ах, какого такого котла? Какого?!

Картина прежних дней как бы распадалась. Конечно, времена были разные. Плохие. Такие, что уж хуже и некуда: солдаты спали по очереди, потому — одеял не хватало. А жители, им хоть кол на голове теши, хоть к стенке ставь, хоть вешай. Издадут для них приказ: «Убейтесь, пока целы, только одеяла оставьте!» А они убегут и все (до одного) одеяла с собой унесут. Патриоты они или не патриоты? А мы, говорят, без одеял спать не привыкли. А одеяла и прочее обмундирование взять негде, потому что Конгресс копейки лишней не дает. Бывали или, вернее, пришли другие времена — хорошие. Совсем хорошие. Была же ведь сколочена регулярная армия, не то что полусброд ополчения. Но при воспоминании обо всем этом уже не было в памяти Пейна порядка, о котором он сам когда-то писал, говоря о про-

думанных планах (хотя бы в обороне) и о рассчитанных действиях (пусть при отступлении).

Однажды Пейн думал наедине с самим собой: «Лет через тысячу Америка будет тем, чем сейчас является Европа. Первозданность ее склада, обратившая к ней сердца прочих народов, будет восприниматься, словно сказка, и ее прежние достоинства станут представляться будто и вовсе никогда не существовавшими. Гибель этой свободы, за которую тысячи проливали свою кровь и боролись за ее осуществление, делается поводом для всеобщей болтовни и, быть может, станет вызывать прочувствованные вздохи со стороны настроенных по-старомодному, а между тем наиболее современные, предаваясь удовольствиям, будут извращать принципы и отрицать факты».

Давно когда-то думал он так, и то была всего лишь мелькнувшая, пробежавшая в его сознании мысль. Теперь он не мог к той же мысли вернуться, хотя и десяти лет не прошло, и он писал: «Вот в каком состоянии находится сейчас Америка. Все ей надо будет отстаивать заново, при этом с потерями для себя. Если же еще есть чувство, способное вызвать на щеках краску стыда, то администрация Вашингтона должна это показать».

И затем заключал: «А что до Вас, Сэр, играющего предательскую роль в частной жизни (ибо таковым Вы оказались для меня, и это в минуту опасности) и роль лицемерную в жизни общественной, то человечество должно будет выяснить, кто же Вы, ренегат или же шарлатан, совершено ли Вами предательство наилучших принципов или же у Вас таковых никогда и не было».

И безо всякого «уважения», и уж, разумеется, без какого бы то ни было «Вашего друга», только подпись — Томас Пейн.

Хотелось бы, конечно, знать, как на это реагировал адресат письма. Изменилось ли при этом выражение его непроницаемого лица? Заскрежетал ли он деревянными зубами? Какие чувства вспыхнули в тот момент в его покрытой генеральской лентой груди?

Никаких прямых отзывов о Пейновом послании никто от Вашингтона не слышал. Некоторые даже задавались вопросом, а читал ли он письмо.

Читал. И поступил следующим образом. Как раз в то время (одна за другой) совершались попытки опозорить Пейна. В числе антипейнистов тогда еще находился Вильям Коббет (наш Фомич), хотя, в отличие от наемных писак, действовал исключительно по собственной воле, от души. Пейна Коббет, как мы уже знаем, не встречал, но раз уж перестал верить в то дело, зачинщиком которого считался Пейн, то взял и выпустил против него памфлет.

«Понятия не имею,— в своем грубоватом стиле, печатавшийся под именем Дикобраза, писал Коббет, на какие средства сейчас пробавляется Том, в каком притоне обитает. Ни для кого не имеет это ровно никакого значения. Он понаделал столько зла, сколько смог понаделать, а уж гниют ли его кости в земле либо сохнут на ветру, опять-таки неважно. Когда бы ни пришел его последний час, ни у кого он не вызовет ни малейшего сострадания. Не закроет дружеская рука ему глаза, не прольется о нем слеза. Имя Иуды даст ему погребение. Все, что есть на свете подлого, грязного, зломысленного, скверного, люди станут выражать одним кратким именем — ПЕЙН» (боль, болезнь).

Вашингтон эти слова выписал, не предвидя того, что нам известно: автор строк, ему понравившихся, переменит свое мнение и станет разыскивать те самые кости, которые предавал анафеме, и сделает все возможное, чтобы о человеке, которого он чернил, сохранилась

самая чистая память. Вашингтон этого не предвидел и, надо полагать, не хотел бы предвидеть. Понравившиеся ему слова он выписал и направил одному из своих друзей с припиской от себя: «Со скидкой на грубость, за вычетом чересчур резких выражений, при нехватке осведомленности, совсем неплохо».

Вашингтон, чтобы не показаться пристрастным, не хотел выражать своих чувств прямо, своими словами. Он, видно, не считал нужным действовать. Он подсказывал другим, как в данном случае следовало бы думать и действовать.

А один из друзей Пейна, которому тот дал почитать свое послание, будучи сам редактором и оценив ситуацию взглядом профессионала, сказал:

— Том, ты избежал топора, но теперь как бы на тебя не надели смирную рубашку.

## ПЕЙН И РАДИЩЕВ

### БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ

«Твой вождь Свобода, Вашингтон» — еще на школьной скамье мы с тобой, читатель, учили эти строки Радищева. А что, если наш выдающийся соотечественник прочитал бы открытое письмо Пейна?

Конечно, автор «Путешествия из Петербурга в Москву» не был слепым почитателем американцев. В главе «Торжок» он с восторгом цитирует Конституцию, которую составлял Франклин (которому, быть может, помогал Пейн), но зато в «Хотилове» критикует и вытеснение индейцев, и рабство негров. Проследим ход его мысли.

«Тверь» — на почтовой станции за обедом автор встречает стихотворца, у которого, как тот сам говорит, «в Москве не хотели напечатать» поэму, и едет он в Петербург «просить о издании ее в свет». Отказали ему в напечатании поэмы «по двум причинам, первая,

что смысл в стихах не ясен, другая, что смысл стихов несвойствен нашей земле».

Автор изъявляет желание стихи эти прочитать и видит: ода «Вольность», и читает то, что мы в школе наизусть учили, но именно потому, что еще в школе, поэтому позднее в ту книгу уже не заглядывали.

Ода означает прославление, однако вольность, или свобода, в этих стихах не прославляется, а, скорее, анализируется.

Иногда кажется, что Радищев в самом деле читал Пейна:

*Возникла обща власть в народе,  
Соборной всех властей удел.  
Ей общество во всем послушно,  
Повсюду с ней единодушно.  
Для пользы общей нет препон.  
Во власти всех своей зрю долю,  
Свою творю, творя всех волю:  
Вот что есть в обществе закон.*

Стихи и правда, как устами самого стихотворца предупреждал Радищев, несколько неуклюжи, но смысл их в данном случае совершенно ясен и совпадает с тем, что мы уже читали в «Правах Человека»: свобода всех — в самоограничении каждого\*.

Эту диалектику Свободы Радищев рассматривает на целом ряде исторических примеров, убеждаясь, как редко

---

\* «Вольность» была написана «под влиянием революционного духа, распространившегося в Европе», как указывали сыновья Радищева, составившие биографию отца. Они же сделали заметки на полях пушкинской статьи о Радищеве, в частности в том месте, где Пушкин рассказывает, как Екатерина сказала об авторе «Путешествия на Петербург в Москву»: «Он хуже Пугачева, он хвалит Франклина». Пушкин объяснял эти слова так: «Монархиня, стремившаяся к соединению всех разнородных частей государства, не могла равнодушно видеть отторжение колоний от владычества Англии». Пушкин писал для цензуры, поэтому не мог сказать всего, что думал (и даже в этом виде его статья не была напечатана). А сыновья Радищева те же слова

это самоограничение выдерживается, потому что сильные становятся деспотами. В частности, так случилось во времена Английской революции семнадцатого века.

В конце восемнадцатого столетия, когда уже вспыхнули революции в Америке и во Франции, постоянно вспоминали уроки англичан: появилось множество стихов, пьес, романов из эпохи Английской революции. Писали не только англичане, но и французы, и немцы, и русские.

Радищев, вспоминая вождя английской революции и английской республики, говорит:

*Я чту, Кромвель, в тебе злодея,  
Что, власть в руке своей имея,  
Ты твердь свободы сокрушил...*

Стихи опять-таки, по определению самого Радищева, довольно топорные, но суть их понятна. К тому же дальше сказано ради полной ясности: «Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...»

Эта печальная неизбежность, наблюдаемая Радищевым на исторических примерах, а Пейном — прямо на практике, объясняется, видимо, следующими объективными обстоятельствами \*. Для революционного переворота,

---

Екатерина пояснила следующим образом: «Императрица равнодушна была, но очень рада, видя затруднения Англии. Она придумала вооруженный нейтралитет для ограничения владычества Англии на морях, а отторжение колоний натурально есть первый шаг к уменьшению сил метрополии. Как глубокий политик, она только обещала послать войска в Америку против «Вашингтоновых лохмотников», но между тем пользовалась раздорами Франции с Англией, чтобы унизить Турцию, завоевать Крым и разделить Польшу... Екатерина не могла любить Франклина и Вашингтона, основателей республики, имея под боком неутомимую республику (т. е. Польшу), и притом еще поляки, например Костюшко, служили в рядах американских мясоедов».

\* А не индивидуальным «злодейством» Кромвеля, как думал Радищев в позднее — многие писатели, вплоть до Гюго, избравшие того же «железного диктатора» героем для своих произведений.

как указывал В. И. Ленин, необходимо широкое объединение сочувствующих революции сил.

Однако все, не только сочувствующие, но и прямо в революции участвующие, не могут получить свою долю при распределении революционных завоеваний. И тогда средством борьбы тех, кто свою долю получил, с теми, на кого, так сказать, не хватило, становится террор, направленный уже не только против контрреволюционных, но и против революционных сил.

Трагический опыт Английской революции, а затем установившейся и погибшей республики это действительно подтверждает. За Кромвелем шли поистине все, кому мешали феодальные ограничения и предрассудки. Но когда уже и королевская армия сдалась, и королевская голова слетела с плеч, и республиканская власть была установлена, тогда Кромвель не то чтобы не захотел, но практически не мог пойти на передел земли и всего имущества, как того требовали крайние республиканцы. Пришлось их (во главе с их лидером) тоже казнить. Полетели уже не аристократические, а демократические, чересчур демократические, головы. А ведь сражались за дело Божье — за правду прямо по Писанию, за рай на земле, когда всего будет хватать всем и каждому, сколько душе угодно. Положим, в Писании нигде того так, прямо, без оговорок, не обещано, но разве, беря для боевых лозунгов слова из Писания, его в самом деле читали?

С той же объективной неизбежностью события развернулись и во Франции. Хотя пылкие головы приписывали революционные беды фатуму, кровожадности Марата и жестокости Робеспьера, суть была в том же самом: те, кто штурмовал Бастилию или же участвовал в походе на Версаль, не все попали в долю при начавшемся распределении революционных завоеваний. Все хотели слишком много, но сохранить собственность и предоставить всем свободу таким образом, чтобы и кре-



стьянские наделы увеличить, и трудовой Париж накормить, и церковь не обидеть, и новую аристократию; не говоря уже о старой, удовлетворить, было никак невозможно. Гильотина, не разбирая, принялась отсекаать лишних в этом разделе. Лишних — количественно, ибо о качестве тут уже говорить не приходилось, и под гильотиной полегла прежде всего наиболее демократическая, то есть самая требовательная, часть общества.

В Америке не было террора в прямом смысле, хотя Пейн иногда и употреблял это слово, имея в виду жестокость, с какой были подавлены народные — *после-революционные* — волнения и восстания. Восставали уже не против короля, а против Конгресса оказавшиеся обездоленными, в том числе ветераны Войны за Независимость. А как было их не обездолить, не обделить, когда на деле и не предполагалось всеобщее довольство и равенство, оно было обещано, как всегда, на словах, понятия слишком буквально.

Но Вашингтона Радищев выделил, как бы приподнял, выведя его за пределы действия все той же закономерности, обращая его в символ истинной Свободы. Если же Радищев осуждает рабство, то вот как он это делает.

«Хотиллов» — сюда, в хотилловский ям, ямской двор, автор «Путешествия» попал из Едрова, а в Едрове он остановился только на время, проездом, желая лицезреть, как он говорит, «деревенских нимф». Вид этих «нимф», женщин, стиравших у какого-то пруда белье, привлек чувствительного путешественника настолько, что он и не заметил, как кибитка от него уехала. А между тем это было, заметьте, в Едрове, а не в том Валдае, что был знаменит в ту пору баранками и бабами, специально прельщавшими приезжающих. Как бы там ни было, из Едрова автор приехал в Хотиллов, и здесь он предался размышлениям уже сугубо гражданским — стал строить проекты будущего.

«...Доведя общество до вышшаго блаженства гражданского сожития, — так говорит Радищев, — неужели... оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поношение дальнейшего потомства, треть целую общников наших, сограждан нам равных, братий возлюбленных в естестве, в тяжких узах рабства и неволи?» И, как всегда, исторические примеры служат ему опорой. Он вспоминает Грецию и Рим, древнюю Азию, средневековую Европу, затем переходит к Америке, и тут, надо отметить, не американцев упрекает в рабстве негров и уничтожении индейцев, нет, европейцев. И Радищев прав. Ведь колонисты, то есть еще подданные английского короля, все это устроили — и вытеснение местного индейского населения, и привоз африканских невольников. Американцы, добившись Независимости, должны были, по мыслям Радищева, покончить с позорным европейским наследством. Не покончили!

В главе «Торжок», где на постоялом дворе автор встречает еще одного путника и начинает с ним рассуждать о цензуре, подчеркивается, что «американские правительства приняли свободу печатания между первейшими законоположениями, вольность гражданскую утверждающими». Радищев говорит не о правительстве, но о правительствах, властях отдельных штатов, прежде всего Пенсильвании, над Конституцией которой работали Франклин и Пейн. И он подчеркивает, что «свободу печатания», которой в старых странах добивались веками, здесь установили сразу. Точно так же, в первую очередь, следовало принять закон и об отмене рабства...

Тогда еще никто не думал, что именно «вождь Свободы» не только не решался рабство отменить, но сам же рабским трудом пользовался и за счет оного преуспевал. Это был один из жесточайших парадоксов, непосредственным свидетелем которых являлся

Пейн и о которых Радищев, как и весь свет, не подозревал.

А был ли сам Пейн все-таки известен русским современникам? Как установили исследователи, о нем говорилось в «Духе журналов» и на страницах «Литературной газеты», когда ее редактировал Дельвиг, друг Пушкина...

Однако нам пора вернуться к нашему соотечественнику-энтузиасту. Где-то он, его спутник и Пейнов прах?

## В ОТКРЫТОМ МОРЕ

### ПРИЗНАНИЕ ЭНТУЗИАСТА

...Проснулся уже в открытом море. «Ящик где?» — спрашиваю. Это мы с Фомичом так, ящиком, прах Пайнова стали промеж себя называть.

Фомич в ответ хохочет. Ящиком, говорит, интересуешься. А можешь ли сказать, где ты сам есть?

В море-то как я очутился? А... а мы же... пересекли Харлем-реку, обвели вокруг пальца погоню и продвигались своим путем через Новый Йорк...

Я там прежде жил, и все мне известно. Город ничего себе, но супротив Санкт-Петербурга, конечно, провинция. Так, стоят кое-где дома большие, имеется пришепт — Бродвей, по-ихнему, а особенного, откровенно сказать, ничего нету...

Народу много — это верно. И народ все такой ушлый, подвижный, и каждый сам по себе. Не то чтобы гонор какой, а так, за себя сам стоит и себя понимает.

Американцы люди довольно простые. Только они, против нас, головой из стороны в сторону не вертят. Конечно, ежели драка или пожар, то глазают, как и мы, а вообще у каждого что наглазники (шоры) надеты: смотрит

исключительно перед собой. И оттого получается вроде бы важность. Будто и смотреть на тебя не хочет. Сам-то он, может, помирает, как ему интересно на тебя взглянуть, что ты за человек и откуда, но — нельзя. Потому: «Нос не в свое дело не суй!» У них все так: «На чужой каравай рта не разевай».

С непривычки от важности этой оробеть можно. Но мне Федор Васильевич все рассказал. Он говорил: прямо подходи к первому попавшемуся, смело подходи, словно к лошади али к своему брату подходишь, не мешкай. И в глаза гляди. Прямо в глаза. Тут же руку подавай. Это, говорил он, важнее всего: руку тянешь и в глаза, а не себе под ноги глядишь. И сразу говори: «Привет! Каков денек?» Вот, говорит, ежели, приступая к американцу, сделаешь все разом — и подойдешь, и руку протянешь, и в глаза будешь глядеть, и скажешь, как положено, он тут же твой станет. Куды только важность денется!

Так говорил Федор Васильевич. А уж он знал! Он же от самой Филадельфии на Бостонск пеший прошел. Неунывающего характера был человек, и учен, да, учен.

И что еще я в Америке заметил: жизнь кипит. Кто — чего, а все делом заняты. И раньше, когда я грузчиком у пакгаузов работал, и когда шли мы Бродвеем с Фомичом, то, почитай, на каждом шагу, на каждом углу кто мастерит, кто торгует. Бойко, очень бойко. И каждый сам себе хозяин. Есть кто богаче, кто беднее, уж без этого не бывает. Оно, конечно, как Фомич говорил, — торгаши. А бездельники разве лучше?

Кораблей у причала в Ново-Йоркской гавани тоже порядочно, уж точно. Ну мы же к причалу и пробирались.

Корабли все больше аглицкие. Я же себе думаю: дело почти уже сделано, разочтемся, как условились, и домой, стало быть, до Куперова поместья поеду. Чай, заждались они меня с конем-то!

Фомич дорогой, через Новый Йорк продвигаясь, все вспоминал, рассказывал. Вот, говорит, неподалеку тут, на Жемчужной, Пайнов и жил. Э, говорю, не затрудняй себя, не толкуй зря — я сам в Новом Йорке, как раз в этом околотке, возле Гринвич Вилладж на постое находился и знаю: на Селедочной он квартировал, а помер там, на Тенистой.

— Что же ты, — говорит Фомич, сурьезно так говорит, — борцу за Правду не доверяешь?

Хочу описать всю его жизнь, так сказал мне Фомич. Один раз, говорит, уже описал, но... Вдохнул Фомич, тяжело вдохнул. Ошибся, говорит, ошибся. Поверил проходимцу — не знал, что продажный тот человек, это который по найму про Пайнова писал, будто одну жену он со света сгноил, а от другой убег... Ну, говорит Фомич, искуплю свой грех и уж теперь опишу все, как есть, точнее, как было.

Он, Фомич-то, оказывается, всех тут выспросил о Пайнове. Там вот (показал мне Фомич на домишко) явилась к Пайнову старушка, сильно верующая, сильно скрюченная, беззубая, безволосая, прошамкала: «Покайся, нечестивый Том, пока не поздно! Покайся! Я пришла к тебе от самого Господа Бога». Не мог же Господь, отвечал ей Пайнов, выбрать столь неприглядную посланницу.

Много чего в таком духе Фомич мне рассказывал.

— Сам Пайнов, значит, не веровал? — спрашиваю.

— Говорю тебе, — отвечал Фомич, — он был деистом.

— Кем? А... это вроде тех, кому мы чуть было по шее не накостиляли? В том трактире? Ну, которые чай пили! За этот... как его... де... дре...

— Нет, — смеется Фомич, — нет, то совсем другое. А деизм... как тебе объяснить... Бог на небе, люди на земле — вот и весь сказ. У всех свои дела. Веруешь — веруй, а в душу, как попы разные, не лезь. А они лезут, и к нему лезли...

— Как же без церкви-то веровать?

Фомич улыбнулся:

— Уж как знаешь, как можешь.

— А в Иисуса Христа? Веровал он, к примеру, в Христа?

— Нет,— отвечает Фомич,— не веровал.

Во-он там, говорит Фомич, за углом, еще другой домик стоит — там Пайнов тоже одно время ютился, и к нему от местной общины все приходили, все спрашивали: «Ну, уверовал в Христа?» У меня, отвечал им Пайнов, нет надобности в это веровать.

А уж старались они, старались, всячески старались, как могли, доказать, будто перед самой смертью Пайнов все-таки покался и отрекся от «Века Разума».

— А не было того?

Ну, говорит Фомич, ежели бы и было, что с умирающего спрашивать? Коли в здравом уме и твердой памяти человек не сказал чего-либо, то как же ему верить, когда он при последнем издыхании? Мало ли чего он тут наговорит, в бреду-то! И это самое за чистую монету принимать?

Второе, говорит Фомич, такой, как Фома Пайнов, и в бреду лишнего, пожалуй, не наговорит. В книге «Век Разума» (Фомич сам читал) Пайнов рассказывает, что один раз в жизни уже умирал — во французской тюрьме, испытал он себя, можно сказать, на смерть и не покался, тверд остался.

Наконец, Фомич говорит, я своими глазами видал того молодца, который рассказал эти про покаяние Пайнова распускал. От него все пошло.

— Как же,— спрашиваю,— ты его отыскал?

— А он сам ко мне явился,— отвечает Фомич.

Я же, говорит, через газеты объявил, что хочу всю жизнь Пайнова описать, и потому прошу всякого, кто может и что знает, всякую подробность мне сообщить. Вот этот молодец, почитай, чуть не первым ко мне прибыл. Назвался Чарльзом и ведет такую речь. Напиши, что Пайнов перед смертью от «Века Разума», ото всего, что там

писал, отрекся полностью и до конца. Знаешь что, брат Чарли, это ему Фомич отвечает, я сей же час все это напишу, но с условием, так и напишу, что это ты мне сказал, будто Пайнов покаялся. Нет, возражает тот молодец, который Чарльзом назвался, ничего такого писать не надо, это будет лишнее, а ты пиши прямо от себя: покаялся, и все. Кто же поверит? Это Фомич возразил. Ты, он говорит, брат Чарли, если уж хочешь, чтобы я прямо так написал, составь мне бумагу, опиши все, как есть, или, точнее, как оно было, и проставь имена, кто при сем присутствовал и подтвердить может. О'кей? Брат Чарли помялся, но в конце концов дал согласие. Долго его не было. Потом приходит и приносит эту бумагу. Фомич глядит и сразу видит: обозначена там некая Мэри, живет прямо рядом с тем домом, на Тенистой, где Пайнов и преставился.

Пошел, говорит Фомич, я к Мэри. Шляпу с широкими полями надел. «Братец» при каждом слове научился выговаривать. Ну, квакер.

— Сектант? — это я спрашиваю.

— Точно, из трясунов, — Фомич подтверждение мне дает. — Пайнов же сам из трясунов был — по семейной-то традиции. Ну, разошелся он с ними...

Заходит Фомич к этой Мэри: пожилая, почтенная такая женщина. Мешки шьет. Шьет она мешки, а Фомич ей и говорит: «Правда ли, сестрица, что сосед ваш Пайнов перед смертью покаялся?» Какой такой еще Пайнов? Это дама говорит. Ну, думает Фомич, тут много не возьмешь, язык ей не развяжешь. А сам говорит: я, говорит, с братом Чарли беседу имел, так он мне совет такой дал — спроси у сестрицы Мэри... Какой Мэри? Дама так говорит. А сама мешки шьет. Ах, говорит, это он меня, может быть, имел в виду? Так я, говорит, сперва и не поняла. Да, думает Фомич, тут ничего не добьешься. Ну, говорит Фомич, вы же помните, англича-

нин в этих местах жил, а при нем еще француженка... Какая француженка? Это опять она в толк не может взять. А мешки-то шьет. Бился-бился Фомич, так ничего и не добился. Вот, он мне говорит, таким-то путем пытались доказать, будто Пайнов сам от себя отрекся...

Указал мне Фомич и по ту сторону Восточной реки, на Бруклин. И там, говорит, Пайнов помещался — ожидал ответа на свой запрос, может он голосовать или нет. Это, конечно, нам чудно, что они, американцы, голосуют, но уж так у них устроено: голос каждый подает, кроме бедняков, баб и черных. И вот Пайнов, когда Джефферсона вторично выбирали, к избирательному ящику подошел, а ему говорят: «Отойди!» Почему же? А мы, говорят, в твоём голосе не нуждаемся, ты не гражданин! Ка-ак, Пайнов поразился, не гражданин? Да я почетный гражданин! Ну, почетный, может быть, а не гражданин, и все тут. Отойди! Да вы хоть помните, кто такой Здравый Смысл?! Отойди! Может, вы и Войну за Независимость успели позабыть? Отойди, тебе сказали! А они с Джефферсоном — друзья, они эту самую Декларацию Независимости промеж себя обсуждали. Говорили даже, что Пайнов ее и писал. Ну, писал не писал, а советы давал, уж это точно. Джефферсон этого вроде не забыл, он и в гости Пайнова тогда приглашал. Пайнов — к Джефферсону: как же так, голоса меня лишили? Джефферсон говорит, не впутывай ты меня в это дело, я же сам кандидат, тут такая драка, в смысле борьба идет, не приведи бог. Он — к Мэдисону, который тогда, при Джефферсоне, был государственный секретарь, а потом и сам президентом стал. Мэдисон мнет: где бумаги? Да как же это вышло? Было ли гражданство? Пайнов ему: спросите хотя бы у Монро!

— У какого Монро? — это я спрашиваю.

Который нынче президентом, Фомич говорит, а тогда у Джефферсона при специальных поручениях состоял,



а еще раньше послом был, из тюрьмы да из Франции Пайнова вызволял.

— И что же? — спрашиваю.

— Не было ему ответа никакого, — вздохнул Фомич.

Шли мы Новым Йорком. Вели повозку. На ней ящик, то бишь прах Пайнова лежал. Будто в последний раз хотел повидать места, где когда-то жизнь его протекала. Как это получается, думал я, стоящего человека, а оттерли? Вот и Федор Васильевич тоже голова, а в писарях сидел. Какая же Справедливость? Где она? Почему человеку толковому иной раз приходится хуже, чем последнему проходимцу?

Глядел я на суету Нового Йорка. Дельные люди. Напористые. Сколько сил, сколько энергии, и все — в дело. Почему же оттолкнули они Пайнова? Почему не усвоили? Чем он мешал? И кому?

А Фомич все рассуждает. Вспоминает и свою жизнь. Как более тридцати годов тому назад он тут за короля сражался. Еще застал в живых старушку Томпсон, у которой Вашингтон квартировал, как затем все козни в английской армии раскрыл, как его самого подловить и судить в ответ за это хотели, как он потом сюда приехал — обжиться думал, но тоже не по нраву ему пришлось, вернулся в родные края...

— Да, — говорит Фомич, — ведь я же еще не сказал тебе, стоило ли идти против короля...

— Именно, — говорю, — давай выкладывай!

— Что ж, — говорит Фомич, — это я тебе сейчас все разобъясню.

Это, он говорит, очень просто. Он сам против повстанцев сражался, сам... Короче говоря, все собственными глазами видал. Все понял.

— Я, — говорит Фомич, — все тебе сейчас скажу, как есть.

А сам меня вдруг со всей силы — толк! Я даже в

сторону подался. Ты, говорю, чего? Опять за свое? Смотри, так по шее и... А он: «Гляди!» — говорит.

Я — глядеть. А это мы как раз к пристаням стали подходить. Церкву Троицы прошли, мимо улицы Вальной (Фомич тогда еще сказал: «Сколько тут развеселых мест было! Сколько ихнего брата полегло!» — «А как так?» — спрашиваю. «А,— говорит,— пьяным напойт и оскоят!» — «Да ну?» — «Я тебе говорю!»), тут батарея недалеко, тут и пристаня.

Паруса, паруса, одни паруса. Да я это все и ране видал. Куда же глядеть? Потом, батюшки, пыхтит! Сам же здесь прежде хаживал, того видеть не пришлось! Знать, тогда еще не было той диковины. Что же это за чудо? Ну, прямо чудо!

— Стимбот,— Фомич отвечает.

Стим-бот? Выходит, вроде как паровое судно...

— И знаешь, кто соорудил? — Фомич спрашивает.

Откуда же мне знать? А Фомич пальцем через плечо на ящик показывает.

— Пайнов?! — я поразился.

— Нет,— отвечает Фомич,— приятель его, большой мастер был.

Ну, говорит он далее, пока что стимбот против паруса все одно слабоват. Океанскую волну одолеть не может. Не под силу ему. А по реке — куды хошь, и не угонишься за ним.

Подивились мы на стимбот. Дальше путь держим.

— А строитель-то этот,— спрашиваю,— чай, с Пайновым видался, пока стимбот готовил?

— Представь себе,— отвечает Фомич,— и он его избегал.

Вот судьба! Заслужил ли человек такое поношение?

— Стало быть, насчет короля... — говорит Фомич.

— Да,— говорю,— стоило ли...

— Сейчас-сейчас,— говорит Фомич, словно торопит.— Сейчас я тебе скажу...

А сам вдруг:

— Эва!

Я уж во все глаза глядеть: тут какое такое чудо? Еще какой-нибудь паровой корабль или шар воздушный объявился?

А это... паб. Ну, я упираться: домой, говорю, мне пора. Какой такой, Фомич говорит, тут тебе дом? Здесь везде одна чужбина. А ежели, говорит, у тебя настолько паскудный карахтер, что ты способен на чужой земле прижиться и свою позабыть... Ну, уж тут я его за грудки. Уж я... А он — здоровый, высокий, до морды-то его краснущей враз не достанешь...

Вот после этого и оказался я в открытом море. Потому, что загорелась душа, а уж как мы, подрамшись с Фомичом, в паб тот вошли, так нарушил я ради мировой зарок, но... Но помню все хорошо.

Лошадь мы отвели к тому старичку на Селедочной улице, где я когда-то квартировал. Подержи, говорю, у себя, а как Куер, босс мой, розыски объявит, так сообщишь ему и еще вознаграждение получишь. Он, Куперто, как раз поблизости, недалеко от паба, в клуб частенько приезжал, под названием «Бред энд чиз», в смысле «Хлеб и сыр». Соберутся, промеж себя толкуют, речи говорят, — это я все своими глазами видал, когда за экипажем его присматривал, мы же кучера родовые, потомственные... А старичок не возражал. Особо не упирался. О'кей, говорил, о'кей.

Надо сказать, как мы с Фомичом из паба вышли, все само собой пошло, скоро и споро, будто каждый встречный заодно с нами действует. На таможне, например, и разобъяснить невозможно, уж как мы этих ловкачей уломали, как уговорили и Пайнов прах пронесли, ящик то есть. Капитан корабля, тот поначалу вроде вскинулся, кто таков, это про меня, а потом тоже сам еще и в каюту к себе пригласил, с отходом, значит.

Отдали концы... Отходить стал Новый Йорк. Отходить. Даже малость и защемило у меня на душе: сколько прожито! Справа Ист-река, слева — Хадсон, посредине Манхэттен — островок: за бутылку, рассказывают, голландец у индейцев когда-то взял. Вскоре за волной одни только колокольни стало видеть, особенно Троицу. Конечно, не матушка Москва, но все же церковей порядочно.

— Да, — Фомич говорит, — я ведь так и не сказал тебе, стоило ли с королем-то воевать. Ну, зато сей же час скажу.

А тут волна пошла, сильная волна в открытых-то водах. Погоди, я — ему, сейчас не до короля: света белого не вижу! Утопнуть я не страшусь, зато от малейшей качки мне тяжело, просто не вмоготу.

В трюме я лег пластом на тюки, в трюме оно вроде как полегче. А Фомич наверху с капитаном разговор ведет, хоть бы что ему — шторм не шторм. Утром просыпаюсь:

— Ящик где?

— Что ж ты, — Фомич говорит, — забыл?

А-а-а, гляжу, ящик-то, он прямо возле меня, тут же в трюме. Мы же вроде сначала на палубе думали его поместить. И поместили, Фомич говорит, что ж, не помнишь? Да только первая же волна его чуть за борт не унесла. Доски лопнули. Пара костей выпала — и уплыли.

Капитан говорит: «А что у вас там, в ящике-то?» Порох, Фомич говорит, возем малость пороху. Капитан вдыхает: «Как это — порох?! По какому праву? Зачем?» Фомич говорит: «Шутю. Сам посмотри, какой это порох». Это, говорит, у тебя в таможенных бумагах что-то другое проставлено. А это, Фомич отвечает, таможенники на слово не поверили, а посмотреть не стали, сами взяли и написали: что они написали? Да как-то неразборчиво, капитан говорит, написано. Ну, говорит Фомич, любопытствуешь, так смотри... А что, тут же у капитана он спрашивает, ямайский ром у тебя имеется? Какой ямайский ром, капитан вздохнул, настоящего ямайского рома

Вот так новое жилище со всеми  
применениями Дюлариса. Пространство и  
быть не может счастливой, как говорится  
вспомни, когда находишь "Земельный банк"





теперь не достанешь. (Его уже, почитай, лет сто, как ни один человек не пробовал.) А у меня, отвечает Фомич, представь себе, есть. Брось, капитан не верит. «Тебе говорю!» А уж дальше я в трюме был.

. . . . . \*

Поутру окиян успокоился. Что твое озеро. Где валы? Где буруны? Из трюма я выполз: красота! Снасти поскрипывают. Ветерок подувает, свежесть дает.

Хорошо на просторе. Будто, окромя воды и неба, на свете ничего больше нет. Дыши вволю.

О Пайнове мы продолжали с Фомичом толковать. Вспоминали, к примеру, сколько же разов он сам эти воды пересекал. Фомич говорит: в «Правах Человека» сказано, что Пайнов впервые в море ушел приватиром.

— Капером? — спрашиваю.

— А ты что, в джентльменах удачи побывал? — Фомич интересуется, поскольку видит, что и я в делах морских понимаю.

А приватир — это всего лишь другое название для тех же каперов (захватчиков): между ними разница невелика, и закон у них один — бери чужих, своих не трогай. Уж ежели кто начинает без зазрения совести хватать первого встречного, что чужого, что своего, тогда это не приватир и не капер, а просто пират.

Мы, пока шли, тоже все окрест поглядывали: не видать ли паруса? А то, глядишь, такого попутчика или встречного бог пошлет, что только держись.

— И много ему в море удачи выпало? — про Пайнова я спрашиваю.

— На первом судне, — говорит Фомич, — куда он в команду записался, уйти ему не удалось: отец его изловил. А вот на втором...

---

\* Пробел в повествовании.

(Что ж, расскажем, собрав все факты, в том числе и такие, которые еще не были известны нашим героям.)

Можно быть уверенным, что Томас Пейн ушел в море, начитавшись «книги века» — «Приключений Робинзона Крузо». История его в точности, особенно поначалу, напоминает судьбу Робинзона.

Робинзон — продукт английской буржуазной революции. Он, по Дефо, родился в канун революции неподалеку от места основных революционных битв; его старший брат был участником гражданской войны (в которой пропал без вести). Дефо говорил, что в истории Робинзона содержится шифр, и если эту тайнопись раскрыть, то получается, что крушение он потерпел как раз в тот год, когда погибла в Англии республика и вернулась королевская власть. Двадцать восемь лет Робинзонова одиночества на острове — это то время, когда робинзонам приходилось нелегко: почва у них под ногами опять начала колебаться. Зато возвращается Робинзон в тот момент, когда люди робинзоновой среды укрепили свои позиции и можно было приниматься за дело.

Томас Пейн — современник следующего революционного подъема. И не только современник. Если Робинзон Крузо — это, в сущности, эмигрант, отсидевшийся где-то вдали, пока у него (и для него) на родине все устраивалось, укладывалось, то Пейн оказался участником и даже возбудителем революционных потрясений.

Вторая революция в Англии, конечно, могла совершиться, но робинзоны успели в первую революцию добиться слишком многого, чтобы идти опять на риск: того единства разных социальных слоев, какое необходимо для успешной революционной вспышки, на этот раз никак не складывалось. Зато подобное единство, хотя бы на сло-



вах, образовалось за океаном, американцы поднялись на освободительную революционную войну; под лозунгами «Свободы, Равенства и Братства» такое единство возникло во Франции, и грянула крупнейшая европейская революция, пламя которой, как вечный огонь, Пейн надеялся перенести, вернуть к себе на родину.

Эта мысль у него сформировалась уже в зрелые годы. В молодости он, как водится, искал места в жизни, был готов к приключениям, иначе говоря, к авантюрам — смелым предпринятиям. Нужна же эта смелость была исключительно для того, чтобы вернуться из плавания другим человеком, не прежним рылом неумным, а — близко не подойди.

Родился и рос Пейн, как и Робинзон, в семье благополучной и богобоязненной. И бежал он на поиски приключений от этого убогого благополучия и от этого скучного благочестия.

Семья Крузо, как описывает ее Дефо, была все же побогаче семьи Пейна, но принадлежали они к одному и тому же классу, среднему, занимавшему положение между аристократией и крестьянством. Английская революция выдвинула эту среду, развязала ей руки, убрав на ее пути сословные перегородки. До такой степени все помехи и заграждения с дороги деловых людей оказались убраны, что и титул стало возможно приобрести, если угодно и если средств хватает.

Труднее было с образованием, когда не исповедовал человек официальной веры. Вот почему ни Пейн, ни Дефо не могли и мечтать об университете — сектанты. Ни Оксфорд, ни Кембридж (а других университетов и не было) таких не принимали: сыновья раскольников были обречены на образование лишь среднее, даже только начальное.

А по роду дальнейшей деятельности если Дефо предстояло торговать свечами, то Пейн должен был мастерить... корсеты. Таково было ремесло его отца: корсетных дел

мастер в маленьком городке Восточной Англии. Сколько уж там, в этом Тетфорде, требовалось корсетов, какова была клиентура, мы не знаем, но участью, Пейну уготованной, являлось изготовление приспособлений для наивыгоднейшего оформления дамских бюстов и талий.

Все биографы Пейна, почти без исключения, подходя к данному пункту его биографии, как бы прыскают от смеха в кулак: уж очень трудно совместить подобную профессию с обликом человека, прошагавшего большую часть жизни в рядах революционных армий, либо прозаседавшего в законодательных собраниях, либо просидевшего в политической тюрьме. В иных жизнеописаниях Пейна даже выражается сомнение в достоверности сведений относительно его ремесла наследственного: не вернее ли сказать *канаты*, а не *корсеты*?

Но серьезных оснований нет, чтобы сомневаться в дошедших до нас сведениях. А Говард Фаст изобразил в своем романе о Пейне даже такой поистине щекотливый момент, как снятие мерки для корсета, и, по роману «Гражданин Пейн» судя, то был поворотный пункт в биографии нашего героя. Если не гражданские, то, похоже, мужские чувства Пейн впервые испытал, когда ему пришлось определять, каковы должны быть размеры очередного изделия их семейной мастерской.

За вычетом мимолетных возбуждений, занятие у Пейна было, конечно, прескучное. Вот он по примеру юноши из Йорка и бежал в море.

Биографы, в особенности пристрастные (платные), выражали сомнения в достоверности и этого факта. Пейн сам дал к тому повод, указав с очевидной ошибкой год, когда это было. Исполнилось ему в то время не шестнадцать, как он говорит, а уже девятнадцать. Но разве не спутаны годы на его могильном камне? Тогда полагались главным образом на собственную память, а память кого только не подводила...

Ошибка могла исходить не от Пейна, а от переписчика или наборщика, ибо вторая часть «Прав Человека», где Пейн рассказывает (в назидание человечеству) о своем приватирстве, готовилась к печати в обстоятельствах исключительных — под угрозой политического преследования.

«Когда, — писал в своем пламенном трактате Пейн, — в тех странах, что называются цивилизованными, людей взрослых отправляют в работный дом, а молодых — на галеры, значит, что-то в системе тех стран плохо устроено. По внешнему виду судя, может показаться, будто жизнь в этих странах — одно сплошное счастье, на самом же деле, скрытое от общих глаз, там скрывается столько безобразия, что ни в чем ином, кроме нищеты и голода, оно выразиться не может».

И далее он говорит о том, какой заколдованный круг образуется из связи горя и преступления: нелегко из этого круга вырваться. Он приводит пример своей собственной судьбы, считая, что лишь случай спас его от гибели.

Корабль назывался «Ужас». Имя капитана — Смерть. Было ли Пейну тогда шестнадцать или уже девятнадцать, он во всяком случае был исполнен решимости уйти в море на привычный по тем временам промысел: захватывать и грабить *только чужие* суда.

Это было как раз в пору Семилетней войны, последствия которой навсегда заронили зерно вражды между Англией и Францией. И первое же судно, с которым столкнулся «Ужас», было французским. Называлось — «Месть».

В жесточайшем бою «Месть» и «Ужас» едва не уничтожили друг друга. Ну, может, и спасли кого, но ведь в бою не ядра убивают, а щепки, обломки, что во все стороны от бортов, палубы и мачт разлетаются: не увернешься! Обе команды оказались почти перебиты. Осо-

бенно пострадал «Ужас», на котором пало сто пятьдесят человек, в том числе сам капитан Смерть.

Так что не появилось бы не только «Здорового смысла», но даже прошения в пользу акцизных чиновников, если бы Тома Пейна вовремя не настиг и не снял с корабля отец.

Но Пейн, как он сам тут же рассказывает, не успокоился. Он выбрал момент и ушел с другим судном, называвшимся «Прусский король». Правда, и в этом рассказе Пейн не совсем точен — путает имя капитана. В остальном же историки его проверили и подтвердили: было тогда такое судно — известен не только его маршрут, но даже та добыча, которую привезли с собой *честные приватеры*.

Один современник сказал, что приватир — это полуконь-полукрокодил, имея в виду, что дело это, конечно, нелегкое, но и аппетиты у них были немалые: терпя все тяготы морской службы, старались они «заглотнуть» добычу покрупнее.

В библиотеке Йельского университета (где учился Купер) хранится анонимная поэма «Угрозы моря», которую, возможно, написал молодой Пейн. Поскольку он впоследствии писал стихи, то нет ничего необычного в этом предположении.

Поэма живописует прежде всего штормы, но из других источников мы знаем, что корабль, на котором Пейну удалось-таки выйти в океан, имел на борту двести пятьдесят головоре... з... джентльменов удачи. То был весьма взрывчатый человеческий материал, ибо, если удачи таким людям не было, они поднимали бунт.

Беда заключалась в том, что среди таких искателей нелегкой наживы бывало очень немного собственно моряков. Еще во времена Дефо был случай, когда корабль-приватир, имевший на борту команду не меньше, вышел в море, и оказалось, что управляться с парусами у них

некому: на корабль записались главным образом торговцы-лоточники, у которых дела на суше шли неважно, и они собирались их поправить на воде.

Поэтому, выйдя в море, приватиры захватывали не только мертвый груз, но и живых людей. Точнее, они оставляли в живых, беря какой-нибудь корабль на абордаж, нужных им людей — умелых моряков, плотников и врачей. Остальных — за борт.

Пейн, наверное, пригодился на корабле. Если он уже умел мастерить корсеты, то почему бы ему не латать паруса?

«Прусский король» не только не погиб, но и приобрел на море большие трофеи. Капитан Мензес (имя которого Пейн написал, как Мендес) был, видимо, искусным навигатором. Он не знал поражений при встречах с французскими судами в открытых водах. А один из кораблей был захвачен «Прусским королем» и отправлен под конвоем в Бристоль, тот самый, где тридцать лет тому назад ходил по улицам странный человек в козлиной шкуре: моряк-шотландец Александр Селькирк, проживший четыре года и восемь месяцев на необитаемом острове и послуживший прообразом Робинзона (которого автор заставил пробыть в одиночестве целых двадцать восемь лет). Считалось, будто книга о Робинзоне так и была написана с его слов. Нет, это Селькирк, когда книга появилась и обрела успех, стал одеваться и вообще вести себя в стиле персонажа этой книги. На вопрос, украл ли у него автор эту историю, Селькирк сказал: «Что ж, пусть его пользуется за счет бедного моряка». На самом же деле Селькирк вовсе не бедствовал, он привез с собой немалую сумму (800 фунтов) и вполне мог бы стать *другим человеком* (ради чего и совершались подобные плавания), но — все пропил.

Пейн зарабатывал на корабле что-нибудь фунтов по пяти в месяц, а в общей сложности на его долю пришлось,

как считают биографы, фунтов тридцать. Не на эти ли деньги купил он целых два глобуса — земной и небесный, — а также книги, чтобы восполнить пробелы в своем скудном образовании? Как полагают, средств на это у него было все же недостаточно, хотя действительно, вернувшись из бурного плаванья, Пейн взялся за учение.

Он ходил на публичные лекции по астрономии, которые читали Фергюсон, Мартин и Бевис. Это были ученики Ньютона, члены Королевского общества.

Вообще тогда в Лондоне было что послушать и что посмотреть. Можно было пойти (развлечения ради) и в Бедлам, то есть сумасшедший дом, и на смертную казнь, и на спектакль по пьесе Голдсмита или Шеридана. Выходили романы Филдинга, журналы Джонсона, жизнь была ключом, сам Хогарт запечатлевал ее со всеми контрастами, а все напевали песенку из модной «Оперы нищих»:

*И я была девушкой юной,  
Но только не помню, ко-огда-а...*

Лекции по астрономии, сопровождаемые демонстрацией приборов и даже возможностью заглянуть в телескоп, для Пейна превосходили по увлекательности любое другое зрелище или представление. Насмотревшись за время дальних странствий на океан, земной и небесный, Пейн, учившийся до того лишь в приходской школе, получал теперь объяснение собственным незабываемым впечатлениям. Бесчисленные звезды, просторы Вселенной — в этом его учили ориентироваться выдающиеся ученые-популяризаторы.

Вспоминал ли он море? Хотел ли вновь оказаться на океанской волне? Пейн «вышел за линию» (морскую границу) в следующий раз почти двадцать лет спустя. За плечами у него уже была и неудачная служба в акцизе, и два неудачных брака: первая его жена умерла (судя

по всему, родами), с другой — не сложилась совместная жизнь.

Вроде бы уцелело письмо от матери Пейна ко второй его супруге. «Вроде бы» говорим потому, что напечатал письмо злейший враг Пейна и едва ли при этом не приписал туда что-нибудь в соответствующем духе от себя. Такие приписки заходили по злобности невероятно далеко: ведь чтобы уж скомпрометировать Пейна как следует, раз и навсегда, говорили, будто первая его жена вовсе не умерла, а он ее насмерть пришиб. Да не пришиб, добавляли другие, она от него сбежала, а он — двоеженец...

«Мне сообщили, будто он уехал из Англии», — сказано в письме. Это не преувеличение, хотя и некоторая несообразность: письмо отнесено к июлю, а Пейн покинул страну в октябре того же года.

Плыл он в Америку с рекомендательным письмом Франклина. А с Франклином познакомил его то ли писатель Голдсмит, то ли некто Джордж Льюис Скотт, друг историка Гиббона и доктора Джонсона, называемого «отцом английской критики», — все это был, в общем, один круг незаурядных личностей, выдающихся и влиятельных умов.

Шестидесятивосьмилетний Франклин и тридцатисемилетний Пейн оба происходили из ремесленников. Отец Франклина был красильщиком, а поскольку он постарался дать всем своим детям образование, Бен Франклин стал журналистом и печатником, а со временем занял в Америке совершенно исключительное положение посла, или представителя по особым поручениям.

Франклин родился в Бостоне, но был «человеком Филадельфии». Молодым человеком, подмастерьем филадельфийского издателя, попал он в Лондон, его послали за новым печатным оборудованием. А затем Филадельфия выдвинула Франклина на должность начальника

почтового ведомства, Филадельфия выбрала его в местное правление, Филадельфия направила его своим представителем в Англию — тогда с ним и встретился Пейн.

Английские связи Франклина были настолько обширны, что он не мог не быть в колониях проводником английских интересов. Изначально он являлся сторонником Зависимости. Ему хотелось видеть Америку полноправной провинцией в подчинении у английского короля, вроде любого графства в самой Англии. Занять позицию более решительную и прямо революционную Франклина вынудил ход событий: объявили почтовый сбор — еще один налог в пользу короля, и американцы пришли в ярость. Хотя поборы на почтовые марки были столь же малы, как налоги на чай или потери при столкновении бостонцев с королевскими войсками (погибло пять человек), но важен был повод, ибо королевские предписания связывали руки наиболее предприимчивым американцам.

Снабдив Пейна (как раз тогда потерявшего должность в акцизе) рекомендательным письмом, Франклин и сам вскоре отбыл в Америку.

Первое плавание Пейна через океан чуть было не оказалось последним. На корабле, который он выбрал, начался тиф, и Пейн с трудом выдержал болезнь: с борта корабля его доставляли на носилках.

Тяжело далось Пейну и второе плавание через океан, особенно на обратном пути, когда он вез деньги из Франции и заболел цингой. С корабля его отправили прямо в ванну — котел с водой, подогреваемый снизу. За этим надо было следить, подливая воды холодной, а Пейн с собой газет набрал — и зачитался. Чуть было не сварился в кипятке, еле откачали. Что ж, увлекся — большой интерес к политике имел.

А всего, не считая раннего плавания, Пейн пять раз пересекал Атлантику (и в пути любил матросские



сухари, даже от печенья отказывался — пассажирам раздавал).

— Зря, значит,— говорю я Фомичу,— навешали на него всех собак?

На морском просторе и поговорить хорошо. Вроде с ветром уносятся все слова: толкуй открыто.

Пайнов, по словам Фомича, в первый раз женился на сироте, выросла она в приюте и жила в прислугах. Отец ее когда-то состоял в акцизе, откуда самого Пайнова выгнали.

— Почему и произошла,— усмехаясь говорил Фомич,— революция в Америке: оставшись без работы, уехал он за океан.

Но это, как рассказывал Фомич, случилось уже много позже, после того, как Пайнов женился во второй раз.

— А та, первая жена?

Рано умерла. Они с ней, может, с год только и прожили. Как, почему и где умерла? Остались о том одни слухи. Пропечатали, будто он ее уморил или бросил с дитем прямо на дороге. Писали даже, будто она еще жива. Да зачем же ему было ее губить или бросать? Рассказывают, он очень любил ее, от всей души. Так любил, что уж после ее смерти, вскоре случившейся, на других женщин и смотреть не мог. Вернее, смотреть мог, но как-то без особого интересу. А умерла она, скорее всего, родами. И это похоже на правду.

Второй-то раз Пайнов женился уже тридцати пяти лет. Жена — Лизавета, по-ихнему, Элизабет, дочь торговца табаком. Пайнов у них сначала квартировал, а когда хозяин помер, он с квартиры сразу съехал, чтобы лишних толков не было. Съехать съехал, а сам предложение сделал, посватался. Отказа ему не было. Какой отказ? Она от него, говорят, была без ума. Лизавета эта самая.

Но хочешь верь — хочешь нет, жениться он на ней женился, а жить не жил.

— Как же так?

— А вот так. Что тебе в голову придет, то и думай.

К нему, говорил Фомич, приступали со всех сторон. Что же ты, дескать, с женой-то?.. А он говорил вроде так: «Причина на то имеется, но до того дела нет никому, окромя супруги моей и меня самого». И весь сказ.

Разъехались они. Просто разъехались. И вскоре подался Пайнов за океан. Из акциза его за какую-то бумагу погнали. Как тут жить? Франклин, который тогда в Лондоне находился, письмо представительное ему выдал, и уехал он. А жена так и жила, сама по себе.

— Как же объяснить? — это я говорю.

Фомич в ответ только головой покачал. Кто знает? Никто свидетелем не был, и много говорить тут не приходится.

— Я ведь и Марго де Бонвиль видал, — говорит Фомич.

— Кого?

Которая при нем была, объясняет Фомич, еще с Франции. Сам Фомич обосновался на Долгом Острове (Лонг-Айленде), подле Нового Йорка, отыскал ее в городе и давай пытать. Каков он, Пайнов-то, был? Она не отпиралась, не отнекивалась. Говорила охотно. Дама собой видная и, надо думать, очень прежде хороша была.

А как все это объяснить? Ведь надо же, из Парижа за ним вместе с детьми последовала, а в Париже мужа оставила. Но ведь Пайнову в те поры было уже под семьдесят, а ей только тридцать. Так что, Фомич полагал, не столько ради Пайнова в путь подалась, а муж ей надоел. Тут она свободно себя от Пайнова держала, и хотя всякое говорили, но, скорее всего, одну только неосновательную чепуху — насчет них. К детишкам он расположение имел, словно свои они ему были,

но это враки, будто ребята и правда его. Болтовня! Достаточно только на нос его посмотреть: не мог же такой нос хотя бы в одном из ребят не отразиться, ежели бы они его были!

А ты видал? говорю.

Чего?

Ну, Пайнова.

Нет, отвечает Фомич, не пришлось, хотя мог повидать, ведь в одно и то же время и здесь, в Америке, и во Франции, не говоря уже об Англии, в одно и то же время проживали. «Кабы знать, — говорил Фомич, — оно бы и повидать!»

Но можно сказать, говорит Фомич, что видал. Как же? Да на портретах. Их, портретов, штуки три прямо с него, с Пайнова, было списано.

...Не считая, добавим, посмертной маски и бюста, сделанного при жизни. Это все и мы можем увидеть — в музее. Как же так, спросит уже у нас читатель, презирали и даже на кладбище не хотели положить, а в то же самое время запечатлевали в красках и алебастре, в рисунках, благодаря чему мы в самом деле вполне можем представить себе внешний облик Пейна?

Ответим: одни презирали, другие преклонялись перед ним. Иногда, впрочем, одни и те же презирали и поклонялись. Сначала презирали, потом — поклонялись, как было с Коббетом, либо поклонялись, потом презирали, как было с тем скульптором-самоучкой, который сделал особенно выразительный скульптурный портрет Пейна.

Уж такова участь людей незаурядных. Мало кто из них бывал при жизни истинно всеми отвергнут и всеми не признан. Не признан разве что по размерам своей посмертной славы, а круг поклонников имелся у каждого. Иногда круг этот распадается или меняется по составу,

ибо уж слишком нелегко бывает с подобным человеком. Тот же Пейн полагал, что кто-то должен его обслуживать. А почему, собственно, если учесть и капризы, и дух тяжелый?

Стало быть, сходства с Пайновым Бонвилевых ребят не было никакого. Ровным счетом ни малейшего. Фомич даже рукой махнул и как бы по секрету мне доложил: у него интерес совсем другой был — по-ли-ти-ческий.

Пайнов, как обещал, по завещанию им земли оставил и с той земли капитал, чтобы, значит, ребятишкам на воспитание. А саму Маргариту душеприказчицей своей сделал. Ну, она тоже, как Фомич узнал, в долгу перед ним не осталась. Гроб красного дерева, как он умер, справила.

— Где же гроб? — спрашиваю.

Фомич отвечает:

— Доски тащить тяжело. А кости, сам видишь, в ящик уложили.

И камень надмогильный, как положено, она ему поставила. С надписью. Только, говорит, ошиблась в годах его. Сама признала. Два года сверх надбавила.

А так, заботилась она о нем от души. Ничего, жалела. Даже чересчур. Он другой раз и гнал ее прочь: надоела. Ну, когда он очень плох стал, она его все на чужие руки сбывать старалась: пятнами пошел и дух тяжелый! Однако досмотр за ним был, не откажешь. Перед самой его кончиной, прямо перед смертью его, она все спрашивала: «Всем ли вам угодили?» Всем, отвечает Пайнов, всем.

Только вот похоронить, как он хотел, не удалось. Не пустили его на кладбище. Ну, да нам, говорит Фомич, оттого только способнее увезти его было. Мы ему, Фомич говорит, место найдем. Найдем! И памятник поставим, даром что кости за борт смыло.

— А сама-то как?

— Ничего, живет, — отвечал Фомич.

Старший сын пошел в военную школу, тот, который над могилой стоял от Америки. Она же сама Фомичу и рассказала: поставила над могилой сына — «Все тебя запомнят, Томас Пейн, и Америка, которую мой сын представляет, и Франция, от которой здесь я сама».

Ничего, говорит Фомич, мы, как в Англию прибудем, еще и не такое представительство в честь его созовем.

— За бумаги его только вот опасаюсь, — вздохнул Фомич.

— А что так?

Как же, говорит, все бумаги при ней, она сильно верить стала, даже католичество приняла: как бы не уничтожила чего!



Эти опасения хотя и не были безосновательными, но, к счастью, оказались напрасными.

Маргарита де Бонвиль не уничтожила бумаг Пейна, разве что при издании вычеркивала из них кое-что, чересчур противоречившее ее вере. Но что она исправляла или устраняла, установить уже невозможно, ибо главная драма разыгралась впоследствии.

После ее смерти бумаги перешли к старшему сыну Бенджамину Бонвилю, полковнику, а потом генералу, которого описал Вашингтон Ирвинг.

«Приключения капитана Бонвиля» — эту книгу Ирвинг писал в своем имени, неподалеку от Нью-Рошели, где, как мы уже знаем, Бен Бонвиль бывал в раннем детстве и по желанию своей матери представлял «от Америки» на похоронах Пейна. Ирвинг в этих краях поселился намного позднее, но все же и этот

крупнейший американский писатель являлся, как и Купер, соседом Пейна, хотя бы заочным. Ведь все это одно культурное гнездо, наиболее обжитая часть восточного побережья Соединенных Штатов, тут наслоились друг на друга следы пребывания всех народов Америки, коренных и пришлых, — индейцев, голландцев, французов и англичан. Их борьба между собой и смешение дали американскую культуру.

Вашингтон Ирвинг, в отличие от Пейна и даже от Купера, прожил с исключительным комфортом, пользуясь успехом и признанием по обе стороны Атлантики, как в Америке, так и в Европе. А сюда, в Территаун, дорога в который идет через Нью-Рошель, к нему приезжали поклонники, будущие европейские знаменитости, например Теккереи. Как и Купер, Ирвинг (в отношении Европы) «взял и дал», — пользовался европейским наследием и сам оказывал воздействие на писателей Старого Света. Поклонник европейских романтиков, вздыхавших о былом, Ирвинг занял в отношении американского прошлого добродушно-ироническую позицию, которая всех как бы устраивала, была приемлемой для сугубо современных людей. Никаких жестоких счетов с прошлым он сводить не предлагал.

Ирвинг значительную часть жизни прожил вне Америки, и опять-таки прожил комфортабельно, послом в европейских странах, для него самого Соединенные Штаты являлись полужизотическим краем, что выразительно отразилось в его наиболее известных новеллах о Рип-ван-Винкле и жителях Сонной Ложбины. Его персонажи — чудаки, которые не понимают, что Америка давно стала другой, несравнимой со страной первых поселенцев или же борцов за Независимость.

Как наблюдатель, которому смешны люди, чересчур серьезно воспринимающие самих себя, Ирвинг оказал воздействие и на Пушкина (своей сказкой о Звездочете,

отозвавшейся в «Золотом петушке»), и на Салтыкова-Щедрина, читавшего Ирвингову «Историю Нью-Йорка», прежде чем приступить к «Истории одного города». А «Приключения капитана Бонвиля» (наряду с мемуарами Марбо) были источником вдохновения для Конан-Дойля, когда он живописал приключения своего brave бригадира Жирара.

Когда Бен Бонвиль, испытывая различные злоключения в Скалистых горах (что и описывал Ирвинг), продвигался (вместе со всей страной) все дальше, на Запад, в то самое время у него в Сент-Луисе (в штате Миссури) сгорел сарай, где были сложены бумаги Пейна...



— Да,— говорит Фомич,— я же не объяснил тебе, стоило ли идти против короля...

— Верно,— говорю,— за тобой должок.

— Что ж,— говорит,— сей же час и получишь.

Фомич только рот открыл, а тут как раз марсовый голос подал:

— Земля.

Фомич аж плюнул в сердцах через борт, даром что испытания наши благополучно, видать, заканчивались.

Шли мы прямо на...

## БАЙРОН О ПЕЙНЕ

### БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ

Позволь, дорогой друг, обратить твое внимание на следующий знаменательный факт.

Корабль, на котором прах Пейна (вместе с нашими

героями) следует в Англию, назывался «Геркулес». Четыре года спустя тот же самый «Геркулес» примет на борт знаменитого пассажира — Байрона. Маршрут будет — по Средиземноморью, из Италии в Грецию.

Обстоятельства, при которых поэт узнал о похищении Пейнова праха и написал по этому случаю эпиграмму, неизвестны в подробностях \*. Когда на борту «Геркулеса» кости Пейна приближались к Англии, Байрон находился вдали от английских берегов, но зорко следил за английской политикой. Ведь он тогда писал «Дон-Жуана», своего рода энциклопедию европейской жизни — от побед Суворова под Измаилом до поражения Наполеона при Ватерлоо.

Англия опять была чревата новой революцией, как это уже было в ту пору, когда на родной земле в последний раз побывал Пейн. Вот почему прибытие Пейнова праха было встречено не только байроновской эпиграммой, но и очередной разоблачительной биографией Пейна: раз кто-то решил восстановить память о нем, стало быть, требовалось вновь его скомпрометировать.

Однако мы сейчас обратимся к тем временам, когда сам Пейн возвращался в Америку.

Чтобы лучше понять его тогдашние чувства, прочитаем письмо, с которым он вскоре обратился к американцам как своим согражданам:

«Почти пятнадцать лет меня не было, и вот я снова возвращаюсь в страну, чьи горести я разделял и чьему величию способствовал.

Когда весной 1787 года я отправлялся в Европу, то намерением моим было вернуться в Америку через год и, удалившись от дел, насладиться тем уважением друзей и отдыхом, которые вроде были мне положены. Я прошел сквозь бурю Революции и вовсе не собирался испытывать

---

\* Байрон был знаком со многими, хорошо знавшими Пейна.



еще раз то же самое. Но мне оказалось суждено другое.

Французская революция только начиналась, когда я приехал во Францию. Принципы ее были прекрасны, они были взяты с американского образца, и те, кто направлял Революцию, являлись честными людьми. Но вскоре вспыхнула фракционная борьба, и одни стали отсылать других на эшафот. Из тех, кто начинал Революцию, я один остался в живых, и то пройдя сквозь тысячи опасностей. Этим я обязан не молитвам священников, не состраданию лицемеров, но лишь неустанной поддержке Провидения.

Но в то же самое время, когда я с восторгом наблюдал зарю Свободы в Европе, я с глубоким сожалением видел увядание той же самой Свободы в Америке. Менее чем через два года после моего отъезда из Америки некие тревожные признаки...»

Что это были за признаки? Что навело Пейна на столь грустные размышления?

Последуем же за Пейном в Америку — по следам его второго пришествия в страну, Свободу которой он когда-то в числе первых помогал отстаивать.

## ДРУЖБА ДЖЕФФЕРСОНА, ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ ЭПИЗОД ИЗ ПРОШЛОГО

Джефферсон вызвал его к себе.

Когда Пейн возвращался от президента (третьего президента Соединенных Штатов), уже на обратном пути, кучер почтового дилижанса стал шуметь:

— Слазь, кому сказал? Не повезу я тебя! Не повезу!

Упрямый отказ и злоба выражали то самое, в чем Пейна всячески стремился разуверить Джефферсон и что на самом-то деле кричало о себе на каждом шагу.

Америка его не принимает, несмотря на высокий прием.

Не признает.

И более того, терпеть не хочет.

Крик кучера стоял у Пейна в ушах вместе с нашептыванием старушек. Им пугали детей!

Пейн этого не знал — он это узнал, когда у него нюхательный табак весь вышел и пришлось для пополнения запасов заглянуть в лавку.

Он по-прежнему много нюхал табаку, по полторы табакерки за день иногда уходило, и, уже покидая табачную лавку, Пейн вдруг услышал собственное имя.

Он решил, что его кто-то окликает.

А это почтенная матрона выговаривала своему непослушному отпрыску, оставленному на время у дверей все той же лавки: «Смотри, если будешь себя плохо вести, попадешь на расправу к Томасу Пейну!»

— Почему же вы обо мне... э... э... о нем такого мнения, сударыня? — решил спросить Пейн, помогая даме переступить порог.

— О ком это еще? — спросила в свою очередь дама.

— О... о Томасе Пейне, как я слышал, — ответил Пейн.

— Какого такого мнения? — все вопрошала грозная дама.

— Нелестного, я бы сказал. Весьма и весьма неблагоприятного.

Тень легла на чело женщины. Она, видно, соображала, как ей ответить, и слова ее были таковы:

— Он враг рода человеческого.

— Почему же? — изумился Пейн.

— Потому, что пособник дьявола, — был ответ.

— А вы слышали, господа... виноват, дамы и господа, — включился в их разговор и хозяин лавки, тоже вышедший на улицу, — этот нечестивец осмелился вновь ступить на нашу землю?

«Вы убедитесь, что мы возвращаемся к чувствам, достойным прежних времен» — так говорилось в президентском письме, приглашавшем Пейна в США. Далее подчеркивалось: «Вы славно потрудились ради этого и добились больше, чем еще кто-либо из живущих. О Вашем здравии на пользу дела и во имя того, чтобы Вы смогли пожать жатву благодарности всего народа, ныне моя молитва. Примите же мои уверения в высочайшем к Вам уважении и чувствительнейшей привязанности».

И подпись — *Томас Джефферсон*.

Третий американский президент...

Первый президент бросил его на произвол судьбы.

Второй — Джон Адамс — ненавидел, он злее всех в Америке отвечал на «Права Человека», что было и парадоксально, и характерно: «Размышлениями» Берка консервативная Англия отозвалась на Французскую революцию, революционная Франция отвечала на это «Правами Человека» Пейна, а еще недавно боровшаяся с Англией и поддерживаемая Францией Америка встала на сторону консерватизма, как о том свидетельствовали «Политические письма» Джона Адамса\*. Права правами, равенство равенством, однако о привилегиях (разумеется, заслуженных привилегиях) забывать тоже не следует — такова была основная мысль Адамса.

Их вражда с Пейном родилась на почве родства идей, они ведь оба стояли за Независимость, с той разницей, что идеи Свободы и Равенства у Пейна распространялись не только на всю страну, но даже на все человечество, а у Адамса — исключительно на «своих», точнее, на собственную семью.

«О, моего Джонни не согнешь, — говорила Абигайль, супруга второго президента, первая дама страны, —

---

\* На самом деле это писал его сын, будущий (шестой) президент США Джон Квинси Адамс, но суть та же.

не согнешь». Еще бы! Джон Адамс понимал одно — своекорыстный интерес, называемый им гуманностью.

Адамс употреблял, любил употреблять и другие слова, такие, например, как терпимость или культура, но у всех слов, если исходили они из уст Джона Адамса, смысл был один и тот же — интерес семейства Адамсов, выгода семейства Адамсов, удобство семейства Адамсов. Он так и писал: «Мне приходится заниматься политикой, зато внуки мои займутся культурой».

В государственной политике, внутренней и внешней, Адамс поддерживал все, что шло на пользу Адамсам. Его нельзя было, как выражалась его жена, согнуть — его мнение нельзя было изменить. Адамс не сгибался лишь потому, что он просто ничего не понимал, если речь шла не об Адамсах, не об их видах и выгодах. Если интересы человечества совпадали с интересами семейства Адамсов, то да здравствует человечество! Если же человечество в чем-то на своих путях и в помыслах расходилось с путями и помыслами семейства Адамсов, тогда оно могло пенять на себя: человечество переставало существовать для «несгибаемого Джонни», которого верная Абигайль сравнивала с дубом, считая сравнение не только точным, но и чрезвычайно лестным.

Еще точнее было бы сравнить Джона Адамса не с дубом, а с пнем дубовым, успевшим пустить корни во все стороны и цепко ухватиться за землю. Эдакий крепенький коротышка.

Если Адамс выступал против рабства, то лишь потому, что у него не было рабов, у него имелись другие источники дохода — спекуляции.

Если бы Адамсу удалось удержаться в президентском кресле и на второй срок (терм), тогда он баллотировался бы и на третий... и на четвертый... и на...

Не сосчитать! Аппетиты ненасытные. Амбиции безграничные. «Мне!» — и все тут. Ведь это Джон Адамс

предлагал сделать президентство наследственным. Ну, разумеется, после того, как президентом раз и навсегда станет Адамс, один из Адамсов.

Джон Адамс был вторым президентом, но первым обитателем специальной правительственной резиденции, выстроенной в специально основанной столице, которую символически назвали именем первого президента (занимавшего другой дом в другом городе), и уж нестигаемый Джонни обживал президентский особняк с такой хозяйственной заботливостью, будто это было его собственное владение. Иначе он и не умел относиться ни к людям, ни к вещам, ни к движимости, ни к недвижимости. Либо свое, либо — ничье, либо мне, либо — никому.

Едва только вторичного избрания на президентский пост Джон Адамс не добился, он из резиденции выехал, даже не сдав дела своему преемнику.

Фактически Адамс бежал, не желая отчитываться прежде всего в тратах на собственное семейство из государственного кармана. Пейн, все еще находясь во Франции, предлагал выяснить, сколько же они, Адамсы, стоили государству, а Джона Адамса, если потребуется, судить. Но заинтересованных в том как-то не нашлось, и законы у американцев тогда еще были неустойчивы — не вполне было ясно, кого следует судить и, собственно, за что...

И Вашингтон преследовал свой интерес, но в отличие от Адамса он был прежде всего себялюбив. Перед самой смертью отпустил на волю рабов, понимая, что ему они больше не нужны. Не имея потомства, Вашингтон не имел того инстинкта родства и свойства, на котором строилась вся доктрина Адамса. Понятно, он не обездолил наследников, племянников, оставив им ровно столько, чтобы сохранить по себе добрую память главы и семейства и государства.

С Пейном же первый президент обошелся, как с необходимостью.

Зато третий президент вызвал его к себе. Вот чего Пейн так долго ждал. Что ж, лучше хотя бы поздно...

В Джефферсоновом письме приносились извинения за приглашение слишком поспешное — с ближайшим кораблем. «Хватит ли у Вас времени собраться в дальний путь?»

Сборы для Пейна проблемы никогда не представляли. Что ему брать с собой? Пересечь океан в шестой раз он был готов хоть сейчас, с газетой в кармане.

Правда, прочитав в письме про «возвращение к чувствам былых времен», Пейн не сразу отозвался душой на эти слова. Неоднократно нечто подобное он уже слышал.

Праздновали столетие Английской революции — и говорили о чувствах прежних времен. Прайс говорил, и они с Пейном спорили, возвращение это или не возвращение, и если возвращение, то, собственно, к чему? Где те чувства праведности и равенства, с которых начиналась Английская революция, если пожавшие плоды той революции чуть не лопаются от богатства, спеси и только мечтают еще об аристократических титулах? Новые графья понародились: какие же у них могут быть «чувства былых времен»? Подымающиеся классы, пролетариат, разрушители машин, луддиты — это дело другое, они хотели бы вернуться к чувствам былых времен, начав новую революцию, — вот было бы истинное возвращение! Но разве это могли им позволить?

А в самой Франции, что означало возвращение к чувствам былых времен? Возвращение, о котором Пейн услышал от полковника-ветерана, от этого... как его... имя забыл... ну, который в молодости брал Бастилию. Судя по тому, что революционный генерал Бонапарт стал императором, если и состоялось возвращение, то, скорее, к чувствам дореволюционных времен.

И все же всякий человек есть человек, чувства есть чувства, и Пейн (в который раз) не мог не поддаться

движению сердца. Тем более письмо за подписью Джефферсона вручал ему Тадеуш Костюшко, полководец двух революций, и на автора «Здравого смысла», почетного гражданина двух стран, в самом деле не могло не повеять духом былых времен.

Пейн стал собираться в дорогу.

Предложение плыть на президентском военном фрегате, не желая ни у кого одалживаться, отклонил и отбыл на обычном коммерческом судне. Из вещей взял лишь самое необходимое. И, конечно, захватил с собой модели моста и арифметической машины, которую он успел изобрести сравнительно недавно. Затем бумаги. И сколько бумаг! Когда несли эти ящики с надписями «Архив английский», «Архив французский», «Архив американский», кто-то спросил: «Какое посольство переезжает?» Это переезжает гражданин, почетный гражданин Франции и Соединенных Штатов, он же Здравый Смысл.

Первое, что дважды почетного гражданина ожидало по ту сторону Атлантики, когда он, ступив на борт корабля в Гавре, два месяца спустя сошел на берег в Балтиморе, был... арест.

Что ж, приветствие для него привычное. Разве не пытались его повесить, когда он в свое время по приглашению Конвента прибыл во Францию? А тут, оказалось, его требуют к ответу за долги. Пейн даже знать не знал человека, который хотел получить с него какие-то деньги, но когда выяснилось, что это наследник его давнего кредитора, уже умершего, Пейн отдал деньги. (Однако он непредусмотрительно не обратил внимания на злобность, с какой атаковал его неведомый ему истец. Как не придал значения и тому хмурому безразличию, какое ожидало его со стороны стоявших на пристани: лишь модель моста, которую он тут же стал демонстрировать, вызвала любопытство.)

А дальше на его пути был город, которого он никогда не видел, которого в свое время и не было, который возник

на американских берегах за время его пятнадцатилетнего отсутствия, точнее, за два-три последних года его отсутствия, и назывался этот город...

Город был назван так, как Пейну не хотелось бы его называть. Он предпочитал говорить просто — Столица.

Первой американской столицей была Филадельфия, короткое время — Аннаполис, во время президентства Вашингтона правительство помещалось в Нью-Йорке, затем, чтобы не возвышать один штат над другим, выделили между Мэрилендом и Виргинией на Потомаке округ, который назвали именем первооткрывателя Америки — Колумбия, а именем первого президента назвали специально там построенный столичный город.

Ничего, пусть название *Вашингтон* резало Пейну слух, зато новый, недавно избранный президент ждал его к себе.

В самом деле, кого же еще, как не родоначальника революционной пропаганды, должен был Джефферсон к себе призвать, если уж здесь захотели вернуться к чувствам и принципам революционной поры?

Дорога шла вдоль залива. Великая река Делавар, чьи волны олицетворяли в его памяти напор Революции, пока что осталась у него за спиной — севернее Балтимора. Он ехал к югу. Глядя по левую руку на большую воду, а по правую на обширные затоны, перелески и луга, уходявшие за горизонт, Пейн размышлял о том, какая же все-таки это мощная земля. Кажется, природа многих стран совместилась на этих берегах, чтобы людям, взыскующим правды, предоставить для преуспевания наибольшие возможности. Земля была полита кровью в борьбе за правое дело, ради будущих поколений многие внесли вклад в эту природную сокровищницу, отдав ей жизни, и это приумножало плодородность почвы.

Пересекая мосты, Пейн с грустью, с не устраненной за все долгие годы горечью подумал: да, не его это мост. Насколько же его конструкция проще, надежнее и красивее!



Что им было взять именно его проект? А сколько еще пожеланий и предложений, им выдвинутых, не было принято. Конечно, было и принято, было усвоено из того, о чем первым помыслил и что предложил он, Пейн, однако подачей ему никто не платит — приоритета его не признает...

Пейн и не заметил, как въехал в новый город. Нелегко было заметить. Столица еще больше, чем Нью-Йорк, напоминала деревню. Индюки и свиньи бродили по улицам, огороды пока что располагались прямо в городе. Это было что-то вроде нескольких поселений, постепенно соединявшихся в одно. Жило в столице чуть больше двухсот человек, в том числе полтора-два конгрессмена, которые приезжали на время заседаний: начинали заседать после жатвы и продолжали заседать до начала посевной. А президент сидел здесь, по выражению некоторых остряков, как кулик на болоте.

Место гиблое, сырое. Сплошь трясины. Специально так выбрали, чтобы никому было непозвонно спекулировать этой землей.

Пейн решил остановиться где-нибудь в городе, а затем уже наведаться к хозяину этого города.

С первого же постоялого двора, когда он назвал себя, его прогнали. «Здесь не место безбожникам», — прямо и грубо отказал ему хозяин. В другом месте он получил отказ уже от имени постояльцев: под одной крышей с этим Пейном они находиться не желают! И как только мог он нос, свой длинный нос показать в городе, названном именем человека, которого пытался опорочить?

Долго Пейн кружил по улочкам, которые напоминали, судя по всему, декорации в шекспировском театре: самой улицы нет, зато имеется столб с указанием «Улица»... Наконец домишко, называвшийся «Отель», приютил его. И только потому, что, к позору, почетный гражданин не назвал себя — выдал за другого.

На следующий день Пейн собрался к Джефферсону.

— Эй, друг; — по дороге окликнул Пейн встречного, — где помещается президент?

Прохожий вел за собой корову. Он остановился. Внимательно осмотрел Пейна и переспросил:

— Кого?

— Президент... глава госу... мистер Джефферсон. — поспешил добавить Пейн, видя по глазам вашингтонца, что ни одно из наименований не вызывает у того ни малейшего отклика.

— А... а... а... Джефферсон, — и прохожий опять переспросил: — Вдовец с двумя дочерьми?

Теперь озадаченным оказался Пейн. Но вроде и в самом деле были у Джефферсона девочки. Пейн смутно помнил их совсем маленькими.

— Да, — отвечал Пейн, — дочери.

— Держи прямо, — стал охотно объяснять прохожий, — повернешь налево и сразу направо, потом опять прямо и затем налево, потом опять прямо и уж напоследок вправо повернешь, тут и живет мистер Джефферсон. Дом такой белый, с колоннами.

Прохожий потащил свою корову дальше, а Пейн размышлял: сначала прямо, потом напра... затем нале... Впрочем, белого дома он так и не нашел: дом был серый, в лучшем случае серовато-белый — крашеный деревянный дом.

...Встреча с Джефферсоном словно бы перенесла Пейна в другие времена и края. Президент буквально раскрыл ему свои объятия. Они встретились как старые боевые товарищи, полные единомышленники, участники общей борьбы, творцы одного дела.

Пейн с удовлетворением про себя отметил простоту обстановки в правительственной резиденции. Пожалуй, и пятидесяти долларов все убранство не стоило (Пейн еще не видел — так и не увидел — собственных владений президента в штате Виргиния, где дом был тоже с колоннами, да не такими).

Друзья говорили без умолку, перескакивая с предмета на предмет, перемежая политику с техникой, поскольку и президент был изобретателем. Пейн рассказывал и про геррор в Париже, и про свой мост, а Джефферсон говорил о схватках за Конституцию и о вращающейся, удивительно удобной кровати, которую он соорудил и уже испытал у себя в штате Виргиния.

За обедом появились и дочери, две прелестные женщины, которые, впрочем, за столом не стали задерживаться, вроде бы не желая мешать беседе двух друзей, остались (как залог) только внушки.

Лишь впоследствии, складывая воедино свои наблюдения, Пейн осознал, что и дочери Джефферсона не хотели иметь с ним никакого дела, а только, уступив уговорам главы дома и государства, соблюдали некоторую вежливость. И чего только им это стоило! Мўка!

Брендивайн... Трентон... Взлли-Фордж... Бункер-Хилл... Музыкой, вроде боевой трубы и барабана, звучали за столом слова, заставляя гореть взоры — двоих, только двоих седовласых собеседников. Конечно, если бы за столом оказался еще третий — наблюдатель, он бы, наверное, заметил, что глаза горят лишь у одного из собеседников, а у другого — так, поблескивают. Пейн мельком, совершенно случайно бросил взгляд на два других находившихся за тем же столом лица — личика, с розовыми щечками, чистенькими и... и совершенно пустыми, как бы отсутствующими. В тот миг, когда со спазмой в горле, с дрожанием в голосе он произносил «Трррентон!», две пары чудесных глазок не испустили ни искорки, ни малейшего признака внимания не промелькнуло в них, как если бы речь велась на каком-то тарабарском, совершенно для них чужом, неведомом языке.

— А вы знаете Трентон? — спросил внучек Джефферсона Пейн, заново переживая очарование этих слов, чуть было не потускневших, пока он писал письмо Ва-

шингтону. Нет-нет, он уже испытывал возвращение к прежним чувствам: — Знаете, что такое Принстон?

— Конечно, — ему вежливо ответили. — там интересно, а мы хотим туда к нашей тете поехать. У нее такой садик! Такие чудные цветы!

И если что было видно по глазам, по двум парам прелестных юных глаз, так это ожидание разрешения, наконец, встать из-за стола и уйти.

Пытаясь все-таки внести оживление в их взор, Пейн сказал внукам Джефферсона:

— А я, когда впервые приехал в Америку, думал открыть школу для таких, как вы... девочек.

Выражением ужаса ответили ему обе пары глаз: что может быть хуже, чем школа?

Желая поправить положение и не создавать о себе и здесь впечатления столь неблагоприятного, Пейн поспешил добавить:

— Но борьба... борьба за Независимость отвлекла меня.

Разъяснение, судя по выражению тех же глаз, мало помогло. Ужас сменился недоумением: какая борьба?

— Это было почти тридцать лет тому назад, — попробовал с улыбкой объяснить Пейн.

Но глазки ему говорили: тридцать лет тому назад ничего не было! А было просто одно-единственное *очень давно*, и все, как в сказке.

А младшая девочка так и сказала:

— Давно жил Синяя Борода, — и посмотрела на Пейна таким испытующим взглядом, как будто спрашивала, где же у него борода, пусть и не синяя, если он жил тридцать лет назад?

Трентон... Принстон... Бункер-Хилл... Вэлли-Фордж... Что для них, этих хрупких, оранжерейных существ, Двойная Долина, где босоногим ополченцам, перекрывая вой декабрьского ветра, читали слова: «Приходит

время испытаний», где жрали собак и где обглодали кору со всех деревьев, где спали по очереди, потому что одно одеяло было на нескольких человек... А они, могут они себе представить одно одеяло хотя бы на двоих. Сидеть за обеденным столом и скучать, слушая неинтересные разговоры, — вот для них наибольшее испытание.

Что ж, подумал Пейн, дети. Правда, удивляясь детям, он упустил тогда из виду и тоже лишь со временем понял, что и дед просил его прийти пораньше, а затем отпустил его от себя очень поздно только потому, что не хотел, чтобы гость, посещавший и покидавший выкрашенный в белую краску дом, оказался замечен посторонними любопытствующими глазами.

Их беседа текла непрерывно, а если и неровно, то, видимо, из-за того, что друзьям слишком многое хотелось рассказать друг другу.

Так Пейн думал поначалу. Потом, вспоминая тот день в серо-белом доме (сгоревшем лет через десять — двенадцать) \*, он понял, что беседа виляла, уходя то от одного, то от другого вопроса. Вопросы ставил преимущественно Пейн, а Джефферсон очень осторожно и неуклонно уходил от ответов.

Один вопрос обойти было все-таки нельзя, и прямо тут же возникла неловкость. Это когда речь зашла о рабстве. Как только Пейн завел об этом разговор, напоминая, что таков был один из первых пунктов, который они изначально (именно с Джефферсоном) думали ввести в Конституцию, и не пора ли теперь... Джефферсон, кажется, только и ждал этого, он подхватил тему

---

\* Точнее, сожженном дотла англичанами во время англо-американской войны, которая вспыхнула несколько лет спустя, в 1812—1814 годах, уже после смерти Пейна. Тогда и выстроили тот каменный Белый дом, остающийся в США правительственной резиденцией по сию пору

(на самом деле, как впоследствии понял Пейн, перехватил инициативу) и стал заверять собеседника, что дено и ночью он мечтает об отмене рабства, думает неустанно о том, как бы поскорее снять это позорное пятно с облика Соединенных Штатов.

В тот момент, когда Джефферсон это говорил, Пейну почудилось, будто все это уже однажды он слышал. От кого? Конечно, от этого ханжи, от этого деревянного истукана, от этого себялюбивого, вечно себе на уме, двуличного Джефферсонова предпредшественника на том же самом посту, хотя и занимавшего другой дом, в другом городе.

Пейн чуть было так и не выпалил: «Все это я уже слышал от Ва...» Но вовремя удержался.

Про себя он обдумал щекотливую ситуацию и решил вставить в разговор такую фразу: «Президент-генерал сам был рабовладельцем». И уже открыл рот, дабы сделать подобное замечание вслух, как вдруг до его сознания, словно при вспышке молнии, дошло, что сидящий перед ним и проповедующий против рабства человек ведь тоже является рабовладельцем и на этом точно так же зиждется все его благополучие, всей его семьи, двух прелестных дочерей и этих милых внучек.

И в самом деле, Монтичелло Джефферсона было не меньше и не хуже, чем Вашингтонов Маунт-Вернон, там же, в штате Виргиния. Хозяин имения точно так же, как и Вашингтон, предпочитал (любил), чтобы его принимали за простого фермера. Разница между ними заключалась в том, что Вашингтон держался в домашнем быту английского стиля, с гончими, а Джефферсон, хотя сидел в седле не хуже Вашингтона и любил спорт, все же исповедовал нечто французское, просветительское, хотел выглядеть ученым и изобретателем. Ну совсем как... тот же Пейн. Только у Пейна была всего-навсего сданная в аренду хижина в Нью-Джерси (куда

он собирался наведаться на обратном пути) и пепелище под Нью-Йорком, ибо, как стало известно, подаренный ему дом, увы, сгорел.

Беда велика, обида горька, но все же не гибельна, а вот что же, этот борец с рабством собирается в самом деле подпиливать сук, на котором сам сидит?

Парадокс посетил на минуту сознание Пейна во время беседы с президентом и затем оказался исторгнут, прогнан прочь усилием самого сознания и — другими темами. Они продолжали говорить о системе налогообложения и о паровых судах (которые, судя по успехам Фултона, становятся реальностью как чудо нового века), о степени централизации страны и об атмосферных явлениях. О, им, во всяком случае, было о чем поговорить! Не примется ли Пейн за «Историю Революции»?

Когда же за окнами стемнело и по некоторым признакам в поведении радушного хозяина Пейн понял, что пора уходить, Джефферсон с видимой готовностью отправился провожать дорогого гостя.

Может быть, Пейн возьмет с собой этот плащ? Ах, и так тепло! Ну, что ж, пошли...

Высокий, сухопарый, как и Вашингтон, обладавший к тому же изяществом, Джефферсон поддерживал хрупкого Пейна, сгорбленного, чуть (по лицу было видно) парализованного — все-таки уже шестьдесят пять старику стукнуло, не один удар перенес, а президент был, что ни говори, почти на десять лет моложе.

Они аккуратно обходили лужи, рытвины, еще не убранные с улиц столицы. Поглощенный этим занятием, а также продолжением неумолкавшего разговора, касавшегося как соотношения двух палат в Конгрессе, так и направления ветров, Пейн все же успел заметить нескольких прохожих, которые останавливались при виде них, будто по приказу, и внимательно всматривались, кого же это в такой поздний час и так преду-

предительно сопровождает президент? Какого-то старика сухонького, длинноносого, и ручки так складывает за спиной. Заметил Пейн и то, что его спутник, высокий по росту и должности, старался уклониться от этих прищально-прицельных взглядов.

Все же, хотя газеты соперничающей партии (так называемые «федералисты» \*) на другой день кричали: «Президент пригрез на своей груди приползшую из-за океана гадину!» — Джефферсон вроде бы не дрогнул, и Пейн еще не раз побывал в серо-белом доме с колоннами. Они говорили между собой по-прежнему дружески, но девочки уже не появлялись и все заметнее становилось, как президент не говорил, а все больше уговаривал своего собеседника.

Обещанное возвращение к прежним временам? Джефферсон и сам всей душой за это, но ведь есть реальность: можно ли с ней не считаться? Была пора борьбы — пришла пора мирной жизни, люди всего лишь по-иному понимают, но претворяют те же принципы. «Грабя друг друга?» — спросил Пейн. Ну почему грабя? При чем тут грабеж?

И Джефферсон начинал рассуждать о государственных сложностях, о расстановке политических сил.

Рабство... рабство... А если посмотреть прямо на факты: их столько развелось, невольников, что свободу им давать лучше уж вместе с ножами! Пусть, если на то пошло, разом вырежут все белое население... Почему именно вырежут? А что, по-вашему, станут они делать, получив свободу?

Пейну показалось, что президент рассуждает в точности так, как его же политические противники.

---

\* Со временем они стали называться «демократами», хотя ни названия, ни разделения партий в США того времени не соответствуют нынешним.



Как еще рассуждать? Где выход? Да, пнятно, да, бремя. Разумеется, рабский труд малопроизводителен. Но именно этот малопроизводительный, зато очень дешевый труд позволил встать на ноги людям, возглавившим борьбу за Независимость. Сколько раз, сколько раз рука Вашингтона бралась за перо, чтобы единым росчерком покончить с этим позором, бралась — и останавливалась: кто будет трудиться? На чьи плечи взвалить тяжелейшую работу, которую иначе и делать никто не захочет и оплатить, как следует, все равно нечем? А теперь что поделаешь? Ведь если рабов освобождать, то надо, во избежание большой крови, их вывозить из страны обратно, как когда-то ввозили, либо... либо самим выезжать куда глаза глядят. Полное равенство хотя бы между белыми? А гражданской войны, а распада страны не хотите? Если снизить избирательный ценз, если снять все ограничения, допустив прямое и всеобщее голосование, то верх тут же возьмет всякая сво... верх возьмет чернь!

«Чернь?» — поразился Пейн. Что за понятие «чернь» в демократическом государстве? Зачем же было обещать Равенство, чтобы потом...

Потом! Потом! Именно что потом, а вначале — как было этого не обещать? Кто поднялся бы тогда на борьбу? Большие обещания были необходимы как возбудитель наилучших чувств. И этому Пейн прекрасно послужил. Но что есть республика? Государство, где пекутся исключительно о благе всех. А демократия? Это — всеобщее равенство. Однако нельзя же было всех уравнивать. И как можно забыть о личном интересе? А что касается следования Революции ее исходным принципам, то где же это в Декларации Независимости гарантии полного Равенства? «Жизнь, Свобода, Стремление к Счастью»... Вчитайтесь! Вдумайтесь!

Пейн просто опешил от такой просьбы. Допустим, он не писал самолично Декларации Независимости (хотя

многие уверяли в этом). Но разве Джефферсон, тогда молодой человек, начинающий юрист, назначенный в Комитет по составлению Декларации, не помнит их разговоров летом, точнее, в июне семьдесят шестого года? И разве не утверждали англичане, что Декларация — это, в сущности, повтор и, уж во всяком случае, следствие брошюры «Здравый смысл»?

Нет, вы все-таки вчитайтесь, вы вдумайтесь получше, с учетом исторического опыта: стремление к счастью... И пусть каждый стремится, как может. Кто может больше, кто меньше. Разве это не справедливо?

Но ведь речь шла изначально не об этом. Не об этом. Новый мир собирались построить — вы понимаете: новый! Кого в старом мире, хоть сколько-нибудь зная историю, можно удивить дипломатическими хитростями и даже прямым коварством в обращении с людьми, массами народа? Испробовано, кажется, все, и американский замысел, как понимал его Пейн, заключался в изыскании чего-то истинно небывалого, что не принесло бы уже давным-давно известных разочарований. Короче, государство, где новым и по-новому будет буквально все, будет абсолютно не так, как было в Старом Свете, выдавшем любые виды, знавшем любые подлоги и подмены, испытывавшем посулы и обманы во всех мыслимых вариантах.

— Я хотел бы посоветоваться с вами о своих территориальных планах,— обратился к Пейну Джефферсон, явно желая изменить ход разговора.

Позвольте, а принципы? Во имя чего американцы будут продвигаться в глубь континента?

— Есть возможность,— отвечал Джефферсон,— дешево приобрести у французов Луизиану. Наполеону нужны деньги...

— Я знаю Наполеона,— довольно резко заметил Пейн.

— Тем более! — подхватил Джефферсон. — Ваши советы будут для нас необычайно ценны. Как себя с ним вести? Как, — Джефферсон усмехнулся, — торговаться?

И разговор пошел о той обширной территории в центре материка, о Луизиане, которой все еще владели французы, но которую хорошо бы присвоить американцам.

Потом они еще поговорили о технике, об открытиях и изобретениях, о машинах и пароходах, о том, насколько Америка в этом отношении еще отстает от Старого Света. Ну, ничего, такие, как Фултон, если дать простор их инициативе, себя еще покажут. Да, наступает, как видно, век пара, время невиданной техники, невероятных мощностей и немыслимых скоростей. Если Фултон еще приложит усилия и ему помогут хотя бы средствами, то, как знать, американцы, может быть, и вырвутся вперед. Величайшее изобретение — ткацкий станок — им пришлось выкрасть у англичан, чтобы развить собственную текстильную промышленность, но, бог даст, стимбот (пароход) у них будет собственный и — первый в мире.

Друзья по душам поговорили о технике. И, похоже, президент прислушался к советам Пейна относительно Луизианы (конечно, купить) и тактики в переговорах с Наполеоном (держат ухо остро!). Все же Пейн покидал странную, новоявленную столицу со смешанными чувствами.

И столица какая-то жалкая. Провинциальная. Захолустье. Говорят, даже Санкт-Петербург — город с размахом, а уж с Парижем или Лондоном смешно и сравнивать.

Из американской столицы (одно название которой даже больше, чем ее вид, вызывало у него неприятные воспоминания) Пейн уезжал в состоянии душевного неравновесия.

Хочет ли третий президент воспользоваться его именем и способностями, а потом его самого отбросить, буд-то его и на свете нет, как это сделал первый президент? Но какое же может быть использование, если имя Здравого Смысла связано исключительно с Революцией, а президент, судя по их беседам, настроен не очень революционно?

Ведут ли с ним политическую игру, как Наполеон? Но какая может быть игра? Ради чего? И стоило ли во имя игры вызывать его к себе из-за океана?

Показалась Филадельфия. Вот красавица! О, какой она стала за время его отсутствия!.. Лучшие дома Филадельфии, конечно, не уступят лучшим домам Бостона, а лучшие дома Филадельфии и Бостона не уступят лучшим домам в мире. Улицы прежней столицы сделались в самом деле прямыми. Рыночная улица превратилась в проспект, хотя на этом проспекте все портил (как прежде, так и теперь) невольничий рынок.

Пейн повернул на 3-ю улицу к дому, где когда-то печатался «Здравый смысл».

Судя по всему, типографии здесь уже не было, а находилась какая-то мастерская. Пейн постучался в узкую дверь и спросил у паренька, появившегося на пороге:

— Здесь уже не квартирует мистер Белл?

Лицо паренька выразило настороженное недоумение. Пейн пояснил:

— Издатель...

— Ма,— крикнул паренек, оборачиваясь назад через плечо,— спрашивают мистера... создателя...

— Чепуху-то не мели! Какого создателя? — раздался женский голос из недр домика, и к пареньку присоединилась сухопарая женщина средних лет:

— Что вам угодно, сударь?

Пейн, понимая, что первого издателя «Здравого смысла» здесь не помнят, вместо ответа сообщил:

— Мистер Белл, снимавший это помещение под типографию, когда-то напечатал мое... э... э... э... одно такое... э... э... сочинение... «Здравый смысл».

— Такого у нас нет,— коротко и сухо сказала женщина, показывая, что продолжать разговор и вдаваться в разъяснения не имеет охоты.

Пейн не мог устоять перед искушением и не спросить:

— А вы не слыхали про «Здравый смысл»?

И едва не пожалел о своем любопытстве, ибо женщина поняла вопрос как насмешку:

— Чего-о я не слыхала?

— Это — сочинение,— поспешил пояснить Пейн,— книга... Называлась «Здравый смысл». Здесь печаталась.

— Здесь ничего не печатается. Мы — портные.

— Это было давно.

— Никогда такого не было! — не уступала женщина.— Мы и сами здесь уже сколько лет живем.

— Простите, а сколько лет? — спросил Пейн.

Но женщина, кажется, не поняла его вопроса: собственная жизнь ей представлялась, видимо, единственной мерой времени и вообще всех вещей.

— Давно ли вы здесь живете? — переспросил Пейн.

Настойчивость незнакомца показалась хозяйке излишней. Довольно грозно она в свою очередь спросила, переходя почти на грубость:

— А это еще зачем?

— Я и сам,— поспешил пояснить Пейн,— в этих краях жил.

— Ну я вас не знаю,— несколько смягчилась новая хозяйка старого дома.

— А все-таки, мадам, давно ли, если не секрет, вы здесь живете?

— Как приехали, так и живем.

— А когда вы сюда приехали?

— Да уж,— с гордостью отвечала женщина,— годов шесть.

— О, я бывал тут не меньше пятнадцати лет тому назад,— вздохнул Пейн и заметил, что на лице женщины, как и у внучек Джефферсона, появилось то же самое детское неверие в самую возможность существования чего-то за пределами ее личной памяти: девочкам представлялось, будто ничего не было пять лет тому назад, женщине (под сорок) — пятнадцать.

Пейн добавил:

— А «Здравый смысл» был напечатан двадцать пять... даже все двадцать шесть лет тому назад.

— Ну, мало ли чего когда было,— с неудовольствием отозвалась на эти сведения женщина.— Всего и не упомянь.

— Эту книгу написал Пейн,— сказал Пейн, хотя об этом его никто не спрашивал, однако результат этого ответа без вопроса оказался гораздо более внушительным, чем все ответы на его вопросы.

— Пе-е-йн? — переспросила женщина, вдруг опять настораживаясь и воинственно напрягаясь.— Да у нас тут его проклинали на каждом углу. Безбожник паскудный! Появись он здесь, я бы его сама на порог не пустила.

Оглушенный таким ответом, Пейн некоторое время шел, не думая, куда идет, и только оказавшись перед Домом Независимости, он понял, что ноги сами привели его к политическому ристалищу былых времен, к месту его прежней службы. Вот здесь заседал Конгресс... провозглашали — прямо на улице — Декларацию Независимости... принимали Конституцию... Билль (Указ) о правах... Здания были теперь заняты местными властями. Неподалеку возвышалась башенка Философического общества, основанного Франклином. А по этим ступеням каждый день Пейн поднимался и спускался, держа при

себе сундучок с государственными бумагами. И кажется, даже те самые трещины и выбоины на ступенях, которые он помнил, не стерлись со временем, ни с набегам англичан, ни с переменами политического курса.

Пейн взглянул вверх на колокол, висевший на башне Дома Независимости, превратившегося теперь в местный совет. «Возвести о Свободе...» Уже дважды колокол давал трещину, словно оттого, что оповещал не о том, для чего был отлит и предназначен...\*

На берегу реки Делавар Пейн немного пришел в себя и несколько успокоился.

Река сохраняла мощь. Это были те же берега, откуда начинался исторический поход. Штурм шел зимой, и сейчас, ранней и очень теплой осенью, в сентябре, когда вода продолжала манить прохладой от стойкой жары, трудно было даже очевидцу вообразить глыбы снега и льда, которые некогда несла та же могучая Делавар.

Пейну, конечно, хотелось побывать у тех мест, где шла историческая переправа революционных войск, где оступился конь Вашингтона, и командующий, надо отдать ему должное, движением умелого всадника не дал коню упасть, вздернув его за гриву кверху, что произвело впечатление счастливого предзнаменования.

Пейн охотно заглянул бы и в Двойную Долину, где зимовали они в жестокие морозы.

Здесь каждый шаг вызывал воспоминания. Это был центр решающих схваток времен Войны за Независимость.

---

\* Когда в 1835 году этот колокол треснул в третий раз, его сняли и поставили на площади, где его теперь можно видеть. Сделано так было, говорят, по совету вмериквицев, видевших наш царь-колокол. Соответственно, и шутки по поводу двух реликвий сходятся. Если Чаадаев иронически говорил, что в Москве показывают колокол, который упал прежде, чем зазвонил, то и трещив в Колоколе Свободы американцами оценивается как изъяс символический.

Пейн, надо полагать, без труда отыскал бы в точности даже тот самый пенъ, на котором он когда-то сидел и писал при свете костра на барабане первый из своих «Кризисов»: «Приходит время испытаний духа человеческого...» Тут же неподалеку это и огласили впервые.

Но все дело заключалось в том, что Пейн находился в пути не один. В порядке дружеской услуги президент снабдил его экипажем и возницей. «Доставить до места!» — был президентский указ этому малому, который сначала пустился ехать очень быстро, а затем, по мере удаления от столицы и ослабления действия высоких инструкций, терял энтузиазм, все чаще на своего пассажира исподлбья поглядывая и как бы вопрошая, скоро ли его отпустят с миром.

Уж лучше бы Пейн пошел пешком, хотя дорога неблизкая: через три штата — Мэриленд, Пенсильванию и Нью-Джерси на Нью-Йорк. Но никак было нельзя отказаться от высокой услуги, и правду сказать, внимание и почести Пейн любил. Кто это едет? Это едет личный гость президента, почетный гражданин!

Зато сиди, как в кабале у кучера, а хорошо было бы завернуть вон к тому домику, чудом уцелевшему, из-за которого когда-то бросилась на врага засада ополченцев. Так и была отвоевана Филадельфия, и завоевана фактически сама Независимость — из-за кустов да из оврагов, под покровом темноты, в мороз и бурю, врасплох, когда противник не ожидал нападения. Кто же воюет под рождество? А под рождество и форсировали Делавар, что и решило дело.

«Ты выйди! Выйди на простор! Давай сразимся!» — всячески выманивали Вашингтона на открытое пространство и англичане, и особенно прусаки, привыкшие маршировать в бою, как на параде. Но из овинов да из-за стогов бросаясь, с крыш да с деревьев прыгая, ополченцы брали чуть ли не голыми руками королевских,



хорошо обученных солдат. А руки иногда и впрямь у них бывали голыми, пустыми, пока ружей и патронов не хватало.

Теперь здесь поистине мир. Бархатистые луга перемежались пашнями, хутора виднелись повсюду и, конечно, один за другим шпили церквей.

Не имея возможности заглянуть ни в одну из ферм, служивших некогда фортами народной армии, Пейн лишь мысленно мог предполагать, что было бы, если бы он пошел через поле к тому домику и встретили бы его вопросом: «Что надо? Кто такой?» Как бы он отвечал? «Я... как вам сказать... э... я гражданин... Пейн». Что за этим бы последовало?

Экипаж был ему предоставлен до Бордентауна, на противоположном берегу Делавара, где у него был клочок земли, дарованный штатом Нью-Джерси. За мостом новый штат и начинался. А чтобы завернуть, скажем, в Двойную Долину, надо было ехать до другого моста. Но возница и так на протяжении всего пути от Вашингтона до Бордентауна, который в те поры немногим уступал новоявленному столичному городу, всячески давал понять своему пассажиру, что он, дескать, тоже человек, со своими правами.

Пейн не собирался оспаривать этих прав, он боролся за эти самые права, но возница всем своим видом и поведением словно хотел сказать: «Знал бы ты, что такое права человека!»

Наблюдая за возницей, можно было (до известной степени) представить себе, как же он понимал эти права. Он, судя по всему, считал, что это пассажир должен был сам себя везти, а возчик, занимая свое место на облучке, соответственно получал бы, что и как ему положено. Сколько же ему; по его понятиям, должно быть положено, трудно было вообразить. Как можно больше и... еще больше. Почти безгранично. Как у женщины из

Филадельфии, так и у возницы из Вашингтона, мера, основанная на сугубо своих представлениях о себе, была безмерной. Это говорил взор. Нельзя было и помыслить о пределах тех желаний, которые, будучи исполненными, заставили бы эти капризно-угрюмые глаза хоть чуточку посветлеть и тем более улыбнуться.

Во всяком случае, в распоряжении Пейна подобных средств, очевидно, не находилось. Почетный пассажир уж и так всячески стремился не превысить своих прав и, кажется, даже старался трястись поменьше на ухабах, чтобы не вызвать пущего неудовольствия своего Автоме-донта. А когда лошадь, увидев тень, испугалась и немного заупрямилась, думая, как обычно думают лошади, что это — яма, и возница стал злобно и, сколь ни странно, неумело дергать за одну вожжу, тем самым только мешая лошади двигаться вперед, Пейн (осторожно) вылез из экипажа и, взяв лошадь под уздцы, провел ее несколько шагов по дороге. Лошадь, как говорится, обошлась и успокоилась, но возница стал еще мрачнее и еще большее неудовольствие изобразилось на его лице.

Чего же ему, в самом деле, надо? Так думал Пейн, который уж вроде бы не только трястись или пылиться, но даже дышать побаивался, не желая выглядеть бременем для человека, который должен был доставить его по назначению. Пейн рад был бы не только сам сесть на облучок и взяться за вожжи, но и, пожалуй, был готов впрячься вместо лошади, чтобы везти себя самого и уж не утруждать требовательного кучера.

Нет, не этот кучер стал кричать и требовать, чтобы он, Пейн, ко всем чертям слезал и убирался восвояси. Этот кучер, подчиняясь указанию все-таки самого президента, вез Пейна и вообще ни слова за всю дорогу не сказал, подвергая пассажирское достоинство своего седока пытке молчанием: «Что с тобой говорить?»

Однажды кучер ударил лошадь бичом (у американских кучеров — бичи), и ясно, что этот удар, доставшийся бедной лошади, предназначался не лошади.

Больно было Пейну думать о неприязни, вызываемой им у рядового американца. Лично его, Пейна, неприязнь не касалась в данном случае. Кого он везет, этот кучер не имел (о чем позаботился Джефферсон, сказавший: «Доставишь моего личного друга») понятия. Он хотел дать понять каждому, кого бы ни вез, что не хуже любого другого и сам за пассажира может проехать, хотя никто фактически сомнений в том не выражал.

С облегчением вздохнул Пейн, когда показался наконец Бордентаун, а уж когда повозка остановилась, он соскочил на землю, как говорится, еще раньше, чем приехал, с невероятной поспешностью.

Пейн похлопал конягу по взмокшей шее, и этот жест, в сущности, тоже предназначался не столько лошади, сколько ему самому, ибо он устал за дорогу, словно и в самом деле тащил на себе и эту лошадь, и этот экипаж, и уж, разумеется, этого кучера.

Кучеру он отдал (хотя президент просил его ничего не платить) почти половину своих наличных средств, и эта плата предназначалась, скорее, ему самому, его совести, которая могла хоть чуть-чуть успокоиться. А кучер принял деньги с той же гримасой неудовольствия на лице, которую он как бы напялил себе на физиономию, начиная со столицы, от самого Вашингтона, и не снимал с лица до конечного пункта.

Бордентаун, как всякое американское селение, находящееся у проезжего тракта, в отличие от наших деревень состоял из двух улиц — Главной и Поперечной. Главная это — стрит, Поперечная — авеню. Авеню в Бордентауне упиралась в общественный выгон, к нему примыкал уже огороженный участок Пейна, и там Пейн еще издали увидел Бутона, своего коня.

Бутону перевалило за двадцать, а лошадиный век, как считается, течет в четыре раза быстрее человеческого, стало быть, то был глубокий старик конской породы, и чем ближе подходил к нему Пейн, тем отчетливее видел на конской шерсти белесые проблески седины.

— Эй, Боб! — окликнул Пейн коня, как он всегда называл его, и ветеран повернул к нему голову, но, разумеется, не на кличку, а потому что слабеющим взором заметил надвигавшуюся на него тень.

Но впечатление отклика было полное. В особенности когда Бутон слегка взмахнул головой (может быть, отгоняя слепня) и отвалил нижнюю губу, он, казалось, тем самым выразил:

— А-а, это ты... Давненько что-то тебя не было.

— Боб, Боб, — повторял Пейн и, касаясь рукой седорыжей гривы, думал: «Да, годы...»

Ветер, налетев, зашелестел травой, словно вторя: «Годы, годы, какие годы! Что унеслось безвозвратно, что случилось за это время?»

Бутон, давно не встречавший ничего, кроме ласки или почтения, и не знавший другого занятия, как греть на солнышке провисшие бока, пощипывая при желании травку, не испугался подходившего и только покачивал головой, будто в самом деле говорил седому собеседнику: «Да-да, пожили, повидали, нечего сказать...»

А с другого конца огороженного пастбища, где стоял небольшой домик, уже бежал Киркбрайд, полковник Джозеф Киркбрайд, старина Джо, который когда-то лишь назывался так в шутку, а ныне по тому, как он бежал, или, лучше будет сказано, всеми силами пытался бежать, было видно: и он уже старик.

Киркбрайд отслужил в ополчении, у него сожгли дом, он снял у Пейна в аренду и этот лужок, и этот домик,

а Пейн оставил ему в пользование, а затем на помечение еще и верного своего Бутона. «На лужайках Нью-Джерси...»

Полковник подбежал, запыхавшись, и облокотился, будто на изгородь, на коня — с другой стороны, другого бока, чем Пейн, и так они, бывшие однополчане, встретились — глядя друг на друга через лошадь, поверх провисшего от старости конского хребта.

Некоторое время было слышно только легкое посвистывание ветра, негромкое всхрапывание коня и тяжелое дыхание полковника. Потом они все же обнялись, похлопывая друг друга по плечам, и Бутону досталось, ибо в избытке нахлынувших чувств они переносили на лошадь всю радость встречи, похлопывая и коня в две и даже в четыре руки по крупу и шее. «Вот оно, вот оно как!» — произносили они оба одно и то же.

А затем, едва первая волна радости схлынула, сразу же прозвучал вопрос Пейна:

— Что же это происходит, Джо?

Полковник повел рукой по конской гриве, по шерсти, слегка нажимая на шелковистую, подернутую сединой конскую «рубашку» (так называется шерсть) и глядя на лошадь — не на друга-собеседника. Потом вскинул прищуренные глаза и сказал:

— Идет жизнь, Том.

Пейн тоже положил руку на гриву коня — с другой стороны.

— Не так, как мечталось нам с тобой, Джо.

\* \*  
\*

В письме к согражданам-американцам, суммируя и последующие свои впечатления, Пейн прямо выразил владевшие им чувства: «...после моего отъезда из Аме-

рики некоторые тревожные признаки сигналили о том, что принципы Революции увядают на той самой почве, что породила их».

Ныне, продолжал Пейн, проверив первоначальные подозрения на месте, он убедился, что эти подозрения, печалившие его («ибо я гордился Америкой», — писал Пейн), увы, не оказались ошибочными.

«Страна поворачивается спиной к своей собственной славе и гигантскими шагами движется в противоположном направлении, к забвению этой славы» — так писал Пейн. Но, говорил он далее, искра огня с алтаря семьдесят шестого года, не угасшая и неугасимая, все же снова вспыхивает в разных краях американского государства во имя духовной Свободы.

Однако в Америке, говорил Пейн, тайным образом поднялись и продолжают подниматься фракционные силы, утратившие исходные принципы. Они стремились и стремятся сделать из правительства прибыльную монополию, а народ использовать как источник обогащения.

Есть в Америке, как и во всякой другой стране, продолжал Пейн, огромное большинство, те, кто либо трудится на своих фермах, либо посвящает себя другим занятиям, и они не обращают внимания на всевозможных анонимных писак; кто мыслит самостоятельно, те и о правительстве судят не по неистовству газетных выкриков, но по основательности мер, по тому поощрению, что предоставляется благоустройству и процветанию страны, и кто судит самостоятельно, тот никогда не добивается выборных должностей, разве что при особых обстоятельствах. И когда такие люди начинают действовать, говорил Пейн, тогда всякие взвизги и выкрики становятся пустяками. Попробуйте, предлагал Пейн, сказать этим независимым людям: «Вы должны на следующих выборах провалить таких-то и таких-то, потому что они слишком снизили налоги и уменьшили расходы на

содержание правительства, они сняли с прибыльной должности, на которой делать ничего не надо было, моего сына, или моего брата, или же меня самого» — сказать так — значит показать дьяволово копыто упомянутой фракционной группы и исповедовать веру плохо прикрытого сговора...

«У меня нет повода просить и нет намерения принять какое бы то ни было место или должности в правительстве, — писал Пейн. — Все это не стоит вознаграждения, каковое я получаю как автор, если, конечно, я смогу хоть как-то сочетать выгоду с моими политическими убеждениями или верой. Во всем, где только ни приму я участие, мне следует быть беспристрастным добровольцем. Моя истинная сфера деятельности — это гражданственность, и всем честным людям я бескорыстно протягиваю руку и отдаю сердце».

«Поскольку дела страны, в которую я вернулся, важнее, чем события в той стране, которую я только что покинул, — продолжал Пейн, — ибо через рождение нового мира должен быть преобразован старый мир, я не буду рассказывать о событиях и делах во Франции, к тому же все это тяжело вспоминать и жутко рассказывать».

Перейдем, предлагал Пейн, сразу к Америке. Если прошедшие годы — четырнадцать и даже больше лет — произвели перемены, то в чем они?

«Со многими своими прежними друзьями и знакомыми я встречался, — говорил Пейн, — и убедился в том, что они остались верны тем же принципам, как это было, когда я уезжал. Но расплодилось неописуемое племя людей совсем другого сорта, уклончивое поколение, это они приняли имя «федералистов», что, впрочем, неизвестно, какой имеет смысл, и они стали множиться как грибы и, как грибы, торчат на своих не имеющих корней ножках».

Ради чего хотят федерализироваться, то есть объединяться, эти люди, спрашивал Пейн, ради поддержки Сво-

боды в своей стране или же ради уничтожения ее? Понять невозможно. Это что-то вроде того, как однажды Джон Адамс дал определение республики. Это, говорил он, держава законов, а не людей. Но коль скоро законы могут быть и хороши, и плохи, постольку и держава, основанная на законах, может быть и наилучшим из государственных устройств, и наихудшей из деспотий. Однако Адамс, отмечал Пейн, это человек еретических парадоксов и путаного склада ума. Он выпустил книгу «В защиту Американской конституции», а суть этой книги в нападении на Американскую конституцию...

«В истории партий и наименований, которые они себе присваивают,— продолжал Пейн,— нередко случается так, что эти партии доводят свою деятельность до противоречия тем принципам, с провозглашения которых они начинали».

Еще со времен старого Конгресса, когда штаты были слабо связаны между собой, рассказывал Пейн (не из вторых рук), речь шла об укреплении связей. И говорили о том, как сочетать законы каждого штата с законами всего государства. Когда планы создания Федерального, единого, общего правительства были предложены для обсуждения штатам, то эти планы, каждый из них, вызвали сильные возражения всех штатов. Но боролись не с принципом федерации, а — за принципы конституции. Многих, как опасность, настораживало (пояснял Пейн), что исполнительная власть может оказаться в руках одного человека. Это слишком походило на военное командование или же на деспотию. И все говорили, что власть президента окажется чересчур велика, что в руках человека честолюбивого и настойчивого она может превратиться в тиранию, как это произошло в Англии при Кромвеле или как это случилось позднее во Франции. Республика должна осуществляться, не только имея принципы, но и соответствующие формы...



«Поскольку множество молодых людей выросло с тех пор, — говорил в своем письме Пейн, — им надо разъяснить, что изначально и по существу означал федерализм, от которого ныне осталось одно название». Те, кто теперь называют себя «федералистами», продолжал Пейн, те пользуются этим ярлыком для прикрытия своей замены принципам, пользуются, как маской, для притеснений. Едва эти люди оказались на правительственных местах, указывал Пейн, они тотчас же уничтожили федерализм как представительную систему правления, «эту гордость и славу Америки» (подчеркивал Пейн), и палладиум американских свобод оказался разрушен.

Следующее поколение, свидетельствовал Пейн, уже не знало Свободы. «Сын должен был гнуть шею перед отцом, — писал Пейн, — и существовать у него под пятой лишенным собственных прав под наследственным контролем...»

План лидеров этой фракции, говорил Пейн, заключался в том, чтобы отбросить свободы нового мира и посадить правительство на основе прогнивших принципов Старого Света. «Они хотели, — писал Пейн, — удерживать в своих руках власть дольше того, чем хотели бы их граждане...»

И возникает вопрос, заключал Пейн, являются ли эти правители истинными федералистами? «Если считать их таковыми, — делал он вывод, — то их федерация создана во имя обмана и ради разрушения».

В этом письме Пейн еще был осторожен и, надо признать, не совсем прям. Говоря о прежнем президентстве, подразумевал он и нынешнее. Джефферсону он как бы выдавал аванс, подсказывая, что не должен же он быть похожим на Адамса и пользоваться понятиями Свободы, Демократии и Единства во имя собственной выгоды. Пейн и американцам, как таковым, выдавал аванс, говоря об их высоком достоинстве, ибо пока что, кроме грубости и той же корысти, ничего от них не видел.

— Ты не понимаешь, Том, — отвечал полковник, — люди не могут иначе. Ведь каждый из нас понимает все на свете через себя, ради себя, словом, на свой лад. Требуешь Свободы — для себя, провозглашаешь Равенство во имя себя. Буду ли я равен со всеми — вот что каждому из нас важно, а не то, видите ли, будут все равны или же не будут.

— Но чем же плох принцип? — воскликнул Пейн.

— Принцип принципом, — усмехнулся Киркбрайд, — а интерес — интересом. Дальше личного интереса осуществление наилучших принципов, как видно, идти не может. Всякому кажется, что принцип осуществлен, если он, согласно данному принципу, уже все получил. А не получил, тогда, стало быть, принцип либо плох, либо нарушен.

Пейн не успел возразить, потому что Киркбрайд предупредил его движением руки и продолжением своей речи:

— Другого в людях я, сколько прожил, не видал. Иногда может показаться, будто видишь что-то другое, а присмотришься, нет, то же самое, разве что потоньше устроено.

На этот раз усмешкой Киркбрайд перебил возможное возражение Пейна и опять продолжил:

— Ты знаешь, Том, я даже подсчитал: из десяти мне знакомых революционеров восемь стали реакционерами, как только их личные цели оказались достигнутыми. Вспоминая былую борьбу, они словно извиняются за то, что, уж простите, эту самую борьбу когда-то вели и как-то ненароком произвели, будь она неладна, революцию!

После этого полковник легко погладил Бутона, а Пейн (только с другой стороны) почесал коня под гри-

вой, и тогда тот от удовольствия зажмурился, а Пейн отчаянно скреб по конской шерсти пальцами, желая унять свое раздражение.

— Но... совесть... ведь тоже надо иметь, — наконец сказал он.

— Ах, постарайся усвоить парадокс равноправия, — отозвался на это полковник Киркбрайд. — Есть люди, у которых нет прав на то, что им хотелось бы иметь, и они вынуждены (да, вынуждены, ибо других средств не имеют) вносить путаницу в шкалу человеческих достоинств. Все нормы здравомыслия они нарушают таким образом, чтобы искомое шло к ним в руки.

Пейн сделал попытку возразить. Киркбрайд остановил его:

— Представь себе, ты — лентяй. Но умереть с голоду не хочешь и поэтому устраиваешь все таким образом, что тебя кормят задаром.

— Но каким же это образом получается? — изумился Пейн. — Кто же позволяет?

— Другие лентяи. Они же заодно. Между собой солидарны.

— Всех и гнать! — воскликнул Пейн.

— Не так-то просто! — в свою очередь воскликнул Джо, как видно готовый к подобному возражению. — Неспособный к труду может быть очень, и даже очень, способен к чему-нибудь еще, скажем к обману. И все обманщики легко обведут вокруг пальца всех простодушных тружеников, вроде тебя, доказывая, что это ты — лентяй, а они трудятся в поте лица своего. Кому, ты думаешь, скорее поверят?

Не отвечая, Пейн в раздумье опять почесал у коня под гривой. Буто́н снова зажмурился и слегка мотнул головой, словно принимал участие в их беседе и хотел сказать: «Еще бы! Что спрашивать!»

Полковник мягко провел рукой по конской спине и добавил:

— Люди равны, но неодинаковы — вот в чем загвоздка. Один умен, другой — болван, один может возы на себе возить, как... лошадь, — и хлопнул слегка Бутона по крупу, — другой и соломинки не подымет. А вот в обществе все как-то уравниваются. И каждый все-таки существует, хотя бы за счет другого. Этим положением вещей остается лишь пользоваться согласно своей способности.

— За что же в таком случае мы сражались?! — уже не воскликнул, а закричал Пейн, и Бутон, давно не слышавший ни «Тпру!», ни «Ню-о!», ни «Пошел!», хотя и не шарахнулся с непривычки в сторону, но все же вскинул голову: «Что за крик?»

— Многие, Том, думают, — сказал полковник, глядя на Бутона, — будто история их обошла, как-то обманула...

— И что же? — спросил Пейн, не догадываясь, куда же его былой соратник клонит.

Тут уж воскликнул Киркбрайд, хотя и не так громко, как Пейн:

— Да история сама на них обманулась, — и он энергичнее стал гладить коня, успокаивая, понятно, себя, а не его. Потом добавил: — Ведь мы полагали, что в результате всех родовых мук явятся на свет люди совсем другие, яко боги...

Полковнику самому понравилось, как он сказал. Подняв к небу палец и пугая им Бутона, прищурившего один глаз, он повторил:

— Яко боги! Не знающие чувств и мыслей, нас мучающих. Люди с другими чувствами. С другим пониманием всех вещей. Всех вещей!

— Но разве таких людей нет? — спросил Пейн.

— Где ты их видел, Том? — вопросом ответил полковник.

Пейн чуть было не ударил себя в грудь, однако Киркбрайд, словно парируя удар, уже отвечал ему:

— На какой земле стоишь, Том?

Все еще не понимая, куда старина Джо клонит, Пейн тем не менее даже ногой топнул:

— На своей!

— Именно! — подхватил Киркбрайд. — Дело кончилось тем, что ты получил...

— Не даром же я получил! — вновь почти закричал Пейн, смущая Бутона.

— Кто с этим спорит? — мягко заметил Киркбрайд. — Речь о том, что всего-навсего сменились владельцы! Прежде тебя тоже кто-то здесь стоял и... и... — Киркбрайд постарался улыбнуться как можно благожелательнее, — тонал, говоря «Моя!». Произошла смена рук или... или ног, только и всего.

— Я не брал ни гроша за свои сочинения! — настаивал Пейн.

Киркбрайд на этот раз взглянул на Пейна в упор и с мягкой твердостью произнес:

— Неправда, Том. Неправда...

— Ка-а-ак это неправда?! — уже не закричал, а заорал Пейн так, что Бутон, при всей своей дряхлости, рванулся, и друзья-спорики, потеряв живую опору, сами чуть не упали на землю.

Удержав равновесие, полковник с непреклонностью продолжил:

— Не брал ты с издателей, но ты получил затем с правительства.

— Сколько я получил за все? За всю мою службу? — тяжело дышал теперь Пейн.

— Сколько бы ни получил, — отвечал Джо, — важен принцип. Понимаешь, принцип?

Пейн, право, не знал, что возразить. А полковник, чуть помолчав, заговорил вновь:

— И получил ты, признай, немало. Во-первых, деньгами...

— Сколько денег? Сколько?

— Тебе виднее, Том. Я не считал.

— Три тысячи, — слегка скривившись, сообщил Пейн, хотя его об этом не просили. — Конгресс голосовал за эту сумму.

— В те времена, — сказал Джо, — сумма неплохая, сам знаешь. Но ты же получил еще и целое имение под Нью-Йорком.

— Сгорело, — мрачно сообщил Пейн. — Мне писали во Францию.

— Дом сгорел, — уточнил Киркбрайд, — но земля дает ренту, и ты живешь на эту ренту. Ведь ты обеспеченный человек, Том.

— Ну уж — обеспеченный...

— Не бедствуешь, — спокойно сказал полковник. — Ты, положим, и не приумножаешь своего состояния, но опять же в принципе ты такой же собственник, каким был Джордж и каким является Томас, хотя твои владения в Нью-Рошели и здесь, в Бордентауне, — это, разумеется, бедность по сравнению с Маунт-Вернон или с Монтичелло.

Пейн опять не нашелся, что ответить. А Киркбрайд все продолжал:

— Ты имеешь... Имеешь! Принцип нашего существования один: собственность! А уж кто, согласно этому принципу, преуспел меньше, кто — больше, у кого дом в Бостоне (там жил Адамс — Пейн это знал), у кого всего лишь в Бордентауне...

— Но где бы ты тогда жил? — попробовал перейти в наступление Пейн.

— А разве я, в отличие от тебя, жалуюсь? — с усмешкой отбил атаку полковник и сказал, как бы сообщая свой окончательный вывод: — Да, я имею довольство, маленькое довольство, и ради того, чтобы такое, хотя бы такое, довольство было у меня, а не у кого-нибудь другого, пали герои. Грустно, но это так.

— Что же всем этим ты хочешь сказать? — спросил Пейн.

— Усилия несоизмеримы с результатом, — вздохнул полковник. — Но этот результат — я, о чем хорошенько помнить следует именно мне. А свое сознание я успокаиваю лишь тем, что в числе жертв мог бы оказаться опять же я сам, и тогда результатом пользовался бы другой, вроде меня, ополченец, и он был бы также доволен домиком и клочком земли...

— Значит, что же, по-твоему, — спросил Пейн, — зря порвали с королем? Не нужно было бороться за Независимость?

— Нам нужно было, — сразу и просто ответил Киркбрайд. — Нам с тобой...

— Ты рассуждаешь почти как Берк, — коротко бросил Пейн.

— А ты зря нападаешь на Берка, — ответил Киркбрайд. — Ведь и тебе, кажется, платили из правительственного кармана.

Первый порыв Пейна был взорваться. Но все-таки он ответил молчанием, и не потому, что не хотел или боялся отвечать. То, о чем говорил полковник, всегда вносило смуту в душу Пейна — на это он не мог ответить самому себе.

О, даже говорить неловко... И Пейну платили. Уж чего греха таить... И это было вовсе не то публично-символическое вознаграждение, которое он получил от Конгресса при открытом голосовании. Нет, плата выдавалась секретно. Сугубо секретно.

Произошло это после того, как Пейн, лишившись всех должностей, съездил за свой счет во Францию и привез оттуда буквально корабль денег: на шестнадцати подводках, запряженных волами, доставляли этот драгоценнейший груз из Бостона в Филадельфию, а сам он, добытчик, остался без гроша. Ну прямо без средств к существованию. Как быть?

Пейн подождал-подождал, поголодал-поголодал — и обратился в Конгресс. Ему стало даже обидно за неполученное жалование, которое ему причиталось, пока он там служил секретарем по иностранным делам. Пейн подчеркнул, что и в России людей пишущих привечают, поддерживают (он узнал об этом из встреч в Париже с нашими дипломатами). Но никакие доводы и примеры не подействовали на Конгресс. И тогда Пейн написал Вашингтону. И генерал тут же откликнулся: шла война, поэтому услуги пишущего (хорошо и убедительно пишущего человека) требовались для армии.

Вашингтон не просто откликнулся — он взялся за дело сам. Он воззвал к ответственному за финансы в Конгрессе. Он убеждал нового секретаря Конгресса по иностранным делам. И он убедил их. Они согласились выдать Пейну деньги, но при условии, что, получая плату, Здравый Смысл будет писать по заданию, но так, будто никакого задания и никаких денег он ни от кого не получал. Пейн в самом деле, строго говоря, стал, как и Берк, платным публицистом, только ради иных, чем Берк, целей.

Средства Пейну выдали из секретного фонда, которым лично распоряжался ответственный за финансы, между прочим, то был Моррис — брат будущего посла, гонителя Пейна. И знали об этом помимо Пейна только трое — командующий, финансист, секретарь. Слухи, конечно, бродили всякие, но официально ничего этого как бы не было. Продолжал выступать Здравый Смысл, скажем, поддерживая повышение налогов (на армию) или, допустим, вступая в спор с Рейналем (о значении Американской революции)... Пейн даже сам не делал из этого полного секрета, давая особенно близким друзьям понять, что работает на правительство.

Ничего преступного и ничего подлого тут ровным счетом не было. Разве у него с правительством были тогда неразрешимые разногласия? Разве Конгресс не дей-



ствовал согласно основам, которые закладывал он же, Пейн? И разве ему не был другом Вашингтон?

Например, на дело американской Свободы поднял руку Рейналь, прославленный французский историк. Не так, как сделал это Берк, но все же поднял, отыскивая какие-то ошибки и некие просчеты, а главное, отыскивая в истории всякие прецеденты того же самого. Пейн ему ответил: «Тщетно искать что-либо подобное в предшествующих веках, пытаясь с помощью сравнения установить причины данной Революции. Здесь цена и смысл Свободы, природа правительства и достоинство человека были известны и понятны, и привязанность американцев этим принципам привела к Революции, как естественному и почти неизбежному следствию тех же принципов».

Думал ли он в ту пору иначе, чем писал?

И все-таки его собственный важнейший принцип — самостоятельное здравомыслие! — оказался нарушен, раз он за это получал.

А как, с другой стороны, не получать? Босиком ходить? Шинель — ладно, без шинели обойтись еще можно, но как быть без сапог?

Совершенно для него неожиданное столкновение в его собственной участи независимости с зависимостью и тогда уже озадачивало Пейна. Однако наедине с самим собой он гнал эту мысль. А теперь Киркбрайд, как некогда это сделал Клоотс (в тюрьме), загнал его в угол в этом заgone... вместе с лошадью.

— Не печалься, Том, — ободрил его полковник, — мы все попадаемся на одну приманку, полагая, что принцип действует заодно с нами. А он себе действует и действует. Перемалывает сначала наших врагов. Затем, не зная остановки или насыщения, как гильотина, которая, как ты лучше меня знаешь, будучи однажды запущенной, работала уже не переставая, тот же принцип приступает к нам самим. Мы кричим: «Зачем же? Оста-

новись!» И остановился бы, если бы ты, Том, или я, как и любой из нас, оказался бы ему не по зубам.— Полковник аккуратно пригладил гриву Бутона.— Если бы мы,— сказал он,— могли обойтись без того, в чем мы упрекали других... Если бы мы, Том, были другие, чем те, кого мы низвергаем и кого разоблачаем.

Пейн молчал, и полковник, не встречая сопротивления, вел дальше свою речь:

— Пока сам человек не изменится, до тех пор перевероты будут завершаться, как на этом клочке земли, сменой владельцев все тех же вещей. У истинно других людей должны быть совершенно другие потребности, а так — смена лиц и названий, и все.

Пейн молчал. Полковник еще раз в упор взглянул на него:

— И запомни, Том, я не говорил, будто Независимость была не нужна. Она была очень нужна. Просто необходима.

Сделав краткую паузу, полковник сказал, словно выстрелил:

— Мне.

Пейн порывисто дернулся, а полковник его слегка попридержал, словно ради того, чтобы он опять не напугал Бутона, и миролюбиво добавил:

— И тебе, Том, и тебе.

\* \*  
\*

— Не повезу, кому сказал? — крикнул кучер. — Слазь, и все тут!

Это был кучер почтового дилижанса, отправлявшегося из Трентона.

До Трентона Пейна доставил Киркбрайд, заложив в двуколку, конечно, не Бутона, а молоденькую кобылку,

которая, бойко постукивая копытами и чутко шевеля ушами, словно прислушивалась, что же так тихо позади, почему седоки помалкивают?

А Пейн с полковником уже сказали друг другу все и теперь время от времени обменивались лишь взглядами, как бы проверяя по глазам молчаливыми и взаимными вопросами: «Все?» — «Все».

Не занятый разговором Пейн больше смотрел по сторонам, и смотрел он по сторонам сквозь пелену своих мыслей, которыми был просто поглощен.

В окрестности, проплывавшие перед ним и с давней военной поры ему знакомые, он всматривался двойным зрением, вчерашним и нынешним. В самом деле, вот те места, где вместе с ружейной пальбой гремели слова Пейна и тут же произносились обещания вовремя выдать ополченцам месячную плату. Что же, спрашивается, влекло их в бой? Провозглашение принципов будущей Справедливости или же предвидение близкой полочки?

А вон у дороги дом, где был взят в плен королевский генерал, взят у чьей-то жены, и это решило судьбу дела. Бой был выигран до срока не на этих полях сражения, где и сражения, собственно, никакого особенно не было: генерал сплеховал, и неумелые ополченцы со случайной удачливостью разили умелых, но к местным условиям совершенно неприспособленных пруссаков. Битва была выиграна на постели бабой, сумевшей обезглавить армию врага — отвлечь на себя главные силы противника, само командование. Так, может быть, поведение этой легкомысленной женщины теперь следовало бы рассматривать иначе? Когда-то ее упрекали вдвойне, как неверную жену и предательницу. Не пора ли на нее посмотреть как на доблестную воительницу, сыгравшую важнейшую стратегическую роль, грудью встретившую врага, отдавшую себя ему на растерзание в качестве патриотической жертвы?

Почему бы и не пересмотреть? Но тогда пришлось бы и Пейну переписать то, что некогда писал он, возражая Рейналю...

«Двадцать пятого декабря, — утверждал Рейналь, — американцы пересекли реку Делавар и случайно (подчеркнуто Пейном в его ответе Рейналю) напали на Трентон, занятый полутора тысячами пруссаков из тех двенадцати тысяч солдат, что были запродааны их алчным монархом королю Великобритании. Эти силы были уничтожены (подчеркнуто Пейном), взяты в плен или разогнаны. Восемь дней спустя точно таким же образом три английских полка оказались выдворены из Принстона, хотя действовали с несколько большей отвагой, чем платные наемники».

И это все, некогда возмущался Пейн, что просвещенный аббат-историк нашел сказать о знаменательных сражениях! «Действия под Трентоном и Принстоном, — со своей стороны писал Пейн, — когда решалась судьба Америки, держась в шатком равновесии, как на острие ножа, эти события, имевшие важнейшие последствия для дальнейшего, втиснуты в один абзац, очерчены слабо, безо всякого понимания их внутренней сути, без описаний всех обстоятельств и без использования каких бы то ни было красок».

Какие же краски ныне положил бы на ту же картину сам Пейн? Кем был побежден английский генерал?

Не говоря уже об американском генерале, то есть о Чарльзе Ли, которого Пейн близко знал и о котором, как и все американцы в ту пору, важнейшего не знал: пособник англичан! И еще хорошо, что этот генерал занимал лишь второе место в американской армии, а если бы удалось, как ему мечталось, занять первое место, что тогда бы с американской армией стало? И не только с армией — с Независимостью?

Но и того, что Пейн твердо знал из парадной и подноготной истории революционных событий, было впол-

не достаточно, чтобы вывести его из душевного равновесия, как это уже было, когда писал он свое разоблачительное письмо Вашингтону. Теперь все сильнее Пейн чувствовал, что разоблачает и самого себя, расшатывает собственное сознание таким образом, что перестает понимать ему известное. Ведь на поступившую теперь к нему от самого Джефферсона просьбу писать историю Американской революции Пейн ответил отказом: отказался от того, что сам когда-то просил! А как писать? Раньше его память была послушна и податлива, она прятала от него самого воспоминания как бы неуместные, а теперь, словно море в ураган, выбрасывала из глубины на поверхность что попало, каких-то монстров из прошлого...

Приехали в Trenton. Стали записываться на дилижанс до Нью-Йорка. Предстояло ехать той Большой почтовой дорогой, по которой когда-то продвигалась сама Революция. Пейн колебался: назвать ему себя или же опять, как в... как в столице, прибегнуть к унижительному псевдониму. В придуманном столичном городе, которого и не существовало в пору революционной борьбы, Пейну было легче, извинительнее прибегать к уловкам и скрываться под чужим именем. Но прятаться на Большой почтовой дороге, по которой они и под огнем-то маршировали в открытую, было немыслимо, невыносимо. Когда-то он был известен всей Америке не под своим собственным именем, как Здравый Смысл, но с тех пор вся Америка знала, что Здравый Смысл — это Пейн: можно ли ему скрывать свое имя?

— Пейн, — сказал Пейн.

Чиновник оторвал глаза от бумаги и с недоверием взглянул на него.

— Томас Пейн, — уточнил Пейн.

Чиновник продолжал с тем же недоумением и недоверием на него смотреть. Чиновнику было лет тридцать.

Он, вероятно, лишь родился в те времена, когда шла Война за Независимость, буквально шла, проходила, то-пая солдатскими сапогами, здесь, в этих самых местах, и неподалеку от этих мест оборванным ополченцам зачитывали: «Приходит время испытаний духа человеческого...»

Чиновник был чистенький, аккуратненький, вежливый. Он, видимо, читал книжки. А к этому времени уже были опубликованы две книжки про Пейна, в которых ему приписывались все смертные грехи, начиная с безнравственности и кончая безграмотностью.

— А не будет ли вы так любезны,— вдруг сказал чиновник,— чтобы собственноручно написать собственное имя.

Пейн, не без внутренней гордости, решил, что молодому человеку хочется иметь в книге приезжающих... гм... гм... некий мемориал... сувенир, некий, черт возьми, памятник, что ни говори, историческую реликвию — подпись одного из тех, кто... подпись самого...

Томас Пейн четко, даже с завитушками, начертал *Пейн*. Чиновник опустил глаза и стал внимательно всматриваться в написанное. Затем он вновь поднял голову и, глядя прямо в глаза Пейну, произнес:

— А я где-то читал, что ваше настоящее имя пишется совсем не так. Что вы — Пайн.

Это было! Было наговорено тем продажным писакой, которого английское правительство наняло сразу после выхода «Прав Человека», и тот же щелкопер добрался до его стареющей матери, а поскольку мать не умела ни читать, ни писать, настрочил от ее имени письмо, в котором старуха будто бы жаловалась, что сынок ее бросил (хотя он постоянно посылал ей вспомоществование, сколько мог). Тот же, с позволения сказать, автор нашел и жену, вторую жену Пейна — Элизабет, и всячески старался заставить ее оговорить бывшего

мужа, а поскольку Элизабет не была такова, чтобы языком трепать, он опять же присочинил то, что ему вздумалось и что требовалось: дескать, первую-то жену, Мэри, он насмерть забил. Там же, в той книжке, говорилось, будто он вовсе не Пейн, а Пайн, что вообще-то он писать как следует не умеет...

— Нет,— твердо сказал Пейн,— мое имя Пейн, как пейн — боль.

Чиновник смотрел на него с недоверчивостью.

— Здравый Смысл,— произнес Пейн, полагая развеять сомнения вопрошавшего,— это я...

Чиновник все молчал и смотрел все так же, с выражением недоверия и сомнения на лице.

— Это я написал,— добавил Пейн, думая этим уточнением прояснить вопрос до конца.

Однако само недоверие он неправильно понял. Чиновник не сомневался в том, кто перед ним. Это стало ясно из его следующих слов, уже не вопросительных, а вполне утвердительных, только что именно утверждавших!

— И это вы написали «Права Человека»,— сказал чиновник, и было это сказано так, что выражало одно — презрение к упомянутому сочинению, а стало быть, и к автору.

«Не написал бы я «Здравый смысл» и «Права Человека», сидел бы на твоём месте не гражданин Соединённых Штатов, а подданный его величества короля Великобритании»,— хотел было ему ответить Пейн, но чиновник его опередил.

— И вы же написали «Век Разума»,— это было сказано не только с презрением, а уже и с ненавистью.

«За что? — подумал Пейн.— Неужели они не понимают, что своим нынешним положением в жизни и в обществе они обязаны в известной мере тому, что я написал? Что они — воплощение мной выраженных

идей?» Выходит, так думал Пейн, презирая его, они презирают свое собственное происхождение, пытаются как-то скрыть свои истоки, придумать себе другую родословную, вместо Революции, ибо только Революция сделала их тем, что они есть. Можно было бы понять роялиста, у которого отняли имение и отдали ему, Пейну, но как понять этого чиновника, получившего свою должность в результате той борьбы, которую, как мог, вдохновлял Пейн?

— Том, — взял его за локоть и едва слышно произнес Киркбрайд, — не связывайся с ним. Мелкий человек...

Откуда же крупные претензии? Что потерял в ушедшем колониальном времени этот совершенно современный тип, так сказать вчера только вылупившийся из исторического яйца? Если с презрением он судит о «Правах Человека», то позволено будет спросить, а читал ли он «Размышления» Берка, который клонит к одному: знай свое место и помалкивай? А если одну только неприязнь у него вызывает «Век Разума», то где же его терпимость истинно верующего?

Спор не успел ни вспыхнуть, ни развернуться, как все было взорвано вторжением кучера.

— Да не повезу я его, и все тут, — грубо буркнул этот кучер, до поры до времени молча стоявший рядом в ожидании указаний от чиновника. Пожалуй, и тот, другой кучер сказал бы то же самое, но ему приказал везти Пейна сам президент.

Чиновник сделал в сторону своего кучера жест, как бы желая сказать: «Вот глас народа!» А когда Киркбрайд только начал свою защитительную речь: «Позвольте, друзья, ведь мистер Пейн является почетным гражданином нашей страны», кучер еще грубее и еще громче оборвал его:

— Сказал, не повезу, и конец!



— Да на каком же основании? — попробовал возмутиться полковник.

— Выкуси свое собственное основание и отстань, — огрызнулся кучер с упорством и злобой.

— Да как же вы смеете так говорить со мной? — тут уже не стерпел Киркбрайд. — Я сражался под Саратогой!

— Вот и ступай... под свою Саратогу! — ничуть не смутился кучер.

Киркбрайд кинулся на кучера в то же мгновение, но тот выставил вперед руку с бичом:

— Сунься, старая супонь, я те двину так, что больше не захочешь!

— Руки прочь! — закричал Пейн, который, как всякий квакер, не мог применять насилия, но тоже бросился на кучера грудью вперед, хотя и без кулаков.

— Ах ты, тварь безбожная! — и с этим возгласом и со всем остервенением, на которое он был способен, кучер ткнул рукояткой бича в грудь Пейна.

— Вы за это ответите! — завопил, вскакивая, чиновник.

Возглас его относился, конечно, к Пейну и к Киркбрайду.

— За что? — обернулся к нему полковник. — За что, спрашивается, я буду отвечать?

— Вы оскорбили человеческое достоинство этого человека! — надменно ответил чиновник.

— Я?! — поразился Киркбрайд. — Это я его оскорбил?

— Я те душу-то вытрясу! — неистовствовал кучер, ухватив почетного гражданина Пейна за грудки.

Тут грохнул выстрел.

Кучер вдруг завопил тонким, бабьим голосом:

— Господи! Спаси нас Боже от этого Пейна! Один раз молнией меня уже ударило. Так это, поди, глас Господень. Еще хуже будет, если я этого Пейна повезу.

Не то что меня, он весь дилижанс вместе с лошадьми разворотит!

Но кто же стрелял? Откуда?

Почти заслоняя все пространство входной двери, на пороге возвышалась фигура. По своей видимой внушительности, казалось, это не человек, а памятник какому-то человеку. Когда же, словно поистине оживший монумент, фигура двинулась на середину комнаты и соответственно переменялось освещение — свет упал на лицо пришельца, — стало видно, что это еще молодой человек, хорошо выбритый, вымытый, с аккуратной бородкой, и вообще очень опрятный. Чистотой так и веяло от этой фигуры, несмотря на грозное дымящееся оружие в огромной руке. Другой рукой, походившей на лапу какого-то сказочного гиганта, пришелец одним движением устранил со своего пути кучера, убрал его куда-то в угол комнаты, и кучер, тоже довольно крупный, но какой-то корявый, сразу утратил рядом с этим ладным великаном всякую значительность. А чиновника он прибил, буквально пришил его одним только взглядом к стулу. Убрав пистолет, парень положил освободившуюся правую ладонь на плечо Пейна, словно собираясь и его, приподняв, переставить на другое место, и спокойно сказал:

— Я довезу вас, сэр.

Глядя на великана снизу вверх, Пейн, считавшийся тоже достаточно высоким, прикинул, что ответить «Нет» было бы равносильно отказу уступить дорогу несущемуся на тебя буйволу.

Зато Киркбрайд все же подал голос откуда-то из-за спины великана, загрозившего собой все пространство:

— Но кто вы такой? Ваше имя?

Парень не обернулся на эти вопросы. Однако, едва заметно улыбнувшись, все же ответил:

— Джек, — и добавил: — Американец.

После этих слов, видимо, полагая, что сказано и так слишком много, он уже молча направился к выходу, а Пейн и полковник, как по команде, двинулись следом за ним.

Почти у самого порога стояла называемая «американкой» повозка, запряженная парой плотных коней. Парень осмотрел на них упряжь, поправил у одного из коней седелку, у другого шлею, и при этом он будто бы говорил что-то своим лошадям, но совершенно без слов, сообщаясь с ними как-то иначе, посредством сродства душ. При его гигантском росте и огромных руках, которые слегка оглаживали лошадей, дело выглядело так, будто этот парень понесет сейчас коней вместе с повозкой на себе и хочет лишь приладить каждую деталь сбруи таким образом, чтобы уж в пути ничего не болталось. Наконец парень сказал, обращаясь к Пейну:

— Садитесь, поехали.

Простившись с Киркбрайдом, который шепнул: «Держись, Том, скоро увидимся», Пейн сел на покрытую мешочной подушкой скамью и вдруг почувствовал себя удивительно удобно, уютно, будто его, как маленького, взяли на руки и уложили в постель.

Усевшись с ним рядом, парень чмокнул губами звонко и коротко, и это было в отношении лошадей то же самое немногословие, которое он проявил с людьми, и лошади, как и люди, не заставили его повторять указание, они дружно взяли с места крупной рысью.

Пейн оглянулся, чтобы взглянуть еще раз на Киркбрайда. Тот снял шляпу и, не размахивая ею, а салютуя, поднял над головой.

Пейн смотрел на него до тех пор, пока дорога не повернула и полковник вместе с почтовой станцией не скрылись из глаз.

Потом Пейн взглянул на своего спасителя.

— Американец... — произнес он, как эхо. — Почему же Американец?

Вновь слегка улыбнувшись, парень ответил:

— Так меня с малых лет зовут. Ну, говорят, ты и Американец.

«Ну, ты и Американец», — про себя сказал Пейн, а вслух спросил:

— Вы из Нью-Йорка?

— Рядом, в Лонг-Айленде (Долгом Острове) живем, — отвечал парень.

Довольно долго они ехали в тишине, и только лошади время от времени поочередно и одинаково бодро пофыркивали, словно сообщая хозяину: «Хорррошо!» И та же бодрость чувствовалась в движениях парня, в том, как он осматривал окрестности, как пошевеливал вожжами, совершенно не дергая ими, а лишь сообщая через вожжи еще и свою великанскую энергию этим и без того могучим коням. Они все трое, иначе не скажешь, наслаждались движением, самой необходимостью тратить бывшую из них силу, двигаться — словом, работать. Временами парень давал лошадям передохнуть, и они тут же переходили на шаг и опускали головы, а как только парень снова слегка натягивал вожжи, приговаривая: «Но, родные, пошли!» — кони дружно вскидывались, и вновь начиналась четкая рысь, оставлявшая позади милю за милей.

Проехали Принстон.

На одном из подъемов, когда лошади пошли шагом, парень вдруг сказал, обращаясь к Пейну:

— Да, должно прийти опять время духа...

— Что? — не сразу поверил своим ушам Пейн. — Как вы сказали?

— Время духа, говорю, должно прийти, как когда-то было, — пояснил парень. — А то что ж, глотку друг другу готовы перегрызть.

И он мотнул головой назад, словно указывая на оставленную уже далеко почтовую станцию с ее надменным чиновником и крикливым грубым кучером.

— А когда же было такое время? — поинтересовался Пейн.

— Разве вы не знаете? — в свою очередь спросил парень, взглянув на Пейна с некоторым удивлением, дескать, по годам-то вашим надо бы знать...

— Я жил в Европе, — поспешил объяснить Пейн. — Недавно приехал.

— Давно это было, — стал объяснять парень. — Отец мне рассказывал. Книгу им такую в армии читали. Пришло, там было сказано, время человеческого духа.

— А кто был ваш батюшка?

— Ополченец, — ответил парень. — Как раз в этих местах, под Трентоном, его ранило. Ноги лишился.

— А что это была за книга? — задал вопрос Пейн.

Парень коротко и звонко чмокнул губами, взбадривая своих лошадей, потом ответил:

— Этого вам сказать не могу. Отец ничего не говорил.

Кони фыркали: «Хорррошо! Хорррошо!» А парень, слегка пошевеливая вожжами, продолжал:

— Было же ведь такое время: все заодно, и генералы с ополченцами рядом, одно — простота, душа в душу жили. Так отец говорил. А ему ногу оторвало.

— Что же стало с отцом после войны? — спросил Пейн.

— Домой вернулся. Родителей своих похоронил. Сперва деда, потом — бабуку, я их не помню. Ну, шорную мастерскую завел. Без ноги-то не очень поработаешь в поле или в лесу.

— И вы тоже шорник? — осторожно спросил Пейн.

— Нет, — ответил парень. — Брат у меня отцовским ремеслом занялся, младший, а я... я под крышей сидеть не люблю. У меня — скот, коровы. С братом мы поделились, я ему отцовский дом отдал, а сам, как женился, новый себе построил.

— И дети у вас есть? — спросил Пейн.

— Трое, — сказал парень. — Малый и две дочки.

— А ваш отец... — вернулся к прежней нити разговора Пейн. — Прежнее он как вспоминал?

— Так я же сказал, — ответил Джек Американец. — Тяжело, говорил, приходилось, но время духа, говорил, было — время духа!

«А жалованье... Получал ли он жалованье?» — хотел было спросить Пейн, но — не решился и не успел. Показался Нью-Йорк. Никакого сравнения с Филадельфией! Разве что один Бродвей на улицу похож.

— А вы где тут живете? — спросил парень у своего пассажира.

— Сутки хода от Бродвея, — отвечал Пейн. — В Нью-Рошели.

— Ну, переночуем у меня, — сказал парень, — а завтра утром дальше поедете.

Они пересекли Гарлемский мост и у перешейка Мамаро повернули на Лонг-Айленд.

Пейн успел только бросить взгляд на Бруклин, где он тоже когда-то жил.

Когда они подъехали к хозяйству Джека Американца, Пейн увидел прочно врытый, аккуратно обтесанный столб, на котором была прибита гладкая доска, а на ней отчетливо вырезана надпись: *«Стара хверма Уручия»*. Так и было вырезано, с ошибками: Пейн не сразу сообразил, что ферма — *«У ручья»*, однако было видно, насколько основательно выписано, раз и навсегда.

Обозначая владения Американца как пограничный знак, тот же столб служил первой опорой аккуратной, прочной изгороди — тут же начинались загоны для скота.

Если лошади, доставлявшие гостя и хозяина на ферму, своей упитанностью, силой, добротностью были похожи на хозяина, то бычки, видневшиеся за изгородью, были похожи и на этих лошадей, и еще больше — на хозяина.

Все были очень чистые, словно вымытые, шерсть их отсвечивала на заходящем солнце. Каждый бычок выглядел своего рода Американцем — плотный телом, прочный на ногах, полный жизни.

Бычки, один за другим, пока повозка с пассажирами следовала вдоль изгороди, провожали взглядом ехавших, и головы они поворачивали, как это делал Джек, не спеша, и в глазах у них, как у Джека, было то же выражение спокойного внимания.

В дальнем конце загона появился человек — он мерными и твердыми шагами двинулся к изгороди, вдоль которой ехала повозка. Джек придержал лошадей, и тогда Пейн увидел, что к ним идет еще один Джек Американец, только в несколько уменьшенном виде, так сказать в «сокращенном издании», и без «приложения» — без бороды.

— Привет, — негромко, баском сказал паренек, подходя к самой изгороди. Лицо у него было совсем гладкое, и оттого казалось, будто кожа вымыта даже изнутри.

— Привет, — сказал сидевший рядом с Пейном парень и, остановив лошадей, слез с повозки.

Сошел с зкипажа и Пейн.

— Познакомься, — сказал Джек Американец, обращаясь к своему уменьшенному подобию. — Это наш гость.

Паренек быстро, ловко перелез через изгородь и протянул Пейну руку.

— Джек, — сказал он.

— Тоже Джек? изумился Пейн, делая вид, что улыбается, ибо на самом деле он испытывал некоторую боль от рукопожатия: его ладонь была сжата, как тисками или колодками.

— Джек-маленький, — пояснил Джек-большой, что, конечно, соответствовало истине, если сделать скидку на относительность любых измерений.

— Возьми вожжи,— сказал Джек-большой Джеку-маленькому, а сам тем же путем, через изгородь, проник в загон и пошел к бычкам.

Джек-маленький чмокнул губами совсем как отец, и коляска тронулась к видневшемуся в конце проезда дому.

У самого дома из бревен (как новеньких) их встретили две огромные собаки, которые внимательно осмотрели Пейна, как бы прикидывая, сразу ли его проглотить или же на этот счет будут какие-то особые указания.

— Свой,— негромко, будто обращаясь к равным себе, сказал паренек, и собаки, потеряв интерес к приезжему, стали здороваться с лошадьми.

В этом царстве великанов единственным миниатюрным созданием оказалась женщина, жена Джека Американца, которую по справедливости можно было бы назвать не просто Джейн, как она себя назвала, а Джейн Американка.

Появились и дочери, только они, в отличие от дочерей Джефферсона, смотрели на гостя с интересом, будто давно не видели в своих краях никого, кроме отца с матерью, брата, бычков, лошадей и собак.

Сели за стол. Вся семья склонилась в молитве. Автор «Века Разума» смотрел перед собой вдаль, поверх их склоненных голов.

Потом каждому положили на тарелку по огромному куску жареной говядины, словно ужинать собирались ручные львы.

Ели все в полном молчании, а Пейн привык говорить за едой постоянно, так что чаще всего и не замечал, что он ест, и потому кусок мяса показался ему непомерно большим.

— Болтать мы не любим,— пояснил эту молчаливость Джек-большой.



После ужина опять последовала молитва. И сразу же с наступлением сумерек пошли спать.

Пейн лежал в бескрайней кровати, на которой он мог бы поместиться не только вдоль, но и поперек, и думал, что еще никогда не засыпал он на ложе столь мягком и прочном. И мысли его соответственно были какими-то простыми, убаюкивающими. «Потолок,— думал Пейн.— Стена...» Пожалуй, так он засыпал и думал только в юности, в море, когда глядел на небо: «Звезды...»

Утром сели опять за стол и после молитвы, которую Пейн вежливо прослушал, съели по большой тарелке каши.

Пейн опять ел необычайно долго и старательно, в полном молчании, замечая каждую ложку и даже каждую крупицу каши. Да и после завтрака не много слов было произнесено.

— Пару бычков надо заклеить,— сообщил ему Джек-большой,— а потом пообедаем, и Джек-маленький вас до места доставит.

Пейн подумал, что со вчерашнего дня он даже не успел проголодаться и, вероятно, не будет после такого завтрака голоден к обеду, и станут его так кормить, и сделается он вроде тех бычков, плотных и медлительных, которых ожидало тавро.

Джек-большой и Джек-маленький ушли. Дочери принялись разбирать лук. А Джейн взялась за прялку.

Оглядывая всю комнату, поскольку другого занятия у него не было, Пейн заметил и книгу, конечно Библию.

Заметив взгляд Пейна, устремленный на книгу, Джейн тихо спросила:

— Какой же вы веры?

Пейн попробовал представить себе, что сделалось бы с этими тихими, трудолюбивыми людьми, если бы он в самом деле изложил бы им свои воззрения на религию. Поэтому он коротко ответил:

— Квакер.

— А мы, — сказала Джейн, — методисты.

После этого тишина установилась уже до самого обеда.

Раздались тяжелые шаги, будто в дом решили войти лошади, и в дверях показались оба Джека, большой и маленький.

— О, Джеки, — сказала Джейн, обращаясь к сыну, — что это с тобой?

— Бык зацепил, — ответил за сына Джек-большой, имея в виду почти оторванный рукав куртки.

— Сними, я зашью, — сказала Джейн. — Девочки, накрывайте на стол.

За обедом, помолившись, получили по гигантскому, во всю тарелку, куску пирога с начинкой из той же говядины, лука и яиц. Пейн хотел бы спросить у хозяина, нет ли у него... э... э... чего-нибудь... э... э... но, взглянув на невозмутимые, чинные лица, как-то не решился на просьбу о средствах к некоторому возбуждению аппетита. Пили компот.

Первым из-за стола, после молитвы, поднялся Джек-маленький, и Джек-большой произнес:

— Другую пару запрягай. Возьми серых.

— Спасибо, что посетили нас, — на прощание сказала Джейн Пейну, а девочки опять посмотрели на него с любопытством, смешанным на этот раз с некоторой грустью, ибо уедет гость, и не будет тут по всей округе ничего и никого.

— За что же это мне спасибо? — изумился Пейн. — Это я вас от всей души должен благодарить.

— Нет, — покачала головой Джейн, — вы даже не представляете себе, как вы украсили нашу жизнь.

— Вы нам устроили праздник! — хором выпалили девочки.

— Праздник? — не переставал изумляться Пейн, мысленно прикидывая, сколько же все это время он рабо-

тал челюстями, поглощая в невероятных количествах, будто на большом пиру, вкуснейшую пищу и не произнося ни слова. — Я вам устроил праздник?!

Пейн не мог не изумляться, потому что во всем, что они говорили, видел не вежливость, а искреннюю, душевную благодарность.

— О, — отвечала Джейн, — мы же никого не видим месяцами. Джек все время в поле. Джекки ему помогает.

— А как вы проводите вечера? — спросил Пейн.

— Мы подымаемся со светом и ложимся с потемками, — ответила Джейн. — А работаем от зари до зари.

— А... а в праздник? — поинтересовался Пейн.

— Ездим в церковь, — отвечала Джейн, — дома читаем Писание.

— Вот как, — больше ничего не нашелся сказать автор «Века Разума».

— Джейн читает, — пояснил Джек-большой, кладя на плечо своей малюсенькой жены огромную руку.

Американец сказал это с гордостью и грустью одновременно. Он сказал это, чтобы ясно было одно: вот у него какая жена, грамотная! И он сказал это еще потому, чтобы не подумали, будто себе он приписывает слишком много. Нет, сам он тем же умением читать похвалиться не может.

— Иногда удавиться хочется! — вновь разом выпалили девочки.

— Ну что ты, Дженни! — с укоризной покачала головой мать. — Ну что ты, Флора!

И Пейн впервые услышал их имена.

— Со скуки помрешь, — не уступали младшие американочки, пользуясь присутствием гостя.

— А в Бостоне или Филадельфии вы не бывали? — спросил Пейн.

— Что вы! — последовал столь же дружный ответ. — Мы и Нью-Йорка не видали.

— В Нью-Йорке не были? — окончательно поразился Пейн.

— Я сама, — с виноватой улыбкой добавила Джейн, — не была в Нью-Йорке.

— Неужели никогда в жизни не были? — хотел уточнить Пейн.

И уточнение последовало:

— Никогда.

«Но ведь отсюда до Нью-Йорка не более часа езды», — хотел было сказать Пейн, однако помял, что обидит и внесет сомнение в скромные сердца.

— У вас я был счастлив, — сказал Пейн.

И с этими словами он, откровенно говоря, поспешил занять свое место в повозке-«американке» (двухколесной). Буря, взыгравшая и в тихом краю, грозила лишить Пейна последних остатков душевного равновесия.

Рядом с ним пока что никто в экипаж не сел. Сам Джек Американец, держа в руках вожжи, шагал безо всякого видимого усилия вровень с лошадьми. Джек-меньшой был послан подбросить в пойло бычкам какой-то мелясы: Пейн не знал, что это такое, но мы поясним — патока.

— Вес дают скорее — так пояснил Джек свое краткое и веское распоряжение сыну.

Бычки провожали их взорами все столь же внимательными и спокойными.

— Их, главное, надо кормить побольше, — продолжал Джек, кажется проявляя исключительное доверие к гостю и посвящая его в свои деловые секреты. — Жевать их нужно заставлять непрерывно, тогда они и вес будут давать. Кормить и заставлять двигаться, чтоб не залежались, вот и будет привес.

Пейн и себя чувствовал на усиленном откорме. Полная сытость, испытываемая им уже вторые сутки, как бы подавила его, прекратила в нем на время всякую

жизнь, кроме движения естественных соков и токов. И это состояние сна в бодрствовании, в которое он невольно погружался, оказалось нарушено странными, просто немыслимыми на первый взгляд признаниями, какие он вдруг услышал: «Удавиться от скуки... Никогда не бывала...»

Джек-большой вел на вожжах лошадей, а Джек-маленький возился с бычками. У гладкого столба с надписью Джек-большой остановился, ожидая, пока подойдет сын, чтобы занять кучерское место.

Неожиданно он спросил у Пейна:

— Управляющий фермой вам не требуется?

Пейн поднял на него удивленный взор. Пейн, во-первых, еще и не думал, что потребуется ему там, на его земле в Нью-Рошели. Во-вторых, неужели и Джек Американец тяготится своей жизнью на старой ферме? И его тоже манит какая-то другая жизнь? Или это непрестанное пионерство, стремление к неизведанному, тот дух, что вел и отцов-пилигримов в поисках земли обетованной, и следопытов, продвигавших фронт (границу) все дальше на запад?

Отвечать Пейну не пришлось. Появился Джек-маленький, а при нем Джек-большой, как понял Пейн, не хотел продолжения им же самим затеянного разговора.

На прощание Джек-большой все же сказал Пейну:

— Если только я вам потребуюсь, дайте знать.

Озадаченный Пейн некоторое время молча, погрузившись в свои думы, слегка подрагивал на сиденье «американки». Плечом он чувствовал рядом с собой внушительную человеческую массу, какое-то подобие мягкого, живого железа касалось его плеча.

— Живут же... — пробудил его от задумчивости возглас Джека-маленького.

— Что? — Пейн не сразу даже осознал, где они находятся.

А это был уже поворот от Мамаронекского переезда на Нью-Рошель. (Два других героя нашего повествования, сопровождавшие Пейнов прах, в этом самом месте ушли от своих преследователей. Точнее, уйдут от погони — еще через двадцать лет.) Сейчас этой дорогой после пятнадцатилетнего отсутствия сам Пейн возвращался в свое хозяйство.

— Извини, задумался, что ты сказал?

— Живут же люди, — повторил паренек, мотнув головой в сторону большого особняка, видневшегося за деревьями.

— Кто же это?

— Де Ланси, — был ответ, — кто же еще!

Богатое англо-французское семейство занимало свои владения по-прежнему, как и до Войны за Независимость, в которой они стояли (крепко и решительно, на стороне Зависимости) за короля.

— Еще больше захватили, чем было у них, — говорил Джек.

Чувствуя в его словах не зависть, но неприязнь к этим вечно могущественным де Ланси, Пейн спросил:

— Ты знаешь их?

— А то нет? — уже с ненавистью отозвался парень. — Когда война-то была, они же деда с бабкой с земли согнали, дом их сожгли.

Джек не ошибался. Это был один из тех случаев, которые Купер, хотя и породнившийся через жену с кланом де Ланси, изобразил в «Шпионе»: мародерство бандитов (прозванных «ковбоями»), которых для борьбы с Независимостью вооружил де Ланси-старший.

— Мой дом, говорят, тоже сожгли, — как товарищу по несчастью сообщил Пейн.

— Уж это нынешние, — вздохнул парень, — завистники...

— Ты так думаешь?

— А кто же еще? Те-то и при короле в свое удовольствие жили, и теперь жируют.

— Они, поди, думают, что свое вернули,— сказал Пейн.

— Какое такое свое? — просто озлобился парень. — Разве они лес вырубали? Землю расчищали, как мы? Они денежки заплатили — и все для них готовенькое.

— Так ведь деньги откуда-то взять надо,— вставил Пейн.

— А у них все в руках,— последовал ответ.

Джек Американец-маленький, разумеется, лишь повторил, что слышал от отца с матерью, а те повторяли, как видно, слышанное ими от деда с бабкой, и такова была стойкая местная молва, выражавшая, при всех преувеличениях и неточностях, суть дела. Люди говорили, передавая из уст в уста, что знали и что многие не хотели знать: иначе пришлось бы признать, что прочнейшее положение при нынешнем порядке вещей занимают те, кто боролся с установлением этого порядка.

Сила де Ланси, как это теперь выяснили историки, действительно заключалась в умении держать в руках нити, управляющие ходом вещей. Известная независимость от Англии нужна была им, и они поддерживали самые первые устремления американцев к освобождению от излишних пут, но едва только дело дошло до вооруженной борьбы с королевскими войсками, де Ланси поставили свое оружие на службу королю, словно предвидя, что еще придут такие времена, когда именно прочная связь с англичанами потребуется и поднимется в цене.

И такое время в самом деле пришло. Время подобных де Ланси никогда не уходит совсем, и символичен тот факт, что их родовое имя, обозначая большую улицу, осталось на карте Нью-Йорка, где за Пейном не закреплена даже переулка, а ведь в Нью-Йорке автор

«Здравого смысла» и «Кризисов» не оборону подрывал (как это делали де Ланси), он участвовал в борьбе за Нью-Йорк и там умер (есть, правда, мемориальная доска).

О связях и намерениях семейства де Ланси Пейн еще не знал всего того, что стало известно уже только нашим современникам-исследователям, в частности биографам Купера, которым пришлось заниматься всей подноготной этого клана, коль скоро знаменитый писатель с ними породнился (об этом мы еще побеседуем с читателем). Но Пейн многое чувствовал, и он не мог не видеть, хотя бы по отношению к себе чуть ли не каждого встречного (за исключением таких, как душевные обитатели старой фермы), что все, игравшее неперемennую роль в пору революции, теперь не приемлется и, напротив, торжествует сила, иначе направленная. Эта сила стала известна еще со времен Английской революции, но тогда, не ведая прецедентов, не знали, как и называть ее, принимая появление этой силы за какую-то ошибку истории. Но во Франции, где действие той же силы Пейн имел возможность наблюдать уже непосредственно, как бы узнали известное: «Ба, да это контрреволюция!» Согласно национальному темпераменту, во Франции этот возврат новым путем к старым порядкам носил бурный характер. А здесь, за океаном, то же самое совершалось исподволь, и, разумеется, это был не возврат старого, а возвращение к старому уже новых людей. Такие, как де Ланси, служили только передаточным звеном: и сколько из новых людей мечтало оказаться на их месте или быть такими, как они, да еще с «де»!

Чтобы несколько отвлечься от грустных размышлений, Пейн спросил паренка:

— А ты в жизни какой дорогой пойдешь?

— Хозяйствовать на ферме буду, как отец, — ответил Американец-маленький таким тоном, словно его



спросили, собирается ли он по-прежнему ходить по земле ногами или, может быть, встанет на голову.

— Разве... разве... — начал было говорить Пейн, жедая все-таки поинтересоваться, не скучно ли ему там, «Уручия», не хочется ли удавиться или хотя бы сбежать куда глаза глядят.

А как это спросить? Но тут паренек чмокнул губами, и лошади, обрывая нить разговора между седоками, пошли крупной рысью.

...Пейна первым встретил его арендатор Дерек. Конечно, то был полудиот, но все-таки ненависть в его глазах, обращенных на приехавшего хозяина, выглядела вполне осмысленной. «Почему не погиб?» — так прямо и вопрошал его взор, вдруг перестав быть блуждающим. А вслух Дерек произнес:

— Я все уплачу, не думайте!

Уже из писем, которые ему присылал Киркбрайд, Пейн знал, что земля его приведена почти в полную негодность. Из каких же доходов Дерек собирается платить аренду? «Но и ты, Том, — мысленно слышал Пейн голос Киркбрайда, — такой же никудышный владелец земли, как и твой Дерек-арендатор. Разве друг друга вы не стоите?»

Действительно, надеялся, что и обработают, и заплатят, а ты себе делай политику, верши большие дела. Как же, держи карман шире! Другие, брат, пошли времена: каждый имеет право на счастье.

«Ты, Том, — говорил ему голос полковника, — не отличаешься от де Ланси. Разница лишь в масштабах. Они — крупные помещики, ты — землевладелец средней руки. А принцип, да, принцип существования у вас один — чужими руками. Ты, Том, такое же бремя для страны, пусть чуть полегче, чем эти демократические баре, но опять-таки в принципе то же самое: не производишь, но получаешь... Вот если бы ты не брал землю

или же сам взялся бы за мотыгу, но ты, Том, этого не сделаешь, не так ли? Поэтому помалкивай, Том, лучше помалкивай, раз уж пользуешься теми же средствами, что и все прочие, тебе ненавистные. Будь последователен: продолжай жить, как живешь, и помалкивай».

Как-то раз Пейн сидел у окна. Это было уже в маленьком, похожем на большой гриб, домике, где он устроился, поскольку основной усадебный дом оказался уничтожен внезапным пожаром. Правда, после возвращения Пейна на свое пепелище этот домик чуть увеличился и стал меньше походить на гриб. Ради надстройки второго этажа крыша, напоминавшая грибную шапку, была приподнята и пристроен чуланчик.

Пейн подумывал уже о том, чтобы наверху сделать веранду, вроде палубы. Вспоминая свою полупиратскую юность, он испытывал привязанность к кораблям. Но от этой затеи его отговорил Джефферсон, указавший, как человек изобретательный и практичный, что открытая веранда будет гнить от дождя. А они продолжали переписываться, и частенько в Нью-Рошель приходили письма из Вашингтона, а из Нью-Рошели уходили в столицу. Правда, Джефферсон предпочитал обсуждать с Пейном устройство дома или покупку новых территорий, а не те вопросы текущей политики, которые хотел бы решать Пейн.

Переделка дома была необходима, хотя и стоила немало. Пейн ожидал приезда Маргариты де Бонвиль с тремя сыновьями. Пусть говорят что угодно! Досужим кумушкам, перемывающим чужое белье, не понять его отношений с де Бонвилями. Да, со всей семьей, начиная с Никола, верного Никола — верного Революции и своей типографии, от чего Маргарита, конечно, немного устала...

Госпожа Бонвиль (она поначалу убрала «де», прибыв в демократическую страну, а потом поняла, что и здесь

«де» нелишнее) и не собиралась жить под одной крышей с Пейном. Вот еще, очень ей нужно! Маргарита, разумеется, любила великих людей, но здесь, за океаном, больше хотела устроить свою личную жизнь, чем делать историю. Ха-ха, историю, какая игра слов: все равно вышла история — уж сколько было трепано на ее счет, едва только Маргарита (с ребятами) появилась в Нью-Рошели.

Однако Маргарита там пожила, осмотрелась — и уехала. Сначала уехала в Бордентаун, но бедняга Киркбрайд вскоре умер...

Весть о кончине старого и, быть может, последнего истинного друга произвела на Пейна странное действие. Да, так оно и оказалось: виделись они после долгой разлуки в первый и в последний раз. Пейн погрузился и тут же с облегчением вздохнул, как это было и при воспоминании о Клоотсе. Ушел свидетель его раздвоенности. Кто еще на всем свете помнил, что Пейну платили за памфлеты? Сначала Пейн поразился собственной жестокости. Эта жестокость была невольна и неудержима. Ну, слава богу, как бы сказал самому себе Пейн, как только дошла до него весть о кончине Киркбрайда. И тут же чувство одиночества стиснуло его душу еще сильнее. Он стал вспоминать все до мелочей, что их друг с другом связывало со времен первых походов, когда Киркбрайд вернулся из-под Саратоги и рассказывал, как стояли они там с Арнольдом вместе на смерть и как мешался не в свое дело Гейтс, которого потом сделали героем. Пейн вспоминал и последнюю встречу, омраченную скандалом на станции. «Не повезу, расшиби меня гром!» Пейну вспомнилось выражение лица Киркбрайда, который поморщился и скривился, будто и он получил удар. Добрый друг! Только и пожил, как Бутон, в поздние годы на покое.

Маргарита поехала в Бордентаун, думая помочь старику. Скоро от нее поступили известия, что Киркбрайд

плох. Совсем плох. Пейн даже подумал, не поехать ли и ему в Бордентаун. Откровенно говоря, он был больше не в силах выносить эти столкновения с окружающими. То был не страх, то была внутренняя усталость: сколько еще можно доказывать, что ты не враг, не супостат?

Надо было бы повидать Джо, и в то же время сил на это не находилось.

Из Бордентауна, когда Киркбрайда не стало, Маргарита Бонвиль переехала в Филадельфию, где преподавала французский язык в одном из лучших домов. Однако жить хотя бы и в большом городе, но у чужих, хотя бы и лучших, людей ей было непривычно, и она потом перебралась в Нью-Йорк. Глушь, конечно, не Париж, зато — независимость, при том, конечно, что Пейн посылал ей средства на пропитание и проживание. Один раз дошло до суда, потому что Маргарита перебрала денег в долг, а сразу отдать было нечем. И Пейн, пеняя ей за расточительность, уплатил и уладил это дело. Но экономить — жить одним домом с Пейном — Маргарита вовсе не собиралась. Очень ей нужно было океан пересекать ради того, чтобы, как в Париже, тащить на себе хозяйство! Пусть Пейн займется ребятами, даром ли одного из них они так и назвали — Том-Пейн? Одному из младших Бонвилей в Америке совсем не понравилось, и он тут же запросился обратно домой.

Итак, Пейн сидел у окна. Был канун рождества. Тишина вокруг стояла полнейшая, звенящая. Ничто не мешало Пейну быть занятым своими мыслями. Он в то время уже отпустил служанку-негрятянку и обслуживал себя сам, удивляя гостей — редких в этих краях гостей — своими вкусами. Высушивал у огня уже спитой чай и снова его заваривал. Научившись у той же служанки стряпать из гречневой круцы оладьи, он их сам, прежде чем предложить гостям, намазывал маслом, держа всеми пальцами, перепачканными нюхательным та-

баком. Он непрестанно нюхал табак, и ему говорили: «Том, ты, как всегда, весь в табаке!»

Вдруг грохнул выстрел. Сначала, как ни странно, Пейн даже не удивился. В тот самый момент он как раз размышлял именно о выстреле.

Тот выстрел, о котором думал Пейн, прозвучал недавно и неподалеку, тоже под Нью-Йорком, на берегу реки Гудзон, по другую от Нью-Рошели сторону полуострова.

Тот выстрел был дуэльным.

Стрелялись казначей с вице-президентом — Гамильтон и Бэрр. Казначей был смертельно ранен.

В предысторию дикой схватки мы здесь не будем вдаваться: нашим читателям известен целый роман об этом — «Бэрр» Гора Видала. Я спрашивал Гора Видала, почему он даже не упомянул Пейна. «Ах, — отвечал романист, — это неудобопоминаемый персонаж американской истории!»

Пейн, сидя у окна, думал вот о чем. Нелепая смерть сделала Гамильтона героем, а ведь он был бедствием для внутренней политики Соединенных Штатов. Стремился увести страну как можно дальше от изначальных идеалов демократии к обществу кастовому, в самом деле похожему на старый мир. Поэтому Джон Адамс, находясь у власти, сделал все, чтобы Гамильтон не попал под суд, когда вполне мог попасть по политическим мотивам. Адамс, хотя лично ненавидел Гамильтона (из зависти к его способностям), замаял дело, ведь разница между ними заключалась лишь в том, что Адамс, предлагая элите прибирать страну к рукам, старался действовать исподволь, а Гамильтон хотел делать то же самое открыто — просто-напросто объявить во всеуслышание, что страна должна принадлежать лучшим людям, и все. Ну а считаться лучшими должны, понятно, те, кто лучше других устроился.

Если Гамильтон по натуре был авантюристом, умевшим придать своему проходимству вид приличия и даже благородства, то Бэрр был авантюристом, который действовал напрямую, без обиняков. Никаких особенных политических различий между ними не существовало. Дело упиралось в личные амбиции. Гамильтон считал, что дела в стране должны вершить лучшие умы (в первую очередь он сам), Бэрр убежден был в том, что не парламентские политиканы, вроде Гамильтона, должны стоять у руля, а такие, как он, Бэрр.

Во время Войны за Независимость Бэрр воевал, причем рядом с Арнольдом, иначе говоря, был в жарком деле. В Двойной Долине состоял при Вашингтоне, а на «ничейной земле», которую в «Шпионе» описал Купер, Бэрр начальствовал уже самостоятельно, и такие, как де Ланси, его побаивались. После войны Бэрр взялся за «третью» неофициальную палату Конгресса, за Таммани Холл, за тех влиятельнейших и богатейших людей, что вершили (и до сих пор вершат) американскую политику за кулисами политики \*. Взялся и поставил это сборище воротил на службу своей политике.

По энергии и напористости Бэрр мог быть не только вице-президентом (при Джефферсоне), но и президентом, однако ему мешал Гамильтон.

Пришлось его в конце концов прихлопнуть — выстрелом почти в упор.

Стрелялись не шутя, на десяти шагах.

Смертельно раненный Гамильтон тут же стал героем.

Его начали превозносить как павшего героя, как образец гражданской доблести и государственной мудрости.

А кто говорил над ним надгробную речь? Ну кто же еще! Конечно, бывший посол, он самый — тот, который

---

\* Таммани — имя индейского вождя, и целый ряд других названий и ритуалов сохранились в этом могущественном лобби.

не пошел на похороны Пола Джонса и старался заживо похоронить Пейна в тюрьме. Ныне Моррис ведал каналами на Великих озерах.

Все́му совершавшемуся у него на глазах Пейи мог подобрать лишь одно название — разгул цинизма. Его настроение оказалось вконец испорчено, когда ему пришлось — по судебным делам Маргариты — съездить в Нью-Йорк, и опять целая сцена разыгралась на почтовом дилижансе. Его не прогнали, но, как нарочно, завели речь о политике. Эти гладкие господа с постными рожами толковали о Гамильтоне, о том, каким неподкупным и проициательным политиком являлся бывший казначей. Терпение Пейна лопнуло, и он стал возражать.

— Сэр, — заметил ему молодой попутчик, — вам не удастся опорочить Гамильтона, как не удалось Тому Пейну опорочить Вашингтона.

— К вашему сведению, — сказал Пейн, — я и есть Пейн.

— Не завидую вам, — отвечал, помолчав и поджав губы, молодой человек.

А старушка, сидевшая в самом углу дилижанса, выкрикнула:

— Постыдился бы произносить вслух свое имя!

Они набросились с ругательствами на Пейна, не давая ему толком возразить ни слова. То была выплеснувшаяся ярость обывателей, замкнувшихся наглухо в своей низменности, убогой мудрости, не желающих оглянуться на самих себя, не способных и подумать о том, до чего же они мелки, надуты, фальшивы, пусты.

Этот преважный молодой пузырь и эта крикливая старушечка, божий одуванчик, знали бы они, в чем была суть Гамильтоновой политики, что случилось бы с ними, если бы Гамильтон добился в правительстве того успеха, которого они теперь всей душой и задним числом ему желали! Развалилась бы страна... Однако

злые спутники Пейна и слышать ничего не хотели, обрушиваясь с ругательствами на безбожника отъявленного, хулителя недостойного, будь он трижды проклят!

Обо всех этих происшествиях, начиная с дуэльного выстрела, Пейн и размышлял в своем грустном одиночестве. У окна. Домик его стоял на холме\*. Он видел внизу дорогу, шедшую на Нью-Йорк. Чуть дальше на холме дом соседей — Бедонов, которые иногда присылали ему кружку молока. Они присылали молоко, но ни разу, кажется, не пригласили его к себе и не зашли к нему. Даже не разговаривали с ним. Молоко приносила девочка, а Пейн угощал ее яблоками.

Вдруг — грохот. Не сразу Пейн сообразил, что это не тот выстрел, о котором он размышлял. В стекле прямо у себя над головой он разглядел отверстие, а в стене в двух шагах от стула, на котором сидел, — дырку. Пуля!

Некоторое время Пейн продолжал сидеть, как сидел, и даже, пожалуй, с еще большей неподвижностью (вероятно, напоминая ту восковую куклу, которую потом сделали с него в музее и усадили на то же самое место).

«Это же в меня стреляли», — как-то медленно кристаллизовалась в его сознании мысль.

За ней пришла и другая: «Убить хотели».

\* \*  
\*

За что же? За что они все его ненавидят? За письмо Вашингтону? Но разве кучер из Трентона читал это

---

\* Домик сохранился, но стоит уже на другом месте: его перенесли, когда создавали музей.



письмо? За «Век Разума»? Читал ли тот же кучер «Век Разума»? И даже самоуверенные молодые люди, вступавшие с ним в спор на пути в Нью-Йорк, и те старушки, которые про него повсюду нашептывали, разве они вчитывались в то, что он когда-либо написал?

А все-таки, вроде того Дикобраза, о котором Пейн понятия не имел, кто он такой, они видели средоточие зла в его имени — ПЕЙН.

Если бы он не вернулся в Соединенные Штаты (кем так названные?), о нем, кажется, и вовсе бы не вспомнили, используя лишь как безответную мишень, как своего рода чучело для нападок. Будто никто не писал «Здравого смысла». И никто не составлял «Кризисов»... «Приходит время испытаний духа человеческого»? Да, когда-то были произнесены такие слова, но с тех пор на это уже иначе смотрят. Испытаний? Каких испытаний? И нужны ли такие испытания?

Эх, вы, расположившиеся со всем комфортом за счет некогда принесенных не вами жертв! А не будь тех жертв, так не занимать бы вам нынешнего места в жизни. Какая историческая неблагодарность!

Пейн — напоминание о прошлом, которое хотят забыть. Или, говоря точнее, хотят вспоминать лишь сообразно со своими нынешними интересами. Вспоминать так, как кому угодно и удобно.

И в самом деле было удобно тузить Пейна заочно, понося его как попало, а он вдруг сам объявился и встал, по своему обыкновению, поперек дороги всем слухам и пересудам.

«Ты зря так думаешь, Том, — слышался Пейну голос покойного Киркбрайда, — все, чего хотят нынешние американцы, так это доказать тебе, что ты ничуть не лучше их. Что всегда была, есть и будет забота о себе, о выгоде, о своем интересе, который мы, в том числе мы с тобой, Том, именовали Демократией, Справедли-

востью или Свободой. Абстрактные имена для конкретных вещей. Кто пользуется возможностью захватить побольше, тот и говорит о демократических правах. Кто преуспел, тот и находит данное положение вещей справедливым. И кто не знает преграды своим аппетитам, тому живется свободно».

«Я отвечу тебе на это, Джо, я отвечу тебе, старина», — про себя сказал Пейн, хотя, признаться по всей откровенности, он еще не знал, что же отвечать.

Выстрел тут же заставил Пейна совершенно иначе взглянуть на выпады против него, которые он считал или, точнее, ему хотелось считать случайными: арестовали, отказались везти и, наконец, чуть было не застрелили, а уж мелких оскорблений и не припомнить. Когда грохнул этот выстрел и пуля прошла прямо у него над головой, вдруг словно обрушилась лавина. Выстрел, как удар наповал, воплотил в себе мнение Америки о Пейне.

Когда-то его всего лишь избили — теперь собирались пристрелить. Какая ирония! Прошагавший всю войну в одном ряду с ополченцами безоружным и невредимым, он мог пасть от руки убийцы в своем доме.

Чудом уцелевший в подвалах люксембургской темницы, он уже побывал здесь в тюрьме.

Занимавший почетное место и в Конгрессе, и в Конвенте, он не удостоился чести проехать в местном дилижансе из Трентона в Нью-Йорк.

Трентон... Валли-Фордж... Бункер-Хилл... Для них это всего лишь станции, а для него — позиции, которые приходилось отстаивать ценой жизни. Однако ему отказывают в праве проехать этим маршрутом как обыкновенному пассажиру, как полноправному гражданину страны, а вот уже и прихлопнуть готовы...



Пейн вышел из дома и почти тут же столкнулся с местным шерифом, толстым стариком, который спросил его:

— Кто стрелял?

— Откуда же мне знать? — вопросом ответил Пейн.

— Это Дерек-дурачок, — тяжело дыша, сам себе ответил шериф.

— Вы так думаете? — спросил Пейн и даже почувствовал некоторое разочарование.

— Кому же еще? — этим вопросом шериф не оставлял ни малейшего сомнения в личности покушавшегося на жизнь Пейна.

Некоторое время они молча стояли друг против друга. Потом шериф, потоптавшись на месте, сказал:

— Табачку не найдется?

— Что? — спросил Пейн.

— Я говорю, щепотку табаку неплохо... — пояснил шериф.

— А-а-а, — тихо воскликнул Пейн, — зайдите в дом. Я табакерку оставил на столе.

Они вошли, и шериф принялся осматривать обстановку Пейнова жилища. Ну и покой! Разве что чайник неплохой, а так — всего два стула колченогих и узкая кровать. И на пять долларов добра не наберется.

Оглядывая комнату, шериф вроде забыл, зачем он зашел и что только сию минуту назад произошло. Пейн подал ему табакерку.

— С мороза оно хорошо, — одобрительно сказал шериф, запуская толстые пальцы в маленькую коробочку, — помогает.

Чихнув, он добавил, будто никогда прежде о том же не говорил:

— Выстрел слышали?

— Вот здесь я сидел,— отвечал Пейн, вновь садясь к окну,— пуля прошла через стекло...

Шериф следил за его пояснениями и вынес свой вердикт:

— Почитай, на два пальца выше головы прошла.

Пейн продолжал:

— И ударилась в стену, вот здесь.

Шериф посмотрел на дырку в стене.

— Засела,— так сказал он о пуле.

Потом он еще раз окинул взглядом комнату, самого Пейна и со вздохом произнес:

— Убить ведь мог, стервец.

После столь веского вывода шериф еще раз, уже без спроса, запустил пальцы в табакерку и так же без спроса опустил на второй студ. Чихнув, изрек:

— С мороза хор-рошо!

Потом, глядя прямо в глаза своему собеседнику, пообещал:

— Мы его сейчас же изловим...

— Не надо,— сказал Пейн.

— Чего же не надо? — поинтересовался шериф.

— Ловить его,— отвечал Пейн.— Не в себе человек, и все тут.

— Оно верно,— охотно подхватил шериф.— Какой с него спрос?

\* \*

\*

Боялся ли Пейн быть убитым? Жизнь его уже столько раз висела на волоске, уже столько раз он был близок то к свиданию с Сансоном, то к гибели от руки контрабандиста, пирата или простого бандита, не говоря уже о стихийных бедствиях, которые довелось ему претер-

цель за время шести плаваний через океан, что он как-то привык испытывать судьбу. Положим, при том, что ему уже было под семьдесят, что у него уже бывали небольшие апоплексические удары, и это придало его чертам некоторую неподвижность, что по всему лицу у него были рассыпаны следы перенесенной цинги — эти красноватые прыщики и прожилки, он, как о том говорили прежде всего его глаза, еще не хотел сдавать позиций в битве жизни. Главное, ему все еще хотелось доказать свою правоту, он был даже уверен, что вот-вот ему удастся переубедить американцев не только на его счет, но и во взглядах на их собственное состояние.

Некоторые, пусть незначительные, случаи давали ему надежду. Например, он взял и разгадал причины распространения желтой лихорадки в Соединенных Штатах. Именно так — взял и разгадал, вглядываясь в ручей, где они когда-то с Вашингтоном задумывали осуществить один из Пейновых проектов и создать подводный порох. Тогда он изобретал новый порох, теперь, вглядываясь в ту же бегущую воду и в пузырьки, поднимавшиеся в одном месте со дна, он постиг, как ему казалось, причины распространения этой заразы. И в тот раз подумал: как все в его судьбе сплетено!

Вот бежит, как сама жизнь, вода, и у той же воды, где когда-то, обсуждая планы борьбы за Независимость, они с Вашингтоном делали технические опыты, он в одиночестве теперь размышляет о последствиях той же борьбы... и видит причины лихорадки.

Пейн тут же написал об этом — о местном происхождении лихорадки, которую до той поры считали исключительно «привозной» болезнью, и с ним согласились даже политические противники.

Отклик на «лихорадочную» статью, прямо скажем, воодушевил Пейна. Сегодня ему поверили в суждениях о происхождении болезни физической, а завтра...

...Подошли выборы. Пейн отправился на избирательный пункт, здесь же, в Нью-Рошели. Он хотел отдать свой голос, разумеется, за своего друга — Джефферсона, выдвинувшего свою кандидатуру на президентский пост во второй раз.

Пейн шагал на участок в приподнятом настроении. Он чувствовал себя полноправным гражданином Соединенных Штатов. Были конфликты — они миновали. Недоразумения. Тем крепче будет его дальнейшее положение и репутация. Люди сами поймут, насколько он прав, бескорыстен, объективен.

Первое лицо, которое Пейн увидел на участке, оказалось знакомым. Неожиданно и... и неприятно знакомым. Это был мистер Уорд — во время Войны за Независимость он поддерживал англичан. Не то чтобы сражался на их стороне с оружием в руках, но преспокойно жил на их территории.

Как ни странно, именно этот человек, по меньшей мере не отвергавший власти монархической, теперь, как главное лицо, распоряжался процедурой демократических выборов.

И мистеру Уорду, судя по выражению его лица, встреча с Пейном была не особенно приятна. Они все знали друг о друге. Мистеру Уорду не оставалось сделать ничего иного, как принять вызывающий вид, говоривший: «Так-то, мистер Пейн!» На выборы пришел тот, кто написал «Здравый смысл», а хозяином на выборах оказался тот, кто в свое время считал этот самый «Здравый смысл» вредной, очень вредной книгой. Даром что выборы были следствием появления «Здорового смысла», зато власть вручена людям наиболее уравновешенным.

Едва только Пейн протянул руку, чтобы получить бюллетень для голосования, как Уорд со всей надменностью сказал ему:

— Я не допущу вас к выборам, сударь.

Тут у Здравого Смысла потемнело в глазах. Когда по возвращении в Америку, в его страну, как изволил выразиться Наполеон, Пейна тут же посадили под арест, он даже не обиделся. Когда в столице его не пустили под своим собственным именем на постой, он обиделся, но не особенно огорчился: что спрашивать с жителей города, названного именем этого деревянного, насквозь поддельного человека? Когда его оскорбляли на станциях, он принимал это близко к сердцу, но все же относил на счет неосведомленности нападавших на него обывателей: что они знают о временах былой борьбы? И даже выстрел в него Пейн был склонен считать нелепостью. Преграда, вставшая на пути Пейна к избирательному ящику, такой лазейки ему не оставляла. Тут уже нельзя было сказать, будто эти люди не читали «Здравого смысла», плохо поняли «Права Человека» и не разобрались в сути «Века Разума». Его не хотели допустить к выборам именно потому, что прекрасно знали, кто он такой, что написал, что хотел сказать и какую роль сыграло им написанное.

— Я не допущу вас, Пейн, — повторил мистер Уорд, а возле него начали роиться еще какие-то физиономии, которые, как припоминал теперь Пейн, все находились там, за пограничной линией, у англичан, у врагов Независимости.

Все это начинало походить на спектакль. Плохо поставленный. Или, может быть, наоборот — поставленный великолепно. Какой сюжет! Ренегаты распоряжаются плодами победы, а его, победу вдохновлявшего, гонят прочь.

Впервые в жизни Пейн, чей голос слышен был в дебатах исторических, не нашелся что сказать, он промямлил жалкую реплику, достойную этой жалкой комедии:

— Как-как же так?

— А вот так, — глазом не моргнув, ответил Уорд. —

Вы же не являетесь гражданином Соединенных Штатов.

— У вас нет оснований так говорить,— выдавил из себя Пейн.

— У вас нет оснований сюда приходить,— тут же откликнулся Уорд, ослабившись, а стоявшие вокруг него громко и самодовольно загоготали.— Вы — не американец.

Пейн не знал, что на это возразить.

— Посланник Моррис,— продолжал мистер Уорд,— отказался вас выволить из Люксембургской тюрьмы.

Пейн не знал, что и на это возразить.

— И сам Вашингтон не захотел иметь с вами никакого дела.

Пейн собрался с силами и едва выговорил:

— Я... я... подам на вас в суд.

— Еще одно слово, Пейн,— возвысил голос Уорд,— и я отдам вас в руки закона!

Это пустяки, когда его били в Филадельфии. А выстрел недоумка и вовсе чепуха. По сравнению с этим публичным, открытым и наглым изничтожением.

Вернувшись, словно в полусне, домой, Пейн взялся за перо. Написал другу Барлоу — в Париж, написал генералу Клинтону, который являлся губернатором штата Нью-Йорк и к тому же стал вице-президентом, написал Мэдисону, который тогда был назначен государственным секретарем, а на следующий срок — избран президентом. Все это были его товарищи по борьбе, каждому из них не нужно было объяснять, кто такой Пейн и каким образом он оказался в Америке.

«В прошлом году,— писал Пейн Мэдисону,— я жил на своей ферме в Нью-Рошели, в штате Нью-Йорк. Выборами распоряжался человек по имени Уорд. Его отец и братья во время войны сражались на стороне англичан. Он сам был еще слишком молод, чтобы взять мушкет в руки, а потому находился дома с матерью.



Когда пришли выборы, Уорд отказал мне в праве подать бюллетени и при этом выразился следующим образом: «Вы не являетесь американским гражданином». В ответ на мою попытку возразить он добавил: «Наш посланник в Париже Моррис не стал вас вызволять из Люксембургской тюрьмы, и сам Вашингтон отказался это сделать». Я, соответственно, подал на него в суд. Касательно же Морриса, суть заключается в том, что он запрашивал обо мне, но его запросы пользы мне принести не могли, он сам едва не угодил в тюрьму, а уж чтобы меня оттуда вызволить, то об этом и говорить было нечего».

Клинтону Пейн писал: «Я обратился к Мэдисону, указав, где можно достать копии официальной переписки относительно меня...» Далее Пейн прибавлял: «Выросло новое поколение со времен провозглашения Декларации Независимости, и они не знают ничего о том, что переживала страна, когда появился «Здравый смысл». Осталось очень немного из тех, кто участвовал в тогдашней борьбе, а в этом городе (в Нью-Йорке) я и вовсе таких не знаю. Было бы хорошо, если бы до сведения суда и до сознания присяжных оказался бы донесен дух того времени, и если Вы не возражаете, то я просил бы Вас написать письмо, в котором на основе своего собственного опыта Вы бы рассказали об условиях того времени, о том, какое воздействие «Здравый смысл» и выпуски «Кризисов» оказали тогда на всю страну. Лучше всего, мне кажется, если бы письмо прямо излагало суть дела, примерно так: «Узнав, что Томасу Пейну было отказано в праве гражданина неким лицом, игравшим роль надзирателя за выборами в Нью-Рошели» и т. д.»

«Если ты спросишь у генерала Клинтона, кому направлять письма, он тебе скажет», — писал Пейн Барлоу, обращаясь и к нему с просьбой подать свой голос и рассказать о том, как Пейн считался во Франции полномочным представителем Америки.

Мысленно Пейн уже видел в ответ на его просьбы летящие, как караван судов под парусами, одно за другим письма — из Парижа, из Нью-Йорка и, будь он не ладен, из Вашингтона. В каждом из них излагаются неотразимые факты. Из фактов следует, кто такой Томас Пейн. И каждому, кто эти письма прочтет, становится ясно, что значили для Америки слова, его слова, и каково это было, когда перед строем ополченцев зачитывали: «Приходит время испытаний...»

Письма и правда пришли одно за другим. И все они, без исключения, были уклончивы, были полны сожалений о том, что согласно Конституции Соединенных Штатов, увы, никто не смеет вмешиваться в действия выборных органов.

А что иного можно было ожидать? Что мог ожидать Пейн, когда именно в этом письме к Барлоу он, переходя, как он выразился, к делам личным, спрашивал про Фултона, дрессирует ли он кита, а Фултон, уже закончивший в Париже панораму «Сожжение Москвы», находился в Нью-Йорке, где заканчивал свой «Клермонт» — стимбот, первый в мире пароход, которому, наряду с паровозом, было суждено стать чудом девятнадцатого столетия. Чудо чудом, а Пейна Фултон, как многие другие старые знакомцы, избегал. Ему же надо было ссуду на изготовление парохода получить, а связь с Пейном ему кредит бы не увеличила, поэтому, в отличие от прежних лет в Париже, Фултон не только не приходил утешить Пейна, но и вовсе видеть его не хотел. Точнее, не хотел, чтобы его как-нибудь ненароком увидели в одной компании с этим Пейном. Позором стало знаться с автором «Здравого смысла» — сочинения, содержавшего первый призыв к созданию Соединенных Штатов! Вместо того чтобы отдать ему должное, выплатить ему дань благодарности за права и возможности, которые американцы получили в результате борьбы, вдох-

новленной Пейном, они его этих самых прав лишили и подвергли его всеобщему презрению.

Потаскухи так вели себя на «святой земле»: насытятся-наешутся, насмеются-надругаются и прикидываются обманутыми-пострадавшими.

Доказать ничего и никому было нельзя. Люди просто ошалели, не желая оглянуться на самих себя. Плевать они готовы на те принципы, благодаря которым сделались они тем, что они есть. Им думалось, им хотелось думать, будто в их судьбе никакого иного принципа не проявилось, кроме того, что они заслуживали ими обретенного. И даже не обрели и не получили, а всегда обладали, поскольку всегда были людьми, достойными наилучшей участи. Борьба? Какая такая борьба? Если и была борьба, то ее следует признать ошибкой. Ведь сколько лишних жертв было понесено в этой борьбе! Сколько потерь! А что было враждовать с теми же англичанами? Из-за чего? Зачем? Как можно нападать на свою старую прародину? Вот мистер Уорд — достойный человек, сумел себя сдержать и не воевал, не стрелял в братьев своих, собратьев-англичан и друзей их, пруссаков.

Пейн сидел у окна и грустил. Тяжесть у него на душе лежала неимоверная, невыразимая.

Увидев местного сторожа, спешившего куда-то с лопатой на плече, Пейн вышел на улицу и окликнул его. В самом деле, зачем? Когда сторож, средних лет бо-быль, остановился и обернулся на его зов, Пейн не сразу смог сообразить, что же ему сказать.

— Хорош денек, — все, что нашелся произнести автор «Прав Человека».

Сторож огляделся по сторонам, с очевидностью проверяя, могут ли тут оказаться свидетели этой нечаянной встречи, и поскольку кругом стояла полная тишина и не видно было ни души, приблизившись к Пейну, заговорщицки отвечал, словно сообщая пароль:

— Денек хоть куда.

Через минуту они уже сидели в домике Пейна у очага.

— Хорош табачок, — говорил сторож, которому начало как-то все нравиться.

Они уже пропустили по одной рюмочке, и в беседе, располагавшей к откровенности, Пейн спросил:

— А что, вы одиноки, вроде меня?

— Насчет бабы-то? — переспросил сторож.

Разговор о том, что, пожалуй, меньше всего сейчас касалось Пейна, отвлекал его от тягостных, невыносимых размышлений.

— Женщина тогда не будет нам в тягость, — рассуждал Пейн, — когда она получит одинаковые с нами права.

— Чего? — переспросил сторож.

— Чем женщина не человек? — продолжал Пейн. — Почему не открыть перед ней все возможности?

Сторож прикидывал, какой ему тактики сейчас придерживаться, имея в виду в особенности, что для воодушевления того же разговора пора бы и по второй... В то же время речи, хотя и не все он понимал толком, были не того... за такие речи... того... Эх его, про баб куда загнул! Правá! Кому надо, тем права давно дадены.

— Да оно и в Писании... — решил сторож на всякий случай привлечь высший авторитет.

— Ах, в Писании ничего на этот счет не сказано, — отвечал Пейн. — А если бы и было сказано, это ведь все сказки. Откуда известно, что этому следует верить?

«Такого и слушать бы не надо», — про себя решил сторож, а вслух прямо сказал:

— Для душевности неплохо бы и повторить нам с тобой, друг.

Пейн тут же наполнил рюмки и, разглядывая свою рюмку на свет, тусклый свет, сказал:

— Так вот когда-то поднимал я тост за Мировую Революцию...

Сторож уже не возражал. Совершенно умиротворенным тоном он добавил:

— Дело хорошее, что уж говорить.

— Сейчас, — воодушевился Пейн, — я попробую соорудить нам с вами салат, который я тогда сам сделал. Сальмагунди!

И, нарезая яйца, мясо и лук, Пейн говорил:

— Пришли был... химик... Годвин... автор «Политической Справедливости»... Из рабочих — Горн Тук.

Пейн подал сторожу вилку, потом наполнил рюмки и, встав над столом, заговорил:

— Тогда, мой друг, были принципиальные противники, а теперь — беспринципные сторонники. И не сторонники даже, а так, пользователи плодами победы. Нашей победы!

Внушительным кивком головы сторож дал понять, что это мнение он разделяет полностью, от души.

— Победа была за нами, а плоды ее достались уже не нам. Вот рука, — Пейн поставил на стол рюмку и протянул вперед правую ладонь, — начертавшая письмена борьбы и победы, и из этой самой руки теперь вырваны избирательные бюллетени. Страна отказывается признать своим гражданином того, кто дал этой стране имя!

— Как это? — сторож вдруг икнул.

— Были колонии Англии, — отвечал Пейн, — стали Соединенные Штаты Америки. Кто их так назвал первым?

— Не понял, — выговорил сторож.

— Все, наверное, думают, Вашингтон, — не замечая его недоумения продолжал Пейн, — или, может быть, Адамс... Ха-ха!

Пейн опустил на стул и, глядя в глаза своему ословелому собеседнику, заговорил с необычайной горячностью:

— Вашингтон был мне друг. Назывался другом. Сам себя он так называл. И я считал его другом до тех

пор, пока он не оказался... предателем. И он не только Пейна предал, нет, он отвернулся от наших общих идеалов, и тогда ему уже нельзя было подчеркивать прежних связей — с людьми идеи и борьбы.

Пейн опять поднялся. Он намеревался высказать нечто окончательное, решительное. С необыкновенной ясностью он вдруг осознал, в чем же заключался итог его жизни. Он вздохнул всей грудью и опять вытянул вперед руку.

— Я, — сказал Пейн, переходя вдруг на какой-то ломаный, будто иностранный язык, — видел разницу людей.

Сторож из себя выдавил:

— Чего?

А Пейн вдруг для себя самого до полной прозрачности уяснил свою мысль. И перед ним из тьмы воспоминаний выступали один за другим мученики всех рангов, предатели всех степеней. Они пришли сказать ему свое слово, последнее слово прощания или проклятия, но прежде он сам... он им сейчас скажет...

Вдруг потолок завертелся и поплыл. Пейн почувствовал во всем теле жалкую беспомощность.

— Пейн! Пейн! Пейн! — словно бубен гудело где-то наверху.

Это сторож пытался привести в чувство своего странного соседа и невероятного собеседника.

## ТВОРЦЫ ИСТОРИИ

### БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ

Друзья, мы с вами собирались поговорить еще и о Джеймсе Фениморе Купере...

Люди, родившиеся, как Купер, на рубеже восемнадцатого — девятнадцатого веков, понимали, что прямо у них

за спиной ушел, словно обвал в пропасть, целый мир. Конец восемнадцатого века — это не только конец очередного столетия, это конец всего прежнего мира: тринадцать веков феодализма пришли к своему завершению. И толкнули старый мир в эту пропасть, проведя глубочайшую борозду, две революции — Американская и Французская.

Накопления многих столетий не могут исчезнуть внезапно и бесследно. Еще долго дают себя знать феодальные пережитки, даже и теперь. Еще бы! Ведь тринадцать веков не идут в сравнение с тремя веками новейшего времени, хотя и говорят, что время ускорило свой бег.

Однако революционный перелом есть перелом, он совершается раз и навсегда, и никакие возвратные движения не поворачивают вспять хода истории. Даже сама Реставрация не может отменить свершений Революции. Правда, если раньше думали, что суд истории производится один раз, то ныне мы понимаем, что исторический приговор может подлежать обжалованию, хотя бы частичному, а подчас и полному. Впрочем, в свою очередь, не окончательному, не навсегда.

Прославившая Купера серия из пяти романов о зверолове-охотнике, называемом то Кожаным Чулком, то Соколиным Глазом, относится в основном еще к предреволюционным временам. Хотя действие «Пионеров» и «Прерии» разворачивается уже после Войны за Независимость, все равно это нравы и проблемы еще колониальной, зависимой Америки.

Об Америке уже революционной Купер написал не менее пяти романов, начиная с двух самых первых, принесших ему известность — «Шпион» и «Лоцман». Затем это менее известные «Лайонел Линкольн» и «Вайандотте», а также «Красный корсар» и «Пенитель моря».

Писал Купер и о послереволюционной Америке, о тех специфических проблемах, которые возникли в но-

вом государстве, называемом Соединенными Штатами Америки. Сложнейшей из таких проблем оказались люди, расплодившиеся, по выражению Пейна, как грибы после установления Независимости, которой они мешали, которой они противостояли, а к распределению новых прав и благ явились первыми, требуя себе наибольшую долю.

Именно такие люди и отказали Пейну в праве считаться гражданином страны, которой он вроде бы дал имя. А как к этим людям отнесся Купер?

Коротко говоря, он с ними судился.

Позиция Купера была, конечно, другой, чем у Пейна. Таким революционером-радикалом, как автор «Здорового смысла», автор «Последнего из могикан» не был. Купер принадлежал к американцам коренным, из первого поколения, уже успевшим обзавестись значительной, в том числе недвижимой, собственностью. В штате Нью-Йорк его отцу принадлежал, можно сказать, целый район с собственным городом Куперстауном в центре. И женился Купер, как мы уже знаем, соответственно: его жена происходила из семьи еще более состоятельной. Иными словами, то была среда, похожая на европейскую, в первую очередь английскую аристократию. Государственная Независимость людям этого разряда нужна была разве что затем, чтобы еще более расширить свои владения и увеличить свои возможности. И постольку, поскольку Независимость им была все-таки нужна, они ее поддерживали умеренно. А иные, как родственники Купера со стороны жены, очень скоро стали Независимости сопротивляться, они почувствовали в борьбе за Независимость угрозу для себя.

По-своему они были правы. «Механизм» демократизации, будучи однажды пущенным в ход, действовал ие переставая. Освободились от английской зависимости — начали освобождаться и от зависимости внутренней. Права на обширнейшие владения таких, как отец



Купера, оказались поставлены под вопрос. И к тому моменту, когда Купер-младший обзавелся семьей, у него практически не оказалось наследственных средств к существованию. Из богатейшего в округе помещика он превратился в литератора-профессионала, вынужденного зарабатывать на жизнь пером.

Судился же Купер с соседями — семнадцать раз — за пограничную полосу своих владений. Самые обыкновенные американцы, жившие на берегу озера Отсего (место действия «Зверобоя»), считали эти берега собственностью не личной, а общественной, они хотели там гулять, а Купер не хотел им этого позволять. Вот и началась тяжба, в итоге которой хозяин Куперстауна дело свое проиграл. Отомстил же он, как всякий литератор, пером, изобразив эту породу настоячивых (до настырности) американцев в сатирическом романе «Моникины».

Прав ли был Купер? Он, как и Пейн, пережил драму разрыва со своим окружением. Как и у Пейна, положение его оказалось двойственным. Пейн был почетным гражданином двух стран и не был просто гражданином ни в одной стране, включая свою английскую родину, такой парадокс свидетельствует вот о чем: везде он был нужен лишь временно. Пришло время испытаний, Пейн оказался бельмом на глазу. Так и Купер. Он представлял во всем мире лично и своими книгами от имени американцев, а у себя дома он с теми же самыми американцами судился, ссорился, и они друг другу, что называется, мешали жить.

Человеку трудно примириться с мыслью о своей лишь временной надобности в этом мире. Но художник такую закономерность чувствует, как Шекспир, изобразивший в «Короле Лире» Кента: «Меня король зовет. Мне надо в путь», и следом за своим умершим хозяином верный Кент уходит, просто уходит с жизненной сцены. Но,

заметим, так поступает лишь один Кент, между тем все другие персонажи той же трагедии судорожно цепляются за свое место в мире и обществе, и тот же старый Лир, вроде бы отрекшийся от власти, на самом деле хотел бы проявлять ту же власть, только другим способом.

И у Купера главные герои уходят. Так удаляется в лес Кожаный Чулок, он же Соколиный Глаз: время таких траперов (охотников-звероловов) ушло. И в «Шпионе» разведчик Гарви Берч делается вдруг больше не нужен, и слышит он об этом из уст самого Вашингтона, который одновременно благодарит и прогоняет своего надежнейшего осведомителя: «Отныне между нами все кончено!»

С Пейном, в сущности, так и произошло. Хотя никто прямо не сказал ему «Хватит!» и даже, напротив, ему вроде бы предлагали продолжать свою деятельность (так поступал Джефферсон), но молчание Вашингтона в ответ на его отчаянные запросы было, подобно последней беседе главнокомандующего с разведчиком в «Шпионе», символическим выражением той же мысли: «Все кончено».

В отношении самого себя Купер, кажется, выразил эту мысль, когда перед смертью потребовал от близких, чтобы они не помогали биографам писать историю его жизни. Что о нем неизбежно будут писать, Купер понимал. Он просил: «Не давайте своей поддержки никому из биографов!» Иными словами, истины о нем все равно не расскажут, а будут лишь использовать в своих целях его имя.

Но временно все, в том числе и эта ненужность известных идей и людей. Приходит время новой в них надобности. Имена оживают. Идеи возрождаются. Новые поколения хотят разобраться в прежних ситуациях. Именно в том, как все было на самом деле, а не просто применить старый образец к новым условиям.

Так сейчас происходит и с Купером. Так происходит со старшим его современником, «частичным» соотечественником и даже заочным соседом — Томасом Пейном.

## СВОЯ ЗЕМЛЯ

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ЭНТУЗИАСТА

...Ливерпуль. Порт большой, и лондонскому, глядишь, не уступит.

Ящик мы приготовили, трапа ждем.

— Ну, пассажиры, — капитан нам напоследок говорит, — что же все-таки у вас там в ящике?

А Фомич ему говорит: «Гляди, мастер! На берег гляди!» «Мастером» главного на корабле зовут. «Увидишь сейчас, — продолжает Фомич, — как этот самый ящик страна и нация будут встречать».

Что ж, ежели, конечно, как на Пайновых похоронах мальчишка Америку обозначал, а его мать — Францию, так оно и было в нашем случае: один встречал за всю страну, а еще один за целую нацию.

Однако Фомич не опечалился. «В путь, друзья, в путь! Англия ждет Томаса Пейна».

Англию я уже видал. Правда, южную, а мы на северо-запад, с другого конца, прибыли. Я поразился: дым столбом стоит, станки трещат. Виденное ли дело — колеса сами, безо всякого конского привода, крутятся.

А Фомич рычит, прямо зверем на все на это смотрит. Что, говорит, с народом трудовым делают!

\* \*  
\*

Как мы теперь понимаем, наш соотечественник, оказавшийся участником перенесения Пейнова праха, стал в то же самое время свидетелем индустриальной революции. «Тихим» этот гигантский по глубине и размаху переворот можно было называть, конечно, лишь сравнивая промышленные перемены с вооруженным восста-

нием. Но шум стоял в самом деле невероятный: пыхтели паровозы и пароходы, грохотали станки и паровые машины. Все задвигалось, и, как отметил наш персонаж и соотечественник, задвигалось вроде бы само собой, без помощи того вечного двигателя, каковым от века служила мускульная сила, человеческая или лошадиная. Мир одновременно увеличился и сократился.

Одни города росли, другие, напротив, уменьшались, хирели и даже вовсе исчезали. Множились шахты — сводились на нет леса.

Затасканное нами слово *противоречия* тогда впервые зазвучало с особым смыслом и особой силой. Все чревато своей противоположностью.

Как богатели и как беднели — насколько, и по сравнению с чем? Армию городской бедноты пополняли люди, попадавшие в городские трущобы из сельских земляных нор.

«Людей теперь ценят не дороже стоимости чудочно-вязальной машины» — так выразился Байрон, произнося пламенную речь в парламенте. Да, люди вдруг оказались придатками механизмов. Но сколько стоили те же самые люди до того, как они бросились разрушать станки и Байрону пришлось их защищать?

Для множества людей, в особенности для ирландцев, сделавшихся за гроши городскими тружениками, альтернативой была голодная смерть на лоне природы.

Само сочувствие, вызванное этими людьми, было новшеством и достижением: их плачевное положение увидели, раньше же это, по шекспировскому выражению, *множество* вовсе не видели.



Мы с Фомичом подались первым делом на родину Пайнова — городок такой — Тетфорд. Ну, городишко в

графстве Норфолк. Тут он родился, тут грамоте был обучен, тут и своему отцу помогать начал. Но вроде Федора Васильевича, от своего прямого дела отстал. Дело-то у них было такое, не шибкое, то ли канаты вить, то ли эти... как их... корсеты делать: баб, значит, как в сбрую, засупонивать.

Сколько уж там в этом Тетфорде корсетов требовалось, сказать не могу. Да и вообще, как прибыли мы с нашим ящиком, так никакого нам особенного почета и привета что-то не было видать.

Мать Пайнова не особо давно померла, и многие ее вспоминали. Все, говорили, о сыне убивалась: где-то он есть? Он же ей и пенсию высылал. А так, прямо говоря, никто его в самом городишке, где он родился, и не помнит. Какой такой Пайнов, спрашивают. Ах, удивляются, тот беспутный, что в пираты сбежал? Где-то он сгинул? Ну туда ему, видать, и дорога.

Вот что за толки мы с Фомичом на родине Пайнова услышали. Оно, конечно, стал Фомич отцов того города пытаться да спрашивать, не пожелают ли они монумент в честь своего земляка воздвигнуть, и ничего добиться ему не удалось. Первое дело, выкативши глаза смотрят на него, как на умом рехнувшегося. Кому честь оказывать? Какой монумент?..

\* \*  
\*

Добавим: потребовалось еще около ста пятидесяти лет, чтобы в Тетфорде появился памятник Пейну.

Как рассказывает биограф, в городском совете долго спорили, и некоторые члены совета говорили: «Это будет позор всему городу, если мы на Рыночной площади поставим памятник Пейну». А некоторые добавляли: «Нечего и честь оказывать такому, как Пейн, гнусному развратнику и отъявленному бездельнику».

Соппротивление было настолько серьезным, что на Рыночной площади памятник Пейну так и не поставили. Выбрали наконец место в стороне и от площади, и от городского совета.

Статуя сделана как бы из золота. Пейн шагает широким шагом. В руках у него перо и книга, которую Пейн держит — по какому-то умыслу скульптора — вверх ногами. Обернувшись назад, он словно зовет следовать за ним.

Улица и есть та самая, где Пейн родился, где жили его родители, где сам он пробовал работать в мастерской отца, делая корсеты (или — канаты?). Дом их не уцелел — сохранился характер улицы, уставленной низкорослыми двухэтажными домами, внизу сплошь деловыми, предлагающими прохожему различные услуги, и вот где-то здесь, где теперь зубной врач, адвокат или портной, где рвут зубы, пишут кляузы, шьют пиджаки и брюки, предлагались корсеты. А может быть, все-таки канаты?

...Пейн шагает. У него мускулистые ноги неутомимого ходока. Крупные руки мастерового, что противоречит воспоминаниям, согласно которым у Пейна руки были довольно маленькие, почти как у женщины. Большими у него, как говорят, были глаза, но ради того, чтобы их увидеть, следует обратиться, конечно, не к памятнику, а к сохранившимся портретам.

Правдивы ли портреты? Соединить все эти черты и, с вашего позволения сказать, «детали» в единый облик очень нелегко, чтобы представить себе реально, без ретуши, но и без черной краски, как двигался, как выглядел этот широкоплечий, то ли выше среднего, то ли просто высокий, голубоглазый, с каштановыми волосами человек.

\* \*  
\*

...Из Тетфорда повернули мы к югу и едва только на большую дорогу выехали (верхами), так землекопов уви-

дали. Но что за диво? Из них одни копают ямы у дороги, а другие тут же эти ямы закапывают.

— Вот,— Фомич воскликнул,— такова современная жизнь!

А дело какое? Девать людей некуда и платить нечем, поэтому занимают их работой, за которую дают гроши, а тут же поля, на которых работников не видеть.

Человеку на жизнь заработать невозможно, эдак вот выходит.

— А все мертвое мясо,— говорит Фомич,— мертвое мясо!

«Мертвым мясом», как я узнал, называли у них всех тех, кто либо пособия, либо пенсию из казны получает, начиная, конечно, с военных. Одному герцогу Веллингтону столько отвалили деньжищ, что казна затрещала, а ведь и каждому ветерану какую-никакую пенсию подавай, и расплодилось у них столько людей, которые вовсе работать не хотят, а только получать горазды. Где же тут труженику прокормиться? Дармоедов много — это я в Англии увидал. А распространяется это дармоедство всеми путями и способами.

Прибыли мы в Льюис, где Пайнов в акцизе служил. Тут его помнят. Это, говорят, Капитан. А Капитаном его опять же как бывшего пирата называли. Ну, Капитан и Капитан, а толку никакого добиться все равно не можем, чтобы, значит, по крайности захоронить его здесь. Что вы, говорят, какие такие похороны? С какой стати?

Пришлось нам податься в Лондон. В столице аглицкой я раньше не бывал\*, ведь меня прямо в порту, в приморском городе Портсмуте на судно хмельным записали. В Лондон я тогда и не попал. А теперь уже при подходе стало чувствоваться, что перед нами большущий город.

---

\* Рассказчик противоречит самому себе, но — так в рукописи.

Первое дело, грязь и вонь. Отбросы. И сколько всякого мусора! А ничего не пропадает, каждый кусок в дело идет. Иные на помоях городских свиней держат, откармливают.

Пивных видимо-невидимо. А как же иначе? Только пиво и пьют. Воды в рот взять нельзя, тут же понос тебя прохватит, либо вовсе богу дуну отдашь.

Мыться почти не моются: раз в год. И каждый год кровь себе пускают. Для здоровья. Так и живут.

Девок гулящих — тьма. Проходу не дают. А все это из крестьян, бродяги, бездомные, и есть им одна дорога — в гулящий дом.

Еще неизвестно, кому здесь лучше живется, кто больше зарабатывает, местные или же пришлые. Пришлый человек на все готов, его и берут на работу охотнее. Ну, понятно, драки, особенно с ирландцами. Кроме того, жидов ругают, дескать, прибрали денежки к рукам.

Трудятся от зари до зари по шесть дней в неделю. Праздников почти нет. А выходные берут, только когда публичные казни устраиваются — охота же посмотреть. Вешают же у них по восемь раз в году. Можно еще травлю посмотреть или как быков дразнят, а то — петушинные бои.

Короче, глядишь на их жизнь и думаешь: как можно так жить? И как это они все успевают столько наработать? Ведь ломится от добра или от жратвы все, и тут же с голоду люди пухнут. Народу избыток, и народу же, как дело какое делать, нет. Вот поди и разберись.

Все поголовно, как один, с морем связаны, кто что изготавливает, от корабля до бутылки водки (по-ихнему джин — водка можжевеловая, горькая, елкой отдает). Работа большей частью сезонная, и не токмо что сезонная, но с часу на час: отлив и прилив, ветер или дождь — все на заработках сказывается. Норовят подешевле — женщин или же детей нанимают.



С одним мальчонкой я разговаривал. Идет улицей, от холода дрожит. Ну, спрашиваю, далеко ли путь держишь? — А на другой конец города. — И так каждый день? — Да, говорит, с утра до позднего вечера, по десяти часов. — Что же ты делаешь, интересуюсь. — Банки с ваксой перебираю, этикетки наклеиваю. — Лет тебе сколько же? — Семь. — Где отец? — В тюрьме. — Как попал? — За долги. — А зовут тебя как? — Чарли. — Ну, говорю, что ж, друг Чарли, трудись... Он и фамилию мне свою сказал. Чудная фамилия. Выходит, как Чертиков или Чертков, по-ихнему Диккенс. И поплелся он дальше, этот Чарли-Чертенок, в рукавишки худые ручонки засунул и шагает.

— Вот оно время! — Фомич головой ему вслед покачал.

— Что ж, — говорю ему, — раньше лучше жилось?

\* \*

\*

Нам известен ответ Коббета. «Нужны перемены, — писал он, — решительные перемены, иначе Англия станет страной наихудшего рабства, какое когда-либо позорило землю».

В одной стране существовали «две нации», как определил лорд Дизраэли. Одни жили жизнью труда и повседневной борьбы за существование, другие пользовались всеми благами, включая совершенное вольномыслие.

С конца семнадцатого столетия до начала девятнадцатого века Англия воевала шестьдесят три года и пятьдесят семь лет жила в мире. Во время войн росли заработки и расцветала торговля, а в мирные времена все это замирало и приходило в упадок.

Вернувшиеся солдаты большей частью попадали за решетку: ведь кормиться они могли только преступле-

ниями, и тюрьмы, как правило, бывали переполнены. Если, положим, лучше жилось некогда мелким фермерам, класс которых вовсе исчезал, то, как жилось работникам того же фермера, и спрашивать не приходится. Эти люди находились за пределами каких-либо человеческих прав.

В этом заключается причина и суть революционных преобразований: прежних условий, принимаемых за человеческие, оказывается вовсе недостаточно для новых масс, требующих своей доли при распределении благ. Друг Пейна доктор Прайс говорил так: «Условия жизни низших классов несомненно переменялись к худшему, и в то же самое время белый хлеб и чай, раньше им неведомые и недоступные, сделались для них предметами повседневной необходимости». Так как же, лучше или хуже стали жить, если бедствуют, но пьют чай с сахаром и едят белый хлеб?



— А король,— говорю я Фомичу,— надо идти против короля?

Как рассказывал Фомич, царствующий король Георг III говорил, что он считает себя истинным благодетелем своих подданных. Он рассуждал так: «Посмотрите на эту роскошь, на эти дворцы, эти парки, эти костюмы, а ведь сколько заплачено за труд, чтобы все это оказалось сделано!» Ну, когда уж тот же самый король в своем Виндзорском парке начал с дубами разговаривать, то все поняли, что он не в себе \*. А ведь король — как его устранишь? Назначили временным управителем

---

\* Современные врачи на основе всех данных приходят к выводу, что Георг III страдал не расстройством психики, а нарушением обмена веществ. Время от времени, примерно с периодичностью в десять лет (плюс полная слепота в последние годы жизни), у него возникали неполадки с метаболизмом, и это делало его похожим на сумасшедшего.

его сына — принца-регента, а тот еще хуже папаши оказался: гуляет да пьет, одну за другой баб меняет, на скачках, на публичных драках — боксом — пропадает.



Фомич мне как-то сообщил, что про Пайнова опять прописали — пасквиль на него выпустили. Надо, говорит, пойти эту книженцию поглядеть. Пошли мы с ним в книжные ряды. Книг, что мяса или сапог, горы. Копаются в них разные книгочеи, выбирают, кому что надобно. Рядом с нами старичок такой почтенный, лоб большой, с залысынами, в рыжем кафтане. Фомич меня под бок толкает, а я его спрашиваю: «Кто?» Это, говорит, Годвин, автор «Политической Справедливости», большой Пайнов друг. Видать, и он пришел на ту книжку про приятеля своего посмотреть.

Так, ничего, книгу взял, заглянул, пошелестел страницами, обратно положил и пошел своей дорогой.

Ну, о Пайнове мы все больше так слышали: «Сатана!» — да и только.

Сколько из-за него одних издателей пересажали! До него-то самого добраться не успели, а на других вымещают.

Вспоминали, как на первом суде адвокат три часа кряду говорил, а в конце в обморок упал, чувств лишился. А потом тот же самый адвокат против Пайнова прокурором выступал, когда «Век Разума» судили, и опять же три часа он говорил, в тот раз в обморок не падал, но зато своего достиг: приговор, как он просил, был суровый — по закону о смутьянстве.



Поясним.

«Права Человека» подлежали защите с точки зрения просвещенных либералов, и лорд Эрскин, этот адвокат, который являлся, кстати, юрисконсултом принца Уэльского (и другом Байрона) не пожалел времени и сил, чтобы произнести многочасовую речь, объявленную затем ярчайшим образцом судебного красноречия.

В чем обвиняли Пейна? В подстрекательстве к мятежу, отрицании права собственности и покушении на Конституцию Британского королевства.

«Не подумайте, — говорил красноречивый адвокат, — будто я пытаюсь утверждать, что вполне законно написать книгу о пороках английского правительства и тут же призывать людей к его низвержению, к неповиновению этому правительству».

Но, добавлял лорд Эрскин, надо признать, что вполне законно говорить о подобных пороках, о подобных, как он выразился, внушительных предметах. Ибо, продолжал он, если бы это запрещалось, тогда каким же образом вообще возникли бы человеческие права?

В сущности, лорд Эрскин защищал свою собственную свободу, в том числе свободу оппозиции, к которой он примыкал вместе со своим высокородным клиентом, ибо принц, в ту пору еще только будущий Георг IV, ждал, когда же его отец уступит ему престол.

Но неужели нельзя было с тех же позиций взять под защиту «Век Разума»? В этом своем сочинении Пейн покушался на идеологию и общественные институты, общие и для правящей группировки и для оппозиции.

К тому же, отметим, и в первом случае адвокатское красноречие не переубедило суд. Присяжные сказали: «Виновен».



Фомич стал понемногу распродавать кости из ящика. А куда же их девать? Никто, ну, равным счетом ни один человек не брался с ним в долю вступить и хотя бы могилу достойную для Пайнова устроить. А уж о монументе и толковать нечего.

Ходило к нам множество людей, интересовались, спрашивали про Пайнова. И мы всюду ходили про него рассказывали. В таверне «Под соломенной крышей» побывали, где он и сам некогда с друзьями сживал, и салат нам подавали. Называется «самгляди»: лучок, мясо и яйца — все смешано вместе. Салат подавали и говорили: «Это Пайнова салат», а чтобы на нашу сторону встать — того нет: помалкивай! В пивной на Пикадилли — та же история, поддержки нам нет, и у Старого Ангела, где, говорят, Пайнов «Права Человека» писал, все то же самое. Да, да, говорят, вот в этом самом кресле любил он сживать («С вас за пиво!»): с три короба наговорят, всего и не упомнишь, а чтобы на памятник деньжонок дать — молчок.

И не то чтобы денег жалко, а репутацию потерять побаиваются. Уж очень, говорят, терпеть все Пайнова не могут. «Сатана!» — и весь сказ.

Фомич и стал понемногу мощами приторговывать. Все-таки хотел мечту свою исполнить и на памятник собрать.

Я себе думаю, что ж, по косточке все разбазарим, с чем же тогда останемся?

И вот однажды Фомич мне говорит: «Собирайся! Бери ящик и пошли!»

Зачем же, я думаю, он собрался и куда же это мы пойдем? И оказалось, это всеобщий рабочий поход.

Народу собралось — не продыхнешь! И все мастерово-

вые, труженики: ткачи, кузнецы, литейщики, у них ведь по металлу многие работают. Но все больше — ткачи.

Ткачи народ мелкий, росту маленького: взаперти сидят, харч плохой — не вырастешь. Однако народ бойкий, дружный. Мы, говорят, королю петицию подадим: пушай нам и выходных прибавит, а рабочий день убавит, хотя бы до десяти часов. А то от зари до зари за станком стоишь, света белого не видишь, в землю врастаешь.

Толпа собралась бескрайняя. Стали в ряды строиться. Всю улицу заняли, почитай, от начала и до конца. Мы с Фомичом (ящик при мне) в середке сначала оказались. Вдруг нам говорят: «А что это такое у вас?» Фомич им и толкует. Это, говорит, автор «Прав Человека», он и сам из мастеровых вышел. Кто-то вроде и слышал о таком, но читать немногим приходилось, но все же нам говорят: «Становитесь с вашим ящиком вперед. Пушай как бы с нами шагает покойник, раз уж он это заслужил, по тюрьмам маялся!»

Двинулись. Теперь уж мы впереди. Повернули на Стрэнд. Народу возле нас становится все больше. Запели:

*...Или сгинем в бою,  
Или к вольному все перейдем мы житью\*.*

Церковное тоже распевает: «Господь в Сионе...» Однако все чинно, беспорядков нет. И драки не видать.

У поворота на Трафальгарскую площадь показались мундиры, верхами.

Народ вокруг нас начал сразу разбегаться. Не все, но — побежали кто куда, врассыпную.

Но многие все же идут по-прежнему. И поют.

*Мы саван набросим на мертвый наш страх...*

---

\* Слова Байрона.

Фомич говорит: «Давай мне ящик!» Берет его в руки и еще быстрее шагает, чем прежде. Теперь мы с ним (да с ящиком!) уже вроде во главе всего народа трудового идем. Фомич здоровый, высоченный, его седую голову далеко видать, а ящик он на плечо поставил и землю своими громадными шагами меряет.

*И саван окрасит сраженного кровь...*

Они на нас, а мы на них движемся. Стенка на стенку. Другого пути нет: улица узкая, а выход на площадь закрыт.

Хорошо и всадников и лошадей видать. Коня крупные, кормленые, шерсть блестит. Здоровы коняки, ничего не скажешь. У них, у англичан, что касается лошадей, народ понимающий. Ишь каких раскормили да выездили...

Вплотную сошлись. Коня фырчат. Всадники в мундирах кричат на нас. Иные из них шашки, не вынимая из ножен, подняли. «Проваливай! — кричат. — Пррасхотись, именем короля!»

*Ведь древо Свободы вспоит нам она...*

Тут один из всадников Фомича толкнул. Фомич мне говорит: «Подержи ящик-то». А сам хватить его лошадь за поводья. Тот ему ногами по рукам, а Фомич его за сапог да кувырк его через голову, из седла тащит. «Ты, — кричит, — паскуда, на кого руку поднял?»

У меня теперь руки ящиком заняты, я подсобить ему не могу. Но я ногой, ногой коню по брюху, чтобы, значит, стрекача дал али вдыбки, на свечку поднялся. А из них другой верховой подлетает — и на меня.

А коня у них приучены, у подлецов, на людей прямо идти. Лошадь, она ведь на любом скаку человека не коснется, как хочешь обойдет, не заденет. А тут прет прямо грудью — ученая.

Ящик я одной рукой держу, а другой стараюсь в ее

морду кулаком попасть. Врешь, не возьмешь, не таков ский!

Гляжу впопыхах, у Фомича по виску кровь бежит, видать, его ножнами задели. Ну, он воюет, у двоих сразу коней под уздцы схватил, а они его на разрыв хотят взять.

Подожди, Фомич, подожди, я сейчас, я только с одним управляюсь. А, харрря поганая!

Тут еще один из верховых со всего маху как двинет меня. Ящик на землю грохнулся.

Ноги да копыта по нему прошлись. Я ползком, да куда тут! Кости-то из ящика так и посыпались, а копыта и ноги — по костям...

## **НЬЮ-РОШЕЛЬ, 1981**

### **ПРОЩАЛЬНАЯ БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ**

Представь себе, дорогой друг, что ты у цели: подходишь к дому Томаса Пейна, звонишь в звонок, дверь открывается и... ты слышишь:

— Что бы он сказал? Что он сказал бы при виде всего этого бесправия, я вас спрашиваю?

Ситуация такова. Оказавшись в Нью-Йорке на литературной конференции, я отпросился с заседаний, чтобы поехать в Нью-Рошель и посмотреть Пейновы реликвии (полчаса на электричке). Моего визита ожидали, но я-то не ожидал такой встречи и таких вопросов.

Небезразличие к Пейну по сию пору сохраняется среди его прямых и косвенных соотечественников, это я уже слышал от оксфордского профессора. Правда, когда с американским биографом Пейна профессором Олдриджем мы подошли в Нью-Йорке к тому месту, где когда-то жил Пейн, и мой старший коллега спросил местных жите-



лей, где же здесь мемориальная доска, сказали просто: «Понятия не имеем».

Зато в самом, так сказать, средоточии Пейнианы, мой визит был воспринят что-то уж слишком безразлично. Пожилая женщина, смотритель музея, выразительным жестом указывала на дорогу в направлении памятника Пейну на его могиле, у самого шоссе.

— Шейла! — громко сказала все та же женщина, обращаясь уже не ко мне, а к кому-то в глубине Пейнова домика. — Тут приехал человек из Москвы, он нас поддержит в нашей борьбе.

В борьбе? Какой борьбе? И потом, почему же, если я в самом деле из Москвы, я обязан поддерживать какую-то... Ах, простите! У меня слишком мало времени. Я приехал вдохнуть атмосферы. Как мне хотелось бы в тиши, наедине с тенью Пейна провести здесь час-другой, рассматривая тот сундучок...

Однако явилась Шейла. Это была столь же спортивно подтянутая и общественно активная дама преклонных лет. В руках у нее было два плаката. На одном из них была надпись: «Враг не пройдет!» На другом... о, боже! «Приходит время испытаний»...

— Держите! — с полнейшей решительностью обратилась ко мне Шейла, вручая сразу два древка — от двух плакатов, так что я оказался в середине, а дамы меня фланкировали. Им, чтобы развернуть свои плакаты, в самом деле не хватало как раз еще одного участника демонстрации.

— Пошли! — скомандовала Шейла, и они запели:

*Коль славен наш Господь в Сионе...*

— Подтягивайте! — приказала другая дама.

— Не могу.

— Почему же?

— У меня нет ни слуха, ни голоса.

— Причем же здесь слух или голос, когда это сплошная политика? Пойте.

— Не могу..

— Атеист? Пейн не был атеистом, учтите. Он был деистом.

Ах, это мне уже давно известно. Я в музей хочу. Мне надо посмотреть...

— Пойте хотя бы это,— сказала дама и запела:

*Так будем и мы: или сгинем в бою,  
иль к вольному все перейдем мы житью...*

— Ну, чего же вы не подтягиваете? Это слова Байрона.

— Если хотите, мы можем «Интернационал» спеть,— сказала Шейла.— Мы знаем текст.

Из затруднительного положения меня вывело появление нашего противника. Это оказались... автомобили. Речь шла, оказывается, о том, чтобы остановить или хотя бы ограничить движение мимо памятника Пейну. Понятно, здесь все перенесли на другие места — и домик, и могилу, в которой праха нет, но над которой воздвигнут памятник, однако они хотят создать заповедник.

Как только вдали появился первый автомобиль, дамы бросились на шоссе и перегородили дорогу. Легкий ветер у нас над головами пошевеливал надпись: «Приходит время испытаний»...

Машина притормозила, и выскочивший из нее водитель обратился к нам с речью, какой, я думаю, в этих краях не слыхивали с тех времен, когда Виль Коббет выкапывал здесь прах Пейна. Будто не слыша ничего, дамы в свою очередь возвысили свои голоса:

*Мы саван набросим на мертвый наш страх,  
На деспота труп, распростертый во прах...*

— Я... боюсь...— стал я говорить Шейле.

— Вы — боитесь?

— Нет, я хочу сказать, боюсь, как бы из этого не вышло м-международного и-инцидента. Ведь я — иностранец.

— А разве Пейн не был иностранцем? — последовал неотразимый ответ. — Он был гражданином мира.

Явилась полиция.

— Позор! — крикнула Шейла. — Позор тебе, Америка, за то, что ты не чтишь покой Пейна!

— Ну, что ж, — сказала другая дама, — делать нечего. Теперь мы вам покажем музей.

И я наконец увидел сундучок, тот самый, в котором Пейн носил государственные бумаги, и бездымную свечу, и бумажник, который был совершенно пуст, как и тогда, в его время.

**Урнов Д. М.**

**У70** Неистовый Том, или Потерянный прах: Повесть о Томасе Пейне.— М.: Политиздат, 1989.—381 с.: ил.— (Пламенные революционеры).

ISBN 5—250—00429—6

У  $\frac{0503030000-219}{079(02)-89}$  185-89

ББК 84 P7+63.3(0)52

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ  
УРНОВ

**НЕИСТОВЫЙ ТОМ,  
ИЛИ  
ПОТЕРЯННЫЙ ПРАХ**

ПОВЕСТЬ О ТОМАСЕ ПЕЙНЕ

Заведующий редакцией *В. Е. Вучетич*

Редактор *Л. Б. Родкина*

Младший редактор *М. В. Водолагина*

Художник *А. Г. Антонов*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *И. А. Золотарева*

**ИБ № 3244**

Сдано в набор 06.03.89. Подписано к печати 13.07.89  
А 00069. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1  
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.  
Усл. печ. л. 17,41 Усл. кр.-отт. 20,56. Уч.-изд. л. 17,76.  
Тираж 200 000 экз. Заказ № 166. Цена 1 р. 30 к.  
Политиздат 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7  
Типография изд-ва «Уральский рабочий»  
620151, г. Свердловск, пр. Ленина, 49









